

АВРОРА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 2 2014

Основан в 1969 году

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Валерий НОВИЧКОВ. «Авроре» исполняется 45 лет!3

БЫЛОЕ И ДУМЫ

Глеб ГОРЫШИН. Мой мальчик, это я6

ПАМЯТЬ

Петербургские школьники о блокадном Ленинграде44

НАСЛЕДИЕ

Святитель Игнатий (Брянчанинов). Человек, себе внимай ...60

ПРОЗА

Владимир БАЙКОВ. Девушки и подтяжки. Рассказ72

Геннадий СОРОКИН. Метаморфозы дружбы фронтовой.

Рассказ78

Елена ГРАЧЕВА. Стекло сердце. Рассказ87

Галина ШЕВЦОВА. Шестерка трэф. Рассказ98

ПОЭЗИЯ

Дмитрий ГРИГОРЬЕВ. Гомер104

Игорь ГЕКО. Деревенская гроза107

Олег ЧУПРОВ. Когда оркестр играет духовой...110

Михаил ЯСТРЕБОВ. Императорский театр113

Игорь НИКОЛЬСКИЙ. «Тамбур плацкартный...»118

ВЗГЛЯД

Интервью с Ренэ Герра124

Александр ТЕТЕРИН. И это всё о нем135

ВЕРНИСАЖ

Ольга КРИВДИНА. Павел Тычинин и его живопись 154

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА ПИСАТЕЛЬСКИХ СОЮЗОВ

Александр ТОРОПЦЕВ. Читать или не читать 162

Мадина ХУРШИЛОВА. Полонянка. Стихи 175

Юрий ПАХОМОВ. Одинокие сны. Рассказ 182

100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

Интервью с Сергеем Моисеевым 190

Евгений АНТАШКЕВИЧ. Драгуны. 1915 год.

Роман (окончание) 199

УРОКИ ЧТЕНИЯ

Ольга ЩЕРБИНИНА. Мир Мандельштама 274

ПОЛЕМИКА

Евгений ВЕРТЛИБ. Мобилизация нации как основа
победного Русского прорыва 282

КРИТИКА

Владимир ШЕМШУЧЕНКО. Лешье мясо 290

Татьяна ЛЕСТЕВА. Закулисье «золотого» времени 293

ДЕБЮТ

Татьяна ОКТЯБРЬСКАЯ. Полковник и девица Амалия.

Рассказ 300

Артём КОБЗЕВ. Дорога в ночь. Стихи 314

НАШИ АВТОРЫ 317

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на Альманах «Журнал „Аврора“» вы можете в любом
отделении связи.

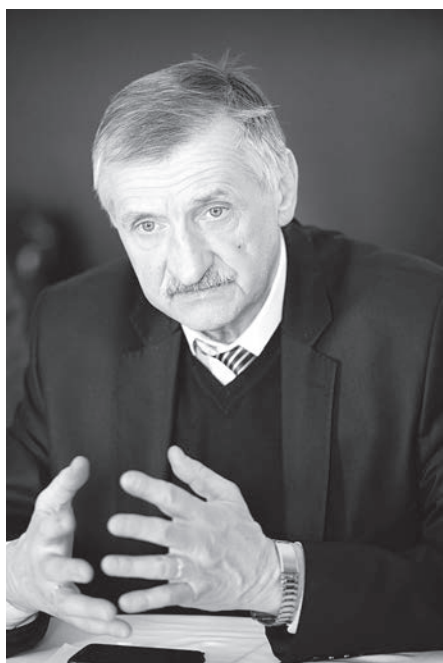
Подписной индекс в каталоге «Пресса России» — 42468

В каталоге «Прессинформ» — 70033

Через редакцию вы можете подписаться на любое количество экземпляров жур-
нала, начиная с любого номера.

По вопросам приобретения номеров за предыдущий период обращаться в редак-
цию.

«АВРОРЕ» ИСПОЛНЯЕТСЯ 45 ЛЕТ!



Вот и подоспел наш второй номер! Как было заявлено ранее, мы продолжаем печатать материалы, посвященные 45-летию журнала («Былое и думы»). Воспоминания писателя Глеба Горышина, бывшего главного редактора «Авроры», несомненно, вызовут живой интерес. Горькие, нелицеприятные думы о времени и о себе дополнены емкими, образными портретами современников, в том числе и сослуживцев-авроровцев. С искренней теплотой Горышин вспоминает своего друга, Владимира Торопыгина, который волею судьбы был главредом журнала до горышинского назна-

чения, рассказывает о причинах отставки товарища, о непростых отношениях, сложившихся внутри коллектива в конце 70-х — начале 80-х годов. Горышин подчеркивает: он предупреждал Торопыгина о «подводных камнях», существующих в журнале, — тот, к сожалению, не внял совету. Парадоксально, но факт — сам Глеб Александрович, занявший торопыгинское кресло, был вынужден уйти по той же самой причине — его так же «подставили» (всем в начале 80-х была известна история с рассказом В. Голявкина «Юбилейная речь», напечатанная в «Авроре», в котором усмотрели тайное издевательство над тогдашним генсеком Л. И. Брежневым). Несмотря на естественную субъективность, повествование Горышина (ныне, увы, покойного) — один из источников прошлого «Авроры», которому хочется доверять.

Совсем недавно модный телевизионный канал «Дождь» задал своим зрителям провокационный вопрос, суть которого в следующем: «Может быть, стоило сдать Ленинград немцам в 41-м году и избежать тем самым блокады?» Ответ на него — сочине-

ния петербургских школьников, адресованные их сверстникам, блокадным жителям. Послания современных детей в прошлое невозможно спокойно читать — такой искренностью и любовью переполнены эти бесхитростные стихи и рассказы, объединенные в цикл «Ласточка» (мы начинаем их публикацию в рубрике «Память»).

Одним из столпов отечественной культуры являлся в середине девятнадцатого века святитель Игнатий Брянчанинов. Монах, писатель, он оставил глубокий след в отечественной философской мысли. Рубрика «Наследие» знакомит всех неравнодушных к русскому прошлому с размышлениями святителя о человеческой жизни, о добре и зле, о том, что является грехом, а что добродетелью. Не сомневаемся, размышления эти не потеряли своего значения и в настоящее время. Редакция сознательно не снабжает замечательные тексты комментариями — мы уверены, они здесь совершенно не нужны (тот, кто вдумчиво и внимательно ознакомится с мыслями великого русского религиозного деятеля, с нами, конечно же, согласится).

Публикации о Первой мировой (рубрика «Сто лет великой войне») должны вызвать неподдельный интерес любителей истории, открывших второй номер нашего журнала. Мы представляем эксклюзив — воспоминания участника той войны, Сергея Игнатьевича Моисеева, прожившего долгую и трудную жизнь, но сохранившего удивительно ясную память (мемуары были записаны в 1989 году). Воспоминания снабжены уникальными фотографиями. Кроме того, почитателей творчества Евгения Анташкевича ждет окончание его романа «Драгуны».

Как всегда, в журнале представлены и современные авторы — поэты, прозаики, публицисты. Не обойдена вниманием и рубрика «Дебют» — вас ждет знакомство с еще одним молодым литератором, дерзнувшим предложить свой рассказ для публикации.

Доброго пути по страницам журнала «Аврора»!

БЫЛОЕ И ДУМЫ



Глеб ГОРЫШИН

Мой мальчик, это я¹

Записи по вечерам

От автора

Мы помним предсказание одного из наших великих: если будет литература, будут писатели, то последние станут не сочинять, а записывать то значительное, что выпадает им пережить. Разумеется, значительность пережитого соразмерна с масштабом личности записывающего. Смею предположить, что предложенные читателю «Записи» сделаны в соответствии с этим заветом. Правда, предположение задним числом.

Можно посчитать «Записи» дневником, но тогда возникает недоумение: дневники, как правило, публикует не автор, а публикатор, когда автора нет в живых... Тогда что же — литературные мемуары? Избави Бог! «Записи» сделаны по-живому, одновременно с происходящим, с затратой нервов, жизненного вещества, при непосредственном соучастии автора как главного действующего лица, по сюжету судьбы, пока что незавершенной.

Итак, перед вами некая повесть временных лет, 1975–1982 годы, летописание с точки зрения литературного функционера тех времен, в жанре излюбленной автором смолоду исповедальной прозы. Со всеми несовершенствами оной. Без забегания вперед, без поправок на время.

Как помню себя, все писал и писал. Я — писатель, член Союза писателей. И вот я взял перо, чтобы писать все по-новому, все, все, решительно все. Не на машинке буду стучать, как стучал до сих пор, а перышком по бумаге, в тетради с разлинованными страницами. Писать и не печатать — вот в чем штука! Не для печати писать, а просто так, в числе других жизненных оправданий, питаться, гулять, ходить на службу — и писать. Да, еще и думать. То есть сначала думать, а потом писать. Или одновременно: думать-писать. Что в голову прибредет. Если даже голова полна всякой мерзости, дряни — записывать мерзость и дрянь.

Но, ежели без лукавства, все равно для прочтения. Пишешь и оглядываешься: кто прочтет? Кто-кто?! Жена прочтет. Это точно! Она прочтет. Значит, я напишу не всю мерзость, не всю дрянь, а только отчасти.

¹ Впервые опубликовано: Наш современник. 1994. № 6. С. 160–181; № 7. С. 94–121. Печатается в сокращении.

За Василием Васильевичем Розановым не стоит гоняться. Не уго- нишься. Василий Васильевич был счастливчик: так мало знал о действительности, зато угадывал, верно далеко наперед. Иногда ошибался, но это неважно. Он думал, что проститутки все до одной на Литейном, а в Риме, Мюнхене их и в заводе нет. Он полагал, что проститутки от несовершенства российского законодательства, брачного права: в России браки не по любви, а по расчету. Проститутки — отдушина для несчастных в браке мужей. Жены тоже утешаются в супружеской неверности, как Анна Каренина у Льва Толстого. В Риме, в Мюнхене, думал Василий Васильевич, брачное право дает такую свободу выбора, что отдушина не нужна. И проститутки не заводятся, как не заводятся блохи в чистом жилище. Василий Васильевич Розанов был идеалистом, ему было просто заглядывать вперед: обзор не застили окружающие предметы и вопросы.

Нынче столько нагромодилось повсюду предметов, еще больше того вопросов, что ни вперед не заглянешь, ни назад не обернешься. Впереди непроглядно темно, позади смешались в кучу кони, люди... О настоящем известно, что коней всех извели под корень, а люди... Василий Макарович Шукшин спросил у всех нас: «Что с нами происходит?!» Не получил ответа и помер...

1975

<...>

Вот уже месяц прошел, как я второй секретарь в Союзе писателей. Тут как-то меня вызвали в суд; стоя в зале суда перед лицом судьи и народных заседателей, на вопрос судьи я так и ответил... Судья спросил: «Где вы работаете?» Я ответил: «Я работаю в Союзе писателей вторым секретарем правления». Хотя не первым, но и не третьим. Вторым!

На суд меня вызвали свидетелем по делу Молчанова: Молчанов подал в суд на журнал «Аврора», журнал похерил его рассказ. Дело было при мне, я заведовал прозой в «Авроре». И я не знал, что ответить суду, рассказ Молчанова выпал у меня из памяти.

Но я помнил, что я ВТОРОЙ секретарь.

Истец не явился на суд, суд отложили. Он не явился и на повторное заседание, поскольку к тому времени умер. Я расписался в журнале судебного секретаря в том, что мне известна мера ответственности за дачу ложных показаний. А истец был мертв...

Многие умерли в эту осень.

Умерла Ольга Берггольц. Я стоял у ее гроба, с красно-черной повязкой на рукаве, видел перед собою Розена, седого, чистого, в хорошем костюме, в добротных ботинках, привезенных из Франции или из Швеции. Я видел Ольгу Берггольц — без признаков какой-нибудь, когда-то бывшей жизни на одутловатом, оплывшем, умершем еще до

наступления клинической смерти лице. Блокаду сняли, врагов победили, но вскоре после того возникла блокада вокруг каждого человека, если человек чувствовал, мыслил, страдал. В блокаде оказались души, взывающие чистого воздуха правды. Душа Ольги Берггольц, перетруженная в ленинградскую блокаду, не вынесла новой блокады. В конце наших пятидесятых, начале наших шестидесятых в общественной атмосфере поотпустило, души начали отходить. Но мало-помалу опять прихватило, забрежневело, и Ольга Берггольц стала пить, то есть учинила над собой замедленное самоубийство. Она умерла лет пятнадцать тому назад...

Вокруг ее гроба в гостиной Дома писателей блокада сомкнулась железным кольцом. Сновали шпики, кудрявый Борис Павлович, резидент, чему-то улыбался, разговаривая со стукачами. Зеленоватый с похмелья обкомовец К. курил сигарету за сигаретой. На улице маялась милиция. Все чего-то боялись.

Берггольц хоронили на Литераторских мостках, на Волковом кладбище. Покуда предали земле, много всего наговорили, вне связи с тем, что выставили в гробу, — останками. Правда, жал на педали Федор Абрамов, это еще в Доме¹, в узком кругу своих. Советская дама, зампред горисполкома, щебетала, не заботясь о том, какие слова прошебетаны ею, будучи совершенно уверена, что всякое слово в ее устах — благо для слушателей. Выступали от рабочих, еще от кого-то.

Над могилой прочел стихи на смерть поэта Глеб Горбовский, нашел единственные слова, как будто услышанные оттуда сверху.

Актер Е. читал стихи Ольги Берггольц. Я знал, что, выполнив поручение, Е. пойдет обедать в Дом искусств с изрядно потрепанной балериной и будет думать о волоокой юной пианистке. Актер Е. озабочен тем, каковы его шансы на выборах в местком Ленконцерта, сохранит ли он за собой пост председателя. Если сохранит, то наконец-то выбьет квартиру, а если нет...

Автобус с гробом Ольги Берггольц ехал через сумеречный, присыпанный снегом, накормленный, напоенный, но все равно заключенный в блокаду город. У входа на Волково кладбище стояли люди с блокадным выражением на лицах. Они подчинялись какому-то насилию, даже не зная, какому.

И мертвая Ольга Берггольц подчинялась насилию. Ей лучше бы лечь вместе с теми, кто слышал ее в войну, в ту блокадную зиму, когда слова происходили из сердец. Но ей почему-то не разрешили лечь туда, где ей уготовано историей место. Ее — мертвую — не пустили к любившим ее — живую — на Пискаревское кладбище, привезли на Волково, к Блоку, Глебу Успенскому, Леониду Андрееву... У нас хоронят не по родству душ, а по табели о рангах.

¹ Ленинградский Дом писателя.

Все было кошунственно на этих похоронах, на этом кладбище: и выступающие по той же табели, и безмолвная — от скорби и сознания совершаемого кошуинства — толпа, и парижская дубленка Розена, тоже сказавшего слово, и лицо Макогоненко, бывшего мужа Ольги Берггольц, округлое, сытое, благообразное...

Когда покончили с этим делом, ко мне подошел юноша и сказал:

— Извините... Мне показалось, что что-то не так. Не те люди выступали. Не те слова говорили. Извините... Я посторонний. Я просто люблю стихи.

Улыбался чему-то, разговаривая со стукачами, Борис Павлович. Неподалеку от только что насыпанной могилы Ольги Берггольц сидела на собственной могиле каменная актриса Тиме...

Где-то вокруг всего происходящего — противоестественного — железным обручем сомкнулась блокада. Обруч блокады я чувствовал внутри себя. Сыпал снежок. Что-то было не так.

Все было не так.

<...>

Пришел Федор Абрамов, положил на стол шапку исподом кверху. Свесил черные цыганские патлы.

— Ну что, Федор? — спросил я его.

— Доклад читали Брежнева.

— Ну и как? что-нибудь новенькое он сказал?

— Нет! Ничего! То само, интенсивнее, целеустремленное, более высокими темпами, еще лучше, еще выше, еще энергичнее. И все.

Федор кинул на стол листы бумаги с текстом. Сказал, что это его выступление, речь после вручения госпремии, для «Литгазеты», а там не напечатали. Сочли односторонним, реабилитирующим старый «Новый мир» Твардовского.

— Они мне говорят, есть постановление ЦК. Я видел в гробу это постановление, — сказал Федор Абрамов. — Это что же значит?! Я — лауреат Государственной премии и я лишен слова? «Литгазета» государственный орган, и ей наплевать на общественное признание? Нет, я не буду выступать на вечере. Вообще ничего не буду. Ну их на...! Они предложили мне включить в мой список Михаила Алексева, и прочих. Нет, я не буду! Не изменю ни одной запятой!

Моя опора, мой поручитель — Федор Абрамов... Это он за меня поручился на самом верху, чтобы меня вторым назначили, мне сказал, глядя хмуро и малоохольно: «Ты хоть глупости не пишешь. Может, что и умное скажешь. Дураков пруд пруди, то само, а умные в кустах отсиживаются. Надо! Надо!»

Иногда мне «хочется отворить форточку и вылететь в нее вместе с дымом сигареты, чтобы выстыло помещение и стало посвежей.

<...>

Явился из «Литгазеты» Е., моложавый, седой, с круглыми глазами, готовыми округлиться еще более, подолгу глядеть в глаза собеседнику проникающим, понимающим взором. С маленьким аккуратным ртом и подбородком, с несвежей, ноздреватой, как пемза, кожей лица, с маленьким же лобиком, скрытым под начесом сивых волос. Худощавый, спортивный.

Мы принялись согласно курить, вычиркивая спички друг для друга.

— Не я отказал Абрамову, — оправдывался передо мною Е., — за мной стоят другие люди. Об этом знают в ЦК. Он приводит тот же список, что и Солженицын, когда говорит о надеждах русской литературы. Я ему предлагал ввести в этот список Михаила Алексея, Калинина, ну, Закруткина, он отвел, ладно... Розова... Он отказался. Он думает, что если ему дали Государственную премию, это значит, что ему теперь можно все. Он чуть-чуть сверх меры развязал язык. А там наверху понимают наоборот: премия налагает дополнительную ответственность. Лауреат премии говорит уже не только от себя...

— Вся эта история очень огорчительная для всех нас... — Сказав слово «огорчительная», я тотчас вспомнил подобные ему выморочные актерские словечки: «волнительная», «блистательная»...

— Да... — Е. сделал скорбную мину.

Секретарь обкома А. сложил руки таким образом, чтобы в пригоршнях поместился его живот. Он подтягивал живот кверху, живот уныривал вниз. Борьба, то есть игра с животом, доставляла радость секретарю обкома, ему нравился собственный живот.

Он стоял во главе стола длиною в десяток метров; у стола сидели писатели. А. держал в руках хорошо вызревшую дыню живота, говорить ему не хотелось. Слова не связывались в сознании одно с другим. Язык поворачивался с затруднением. А. вышел к писателям, явил себя — именно это он переживал в данный момент: значение происходящего, явление себя собственной персоной отягощало его рассудок. Главное, можно было и не говорить.

А. помолчал, что-то сказал необязательное, кажется, о том, что надо усилить идеологическую борьбу.

— В связи со смягчением международной обстановки ужесточается идеологическая борьба. Конфронтация снимается, борьба обостряется...

Кажется, он сказал это... Нечто подобное в свое время высказывал товарищ Сталин. А. лениво упомянул об этом, как о само собой разумеющемся. Сказал от себя, затем перешел к приготовленному тексту:

— У нас хорошие перспективы. Контрольные цифры за пятилетку выполнены. Мяса на складах достаточно. Молока мы получили несколько меньше, чем рассчитывали, но, в общем, хватит. Планы жи-

лишнего строительства несколько сокращены, но кое-что удалось отстоять. Мы будем строить, не снижая темпов. У нас хорошее настроение. Мы надеемся, что и писатели на своем съезде проявят себя, как подобает ленинградцам, организованно, дисциплинированно.

На улице было морозно. Мороз вымораживал из ушей услышанное в обкоме. Мороз был ядрен. У памятника Ленину перед Смольным снимались на память приезжие люди.

«Водка, что ли, еще? и водка! Спирт горячий, зеленый, злой... Нас мотало в попойках вот как: с боку на бок и с ног долой. От Махачкалы до Баку луны плавают на боку...» Стихи Бориса Корнилова, первого мужа Ольги Берггольц, убиенного где-то на этапе по пути в лагерь, цитирую по памяти, они часто приходят на память: сядешь выпивать и вспомнишь.

Потребление водки в больших количествах (или коньяку) — одна из обязанностей номенклатурного человека, будь то завсектором литературы в обкоме, инструктор горкома или второй секретарь (первый, третий) правления писательской организации. Водка (коньяк) — фермент государственной, общественной, творческой жизни и международных сообщений. Опоенный у нас, обалдевший американский поэт Рид Уитмор по возвращении в Америку чистосердечно рассказал в статье об этом русском пьянстве, которое необоримо, подобно наводнению в Санкт-Петербурге.

Кстати, вчера, в предновогоднюю ночь, циклон пригнал в устье Невы длинную волну. Вода в Неве поднялась на один метр восемьдесят шесть сантиметров выше ординара. Вода с мелкими льдинками выплескивалась через парапеты на набережные. Это было в ночь, а днем река налилась синевой. Фиолетово-синяя река и того же цвета небо, и воздух тоже фиолетово-синий. Навальный ветер с моря. Утром шел дождь. Смыло снег с мостовых и панелей, на газонах обнажилась трава. 31 декабря 1975 года вокруг стало как в марте... Таков наш город, у нас все не как у людей.

Окно в Европу?.. Петр окно прорубил, и уже можно было высунуться наружу, до Европы, казалось, рукой подать... Нынче до того помутнело это наше окно, затянулось паутиной, задернуто шторками, забрано решетками, что и носу из него не высунешь. Приспичит взглянуть на Европу, езжай, парень, в Москву..

— Все-таки не Торжок, — сказал про наш город третий секретарь У. Я тотчас подхватил:

— Несколько западнее Торжка.

Первый секретарь Ч. одобрил меня:

— Глеб мало говорит, но зато как скажет, все к месту, со значением.

Впрочем, как понимать, может быть, в этом скрытый укор: «мало говорит»?

Надо говорить много?

— Глеб, при всей его мрачности, застенчивый, — сказал начальник инокомиссии, наш министр иностранных дел Н.

Вот тебе и на: мало того, что мрачный, еще и застенчивый. Как же такого держат вторым секретарем?

— Комсомол в своих методах отстал лет на двадцать от молодежи, — высказал Н. важную для него, видимо, выношенную мысль.

— Он не отстал, — возразила оргсекретарь Воля Николаевна, — просто он копирует формы. А еще Ленин писал, что молодежь должна идти к коммунизму, строить коммунизм по-своему.

— Маркс писал, что за всякую работу надо платить, — запальчиво высунулся секретарь по работе с молодыми Л., конопатый, с белесыми ресницами, непрестанно поправляя на носу очки. Л. — молодой из ранних. Совсем недавно мы праздновали с ним выход его первой книги — крепкой, изрядной прозы — у него в сельском доме под соснами, в тиши озер и боров. Из хлева доносились звуки дойки коровы Люстры. Половину стола занимал замысловатый торт с кремовыми загогулинами: Л., кондитер по первой профессии, изваял его вдохновенно, как шедевр. Нынче Л. горожанин, быстро усвоил правила номенклатуры, может любого покрыть своим козырем: «Это мы будем решать на уровне обкома».

— Я когда ездил в Москву, — сказал директор Дома писателей М., — сходил в Троице-Сергиеву лавру, послушал проповедь. И проповедник говорил: «Выньте из груди камень вражды, идите к врагам вашим, отриньте подозрения и обиды ваши. Идите к людям, как к братьям». И это же очень хорошо, то же самое, как мы говорим: «за мир, за дружбу» и так далее.

— Да ты неверующий ли? — засверкал очочками Ч. — А то мы тебя, гляди, в духовную семинарию отправим...

Я сидел за столом с чужими людьми, но почему-то в доску своими. Было 31 декабря 1975 года. Мы сидели в Доме писателей — начальство: первый секретарь, второй секретарь, третий секретарь, секретарь по оргвопросам, секретарь по работе с молодыми, директор Дома, начальник инокомиссии. В окно особняка Шереметева была видна фиолетово-синяя апоплексическая река, так и не замерзшая нынче зимой, чуть было вышедшая из берегов — искупать нас в ледяной купели. Да и зима ли на дворе? — солнце сияло по-мартовски.

— Сразу после войны, — сказал Ч., — в этом доме еще сохранился один из прежних графских шереметевских слуг. Он работал официантом. Сам не пил, ничего такого, имел кое-какой капитал. Он был, говорят, баптист, в общем, сектант. И вот однажды приехал граф Игнатьев, этот — «Пятьдесят лет в строю», генерал... Заходит сюда...

А у него дом был свой на углу Гагаринской... Ну, наши спустились к нему сюда в кафе... Мне Александр Андреевич Прокофьев рассказывал... Он посмотрел так на этого официанта и что-то такое вспомнил. И говорит ему: «При графе, братец, было иначе». Тот ему говорит: «Сейчас будет сделано». И все подал ему, как при графе.

Подняли тост за Волю, чтобы она чувствовала себя членом нашей семьи. (Воля была секретарем райкома, ее недавно поставили к нам для укрепления связи).

— Мы за Волей, как за каменной стеной, — сказал У.

В этом комплименте два смысла: каменная стена суть высокая ограда, за которой безопасно. Но из-за этой каменной стены без ведома и согласия Воли не очень-то улепетнешь на волюшку-вольную.

Глаза у Воли живые, глядят и видят. И уши слышат. Говорит она на партдиалекте: «Надо задействовать это решение», «где-то в районе конца января», «мы будем выходить на Григория Васильевича»...

<...>

Сажусь к тетради после проигрыша на бильярде. Всякий проигрыш нехорош. Правда, на этот счет придуманы ободрения: «За одного битого двух небитых дают». «Побежденные должны молчать. Как семена». Однако лучше бы выиграть. Хотя и переживание поражения преходяще. Множество раз в моей жизни я позволял кому-нибудь или чему-нибудь меня победить. Утешался, умывался, даже думал, что унижение очищает меня. «Ничего, я споткнулся о камень, это к завтраму все заживет».

Идя на малые, легко заживляемые поражения, можно незаметно проиграть всю кампанию — с самим собой. Вот я отпустил удила, теряю в себе писателя. Не пишу. Играю на бильярде. Получаю зарплату. Я — второй секретарь. Работаю над заказанной статьей «Как мы пишем». А мы никак не пишем. И это в порядке вещей, само собой разумеется: секретарь на службе, у всех на виду. Покуда я сидел в своей норке (до сорока четырех лет, подолее Ильи Муромца), никто не изливал на меня потоки чувств, оценок, похвал, упреков. Никто не становился в позу по отношению ко мне, и у меня была моя единственная поза.

<...>

Завтра мне будет сорок пять лет. Круглая дата. В чем же ее круглость? В том, что к сорока пяти оказываешься кругом виноватым. Занимаешь должность, дающую власть — значит, виноватый вдвое. И у тебя сохранилась совесть, как банка с порохом «Сокол»: срок действия пороха вроде истек, а порох сухой, жалко выбросить, не знаешь, то ли годен для выстрела, то ли даст пшик. Совесть от неупотребления тоже теряет взрывчатую силу.

<...>

У швейцарского писателя Макса Фриша в одном романе (и в другом) идет речь о множественности личин человеческой личности. Стоит человеку реализовать себя, как он тут же себе и изменит, нарушит внутри себя идентичность. Например, человек сидит за столом среди чужих ему людей и молчит. Пока он молчит, у него остается шанс не раздвоиться, сохранить в себе себя самого, потаенного человека.

<...>

Июль на дворе. В прошедшее незаписанное время выступал там и сям: в Абакане, Красноярске, Питере, за «круглым столом» в журнале «Литературное обозрение», перед строителями Саяно-Шушенской ГЭС, начинающими литераторами города Апатиты, тружениками совхоза «Алеховщина». Наслушался болтовни на съезде писателей СССР, стал членом ревкомиссии.

Упал тополинный пух. Остались на своих местах Брежнев, Подгорный, Косыгин. Странное дело, из всех первых лиц в государстве во все времена Косыгин единственный правильно говорит по-русски. Почему его держат? В писательской иерархии наверху по-прежнему Марков, Михалков, Кожевников, Ананьев, Беляев, Верченко.

«Трусость и молодость — это понятия несовместные! Надо быть смелым в молодости! Будучи трусливым в молодости, нельзя стать смелым в старости». Так говорил Евтушенко. Он стоял на трибуне, в синей мятой рубашке, с жидким хохлом на маленькой голове, вздымал кверху по направлению к залу руку, сжимал пальцы в кулак. Он чем-то напоминал фюрера.

<...>

В доме Василия Шукшина появился М., новый муж Лидии Федосеевой... Я не знаю, что случилось в доме Макарыча, только знаю, что ЕГО дома больше нет. В доме все омертвело: книги? — их не читают; портреты хозяина? — на них не глядят, а если глядят, не получают ответного взгляда. Дом запылится, в нем появились пустые бутылки; Макарыч не пил... Хозяева уехали... Меня пустили пожить в квартиру Шукшина по нашей с ним не то чтобы старой, но нежной дружбе, впрочем, вполне платонической: мы повидались с Макарычем дай Бог четыре или пять раз, да и то мимоходом, но нежность друг к другу у нас была. И была у нас переписка на пределе откровенности, без единого необязательного словечка. Ах, какие письма я получал от Макарыча, с каким замиранием сердца читал и храню!

Живя в его доме, я думал: лучше бы Вася пил, может статься, дольше бы прожил; наши выпивохы долго живут. Но я знал, что и пить он не мог, ничего не мог, кроме как идти к своей смерти. Он не мог

выжить в панельном доме Мосфильма, построенном для таких, как мосфильмовец М. Макарыч спел свою песенку: «Жена мужа в Париж провожала, засушила ему сухарей...» Герой рассказа под таким заголовком в финале открыл краник газовой плиты на кухне... В фильме «Калина красная» Губошлеп, убивший Егора Прокудина, подводит его смерть под некую историческую или среднестатистическую, что ли, закономерность: «Он был мужик. Мужиков в России много». В фильме убийство Егора Прокудина как репетиция собственной смерти автора. Василий Шукшин своим Искусством замахивался, посягал на устои, на цитадель, за такое казнят. Он бился лбом в стену, гнал лошадей, умещал в каждом дне три, четыре дня исполненной работы. Мотор изработывался...

Искусство Шукшина, оставшись без Хозяина, заняло место на полке, замкнулось в себе. Оценочные баллы превосходной степени, высшие премии пришли после смерти. Даже и золотой дождик пролился, так нужный живому — для независимости.

Теперь Искусство Шукшина затворено на замок.

Наступила пора предательств. Похвалы и предательство ходят вместе. И подкуп: женщину можно купить, если она не знает, что служение мужу от Бога, если не помнит, как служили русские женщины тем, кто нес в себе Божью искру. Купили жену Шукшина Лидию Федосееву, взяли за ней приданое: дом Макарыча — не стены, а дух живой творящего Художника, его наследие, незаконченные труды писателя, его архив.

Сама-то Лидия понимала, это она мне сказала: «Хочешь понять Васю, прочти внимательно „Я пришел дать вам волю“. Это он про себя написал». Ну вот. А поставить фильм ему не дали. И женою распорядились.

Однажды Шукшин прислал мне в журнал «Аврора» рассказ начинающего тогда Макарова, с горячей рекомендацией напечатать, с оговоркой: «Не хочу отдавать толстым московским боярам». Он покусился на косное боярство, жирующее на теле народа, меняющее по обстановке обличие, фразеологию, но насмерть стоящее за собственный интерес. И свое получил.

Живя в доме Шукшина, я думал: мог бы русский человек вот так владетельно войти в этот дом, как вошел в него М.? Поверх житейского, семейного, мужского, женского, мосфильмовского — есть же что-то высшее, общее, святыня, национальное достояние? Чтобы решиться войти в дом русского мастера, по-хозяйски сесть за его стол с недописанным рассказом, надо иметь в себе некий Дантесов комплекс, быть чужестранцем в стране обитания. Господи, помоги нам бедным!

<...>

Сегодня был с мамой на кладбище. Железная, из железных прутьев сваренная пирамидка на могиле отца поржавела. Могила заросла дикой травой. Мать рыхлила землю цапкой, посадила маргаритки. Мама худа, стара, без признаков телесной жизни, жива духом единым. В глазах у нее ясность ума и души.

Кладбище разгорожено, оградки впритык, образовались на кладбище как бы квартиры, кварталы, городищи. И всюду имущественное неравенство: есть могилы-люкс, с мрамором, столами, скамейками, дорожками, посыпанными песком. За столами сидят, выпивают. Тенисто, в меру тепло, отраднo. Кладбище успокаивает, примиряет каждого с самим собой. Даже такая диалектическая духовная особь, как я, несущая в себе два разноименных генетических начала: отцовское плотское, материнское идеальное — даже и я как будто обрел в себе божеское смирение. Сколько ни ерепенься, ни колготись, ни греши, ни рыпайся, все равно будешь тут, и будет пахнуть цветущим барбарисом, и будут белые маргаритки, розовые маргаритки. И высохнут слезы.

<...>

Съезд писателей. Москва, гостиница «Россия». Знакомые лица: Абрамов, Распутин, Астафьев, Носов, Белов, Конецкий, Горбовский, Торопыгин, Иван Петров из Петрозаводска (Тойво Вяхья), Иван Чигринов, Иван Мележ из Белоруссии, Фридон Халваши из Аджарии, Ираклий Абашидзе, Максим Цагараев из Осетии, Михаил Кильчичаков из Хакасии, Евтушенко, Аксенов. Вот пропорхнула Беллочка Ахмадулина, протянула руку, я ее поцеловал. Почему протянула? Должно быть, навеселе. Рядом с ней Поженян. Прошел мимо Сергей Михалков, в темных очках, не поздоровался. Почему? Ананьев в баках, на высоких каблуках. Маленького роста, признанный, а хочется стать повыше. Виль Липатов — хрипатый, заикающийся. Писателю полезно иметь страшненький вид: припадочно моргать, заикаться, нажить мешки под глазами. Не мешает обзавестись мешком денег. Или быть очень старым, как Антокольский: тоже страшно. Или чтобы зубы торчали вперед, как у Марка Соболя. Полезна репутация запойного пьяницы. Вот опять же Виль Липатов... позаикался, проглотил несколько таблеток депрессина. «У меня де-епрессия. Я засыпаю». Он постригся в кружок под Пугачева, чтобы стало еще страшнее.

Евтушенко тоже пугает. Из него бы получилось прекрасное огородное пугало. У него самый большой автомобиль, под номером 00—89. Человек номер 00, от одного вида мороз по спине.

<...>

В журнале «Аврора» случилось именно то, что и должно там было случиться: редактора Володю Торопыгина подвели под монастырь.

Работая в «Авроре», я видел и говорил Володе, но он мне не внял, не допускал мысли о подвохе, подкопе, вообще о чем-нибудь таком, что омрачает праздник жизни. К жизни он относился как к празднику, в особенности в роли редактора молодежного журнала, когда напечатанные авторы приходят вереницей, у каждого за пазухой бутылка и полная готовность бежать за второй...

Напечатали стихотворение Нины Королевой, нечто о городе Тобольске; в ряду других примет сибирского города поэтическое предположение: «В том городе не улыбалась царица с ребенком...» Царица в Тобольске не улыбалась, прозревая свою судьбу. За напечатание этого стихотворения, за строчку в нем... «с монархическим уклоном» — теперь снимают с работы моего друга Володю Торопыгина. Так дорожил Володя постом, так ему соответствовал, так горько не понял происшедшего... Владимир Васильевич Торопыгин являл собою пример искреннего непрофессионального верноподданничества партии, идеалу коммунизма, с молодых ногтей, без тени сомнений и колебаний. Парт-аппарат отвергает излишне верноподданных, искренних, тем более, если хоть что-нибудь человеческое им не чуждо. Этого Володе не дано было понять, как многим...



Глеб Горышин и Владимир Торопыгин, 1973 г.

Володя Торопыгин, долгое время висевший на доске лучших людей Дзержинского района (и сейчас не снятый), освобожден от должности, обвинен в несодеянном, незаслуженно пострадал. Его вчерашние друзья-партийцы, не пострадавшие, советуют ему пойти в обком покаяться, признать себя импотентом и слабаком. Вот тогда, быть может, партия простит своего оступившегося, однако верного сына. Быть может... Только едва ли. Наперед все известно (если обернуться назад, вспомнить, как было заведено): обвиняя, понуждали признать вину, подписаться под ложными обвинениями, тем самым удостоверить свою партийность. За это обещали... Но стоило дрогнуть и повиниться, — человек лишился всех человеческих прав, даже надежды на себя самого. Занавес опускался. Капитуляция человеческой личности никогда не оправдывалась, тем более не вознаграждалась.

Едва ли Торопыгин прочел стихотворение Нины Королевой о Тольском в подборке других ее стихов. Володя доверял и поэтам, и редакции... Если и прочел, только то, что было в стихе; поэзию он читал как поэт. Он жил в ирреальном мире повального стихотворчества, дружества, пьянства, празднества, неизбежного, как коммунизм, успеха.

<...>

Ездили с мамой на кладбище, на могилу отца. Два милиционера стояли у въезда в этот город мертвых. Один мильтон оказался добрее другого. Недобрый потребовал у матери удостоверение инвалида первой группы, чтобы пустить нас на кладбище на авто. Мама показала на свое лицо: «Вот мое удостоверение».

Добрый мильтон махнул рукой: «Езжайте». Недобрый отвернулся.

<...>

Был на охоте на Новгородчине. Ехал по новгородским дорогам мимо березняков, сосняков, майских разливов полой воды и думал: «Моя Новгородчина». Отсюда родом наша фамилия Горышиных, материнская Дементьевых. Я проехал моей Новгородчиной тысячу километров. Иногда гнал за сто, иногда еле полз. На проселке под деревней Якишево увязил машину в пльвуне. Меня вытащил за ноздрю тракторист Витя, пахавший на «Беларуси» пашенку. Я чувствовал кровное родство с трактористом Витей: мой земля. Мы с ним выпили на бугорке бутылку болгарского коньяку, попели. Машину я оставил в Якишеве. Попросил хозяйку крайней избы: «Можно, около вас постоит?» Хозяйка рассиялась в улыбке: «Дак пусть стои-ит. Чай не конь, исть не просит».

В Домовичи шел пешком, майской соловьиной ночью, думал, что здесь моя отчизна, завязь всех слов и сказаний. Блазнилась в воображении (после выпитого коньяку) некая поэма, как мою родину обманули, замордовали; нас, русских, записали по разряду «сообщества

советских людей», упразднили в нас нацию, запугали «интернационализмом». Я плакал о поруганных новгородских церквах и бедных старушках в брошенных деревнях. В памяти всплывали лермонтовские «дрожащие огни печальных деревень», блоковская «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои...». Но избы истлели, огни нигде не дрожали. Мою Россию называли «Нечерноземной зоной». Ее едут осваивать комсомольцы Узбекистана и Чечено-Ингушетии.

Я думал, что назначение русского писателя пробуждать национальное сознание в своем народе. Хотелось пострадать за народ, даже быть казненным клеветами. В лесной глухомани, в весеннюю ночь, в самом сердце России, после целого дня плавания по новгородским разливам все казалось возможно. Шурхал под ногой посыпанный хвоей снег; пели соловьи.

<...>

Сезон белых ночей в Ленинграде прошел хорошо. Четыреста мостов висели над тихими, темными водами. На Лиговском проспекте рубили тополя, чтобы они не плодили пух. Но у всех рыльце было в пушку.

Сегодня меня утвердили редактором журнала «Аврора». (Ранее я ушел из вторых секретарей по собственному — многократно высказанному — желанию, то есть по нежеланию быть вторым секретарем). Кажется, я полностью изжил мою социальную недостаточность, перемещаюсь по служебной лестнице вверх: получал 250, потом 300, теперь 350. На этой ступеньке свободное самоизъявление уступает место исполнению функции; личность превращается в функционера. Я был человеком, теперь я функционер. Надо выучить новую роль. Или она сама захмутаёт? Другие фон, пейзаж, климат; надо перенастраивать свои системы. И еще бы остаться самим собой.

<...>

Меня поставили на должность редактора журнала беспартийным — случай беспрецедентный в советской журналистике. Ну да, при условии, что я...

В партию вступать неохота, но получить свой журнал... Овчинка стоит выделки. Как уговаривал меня мой покойный батюшка, коммунист до мозга костей, вступивший в начале тридцатых, исключенный в пятидесятом, по Ленинградскому делу... Папашу сняли с поста управляющего трестом, он уехал в леспромхоз главным инженером, построил лесовозную дорогу, подал заявление о приеме — не о восстановлении, тогда еще не восстанавливали. На бюро райкома папашу приняли: все видели, как выкладывается мужик в лесу, все знали Александра Ивановича Горышина еще по войне. А обком отменил. Без партии, как без воздуха, моему батюшке нечем было дышать. Его восстановил в рядах XX съезд. «Вступай, — советовал мне папаша, —

партия теперь не та, что в наше время бывало. Это с нашим братом не чикались, раз, два и к стенке. А теперь... вступай».

Вдруг подумал: я был студентом в такое время, когда... В какое время? В страшное сталинское время. И что же? Все, кто учился со мной в это страшное время, осуществили себя четверть века спустя. Не пропали дарования, даже такие заурядные добродетели, как целеустремленность и усердие. В страшное сталинское время, в наши студенческие годы, будучи сжаты и ограничены со всех сторон, мы, оказывается, вырабатывали в себе вот это стремление к цели, знали, чего хотим. Мы не растратили себя; самоограничение было предопределено режимом, регламентом университета. Главное, что нам преподавали, — отказ от собственных интересов в пользу общего. Эта дисциплина закладывалась в основу всех наук.

В то время в сельском хозяйстве насаждался метод «холодного содержания телят», согласно лысенковской теории яровизации: телят, так считали, лучше выращивать на холоде, чтобы выросли закаленными, крепкими, неприхотливыми коровами и быками; мяса и молока от них будет невпроед. К юношеству тоже применялся метод холодного содержания телят. Нас вырастили жизнестойкими.

<...>

По радио играют гимн Италии, просто как музыку.

Василий Макарович Шукшин все смотрит на меня со стены, все прищуривается.

<...>

Вчера меня приняли в партию на бюро Дзержинского райкома города Ленинграда, в бывшем графском особняке на улице Чайковского (не композитора, народовольца), с Венерой, амурами, нимфами под сводами потолков, с мраморными наядами, психеями в нишах стен, со смуглотой паркетов, резьбой по кедру в интерьерах. В приемной толпились вступающие, с усами, баками, долговолосые — современная техническая интеллигенция или еще кто, по виду трудно определить. В зале заседаний бюро стоял огромный стол, во главе его первый секретарь, со столь же знаменательной, как Романов, фамилией, — Баринова. Мне показалось, что стол стоит наклонно, как ложе с приподнятым изголовьем. Что-то было в этом столе от алькова и в самом зале: в окраске, росписи, лепнине, декоре пола, стен, потолка. В барском доме правила боярыня Баринова. Меня посадили против нее, в торце стола; барыня находилась от меня недосыгаемо далеко и как бы на возвышении. У стола сидели маловнятные люди: я видел двух женщин, полковника с большим лицом, с алыми петлицами органов.

Ко мне обратились с вопросом, я принялся было отвечать поспешивая, но меня вздернули: встань! Я встал, страху не было. Вопросы носили условный характер: надо было услышать мой голос, соблюсти

ритуал. «Раньше возникал вопрос о вступлении в партию?» — «Не возникал». — «Почему, так долго не вступая, сейчас решили вступить?» Я стал мямлить: «Ну, видите ли, вообще говоря, я большую часть жизни провел в одиночестве за столом. Так вышло, что поступил на службу в последние годы. Служебные и общественные обязанности сделали невозможным быть вне партии». Бюро покивало головами. «Как обстановка в журнале?» — спросила Баринова, тоном голоса давая понять, что это последний вопрос для порядка, что дело мое выгорело. Я опять мямлил: «Ну, видите ли, вообще говоря, мы сделали еще не все, что бы хотелось, но обстановка спокойная, рабочая обстановка». — «Мы вас поздравляем с вступлением в ряды...»

В ознаменование пили водку с нашим парторгом и инструктором райкома Аполлинарьевичем.

<...>

Говорят, что жизнь состоит из работы, любви, движения, размышления, поглощения пищи телесной и духовной. Но сколько времени, сил душевных тратит человек на смотрение в глаза себе подобным. Иногда человек глядит в небо или вдаль, но это бывает редко и не со всяким. Всю свою жизнь, с самого детства мы смотрим, смотрим в глаза мужчин, женщин, детей, стариков. И — Господи! — какие видим миры, какие небеса, какие дали! Говорят, что глаза — зеркало души. Глазами сообщаются души. Каждый видит себя в глазах своих ближних и дальних. И так легко потерять себя, не встретив ответного взгляда.

1978

Чудная стоит зима! Дивно переливаются купола Василия Блаженного! И пахнет козлом в коридорах отеля «Россия», недавно горевшего, теперь ободранного, побеленного заново. При пожаре в «России» погибло шестьдесят два человека. Иные сгорели, задохнулись в дыму, иные срывались с пожарных лестниц, падали.

Сегодня Брежневу вручили орден Победы. Вспомнили, что есть такой орден. Им наградили первым Сталина. Но Сталин был главнокомандующий, а Брежнев начальник политотдела, полковник. Он не командовал войсками, не побеждал.

На церемонии вручения Брежнев был подобен кукле, выраженной в маршальский мундир. Он был подобен старому пингвину. Орден ему вручал человек, быть может, единственный, сохранивший во всей первозданности победительную дикость рабфаковских партячек. Орден Победы вручал «верному ленинцу» Брежневу Михаил Андреевич Сулов, он сказал словечко из той эпохи, осмеянной (отнюдь не оплаканной) Зошкенкой: «бескомпромиссный». Сулов наш идеолог № 1.

У Бунина в «Жизни Арсеньева»: «Ах эта вечная русская потребность праздника! Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью, — не просто наслаждения, а именно упоения, — как тянет нас к непрестанному хмелю, к запою, как скучны нам будни и планомерный труд. Не родственно ли с этим „весельем“ и юродство, и бродяжничество, и самосжигания, и всяческие бунты...»

<...>

В № 4 «Авроры» на второй странице обложки картинка: В. И. Ленин разговаривает с народом. Ильич вышел в печати с чернотой на лице. Отпечатанный, запакованный тираж остановлен, взрезан. Предстоит переклеить 168 000 экземпляров. Вечером позвонил из Москвы Тяжелников: в посланном ему сигнальном номере утром он ничего не заметил, а вечером заметил. Я объяснил первому секретарю ЦК ВЛКСМ, что тираж перепечатают, без Ленина. Он еще больше закручинился: как же № 4 без Ленина на обложке? Ленинский номер без Ленина — комсомольский вождь не понял, как это может быть.

Пришел Рытхэу, рассказал, как хорошо живется эскимосам на Аляске. Они даже решили вопрос о пьянке: у них жесточайший сухой закон. Кто захочет выпить на острове Святого Лаврентия, может слетать на материк в город Ном, платит шестьдесят долларов в один конец.

Днем мной владело состояние внутренней, лишь отчасти выходящей наружу активности. Я рано приехал в редакцию, бегал от телефона к телефону, отвечал за вверенный мне участок в обстановке прорыва. Телефоны звонили, мои приказы немедленно исполнялись. Я очень много курил в этот день.

Эскимосы убили кита, разрезали его на куски, и так серьезно, изначально было это их дело, что мне захотелось стать эскимосом.

Но я приурочен, приставлен к идеологической работе. История с В. И. Лениным на второй странице обложки дала случай ощутить хваткие пальцы сей дамы на собственном горле.

<...>

Дятлы стучат клювами в барабаны, в деревянные деки своих инструментов — в стволы, ветви деревьев. Дятлы играют встречный марш весны. Я знаю одного дятла, каждое утро барабанившего в бетонный пасынок телефонного столба. Дятел не может не знать, что в бетоне не водятся короеды. И бетон не резонирует, не звучит... может быть, дятел, стуча клювом, рассчитывает на публику: посмотрите, как я работаю, послушайте, как я играю на барабанах?! Пройдет весна, кончится музыка дятлов. Как она мелодично-ритмична, звучна, трудно поверить, что музыку производят самые серьезные, деловитые, озабоченные в мире пернатых и такие нарядные: в красном бархате, в черном сукне, в белом атласе.

Дятлы внятно напоминали мне своей музыкой: еще одна весна.

Сегодня жива моя мама, разговаривала со мной...

Потихоньку обнаруживает признаки присутствия в жизни мой журнал. Его конвульсии, спады, прозрения точно отражают циклы его главного редактора. Я знаю, можно обрести форму — журнал пойдет, и я пойду: по Кировскому проспекту, по Каменному острову, по этому городу и другим городам и весям.

Кто-то сказал, что для того, чтобы избавиться от мрачного взгляда на мир, чтобы посветлело в очах, нужно увидеть Рим и Венецию. Нынче осенью я увижу эти итальянские чудеса. В Италии я буду улыбаться девушкам, площадям, каналам, небу, руинам, вертепам. Я по-маленьку успокаиваюсь.

Вернейшие первоначальные признаки успокоения: а) написать письмо, заклеить конверт, опустить в ящик, б) пройти пешком от редакции до Ушаковского моста, в) побегать утром в парке, г) сесть вечером вот за эту тетрадь, д) купить хлеба, булки, отнести маме.

<...>

Прочел в журнале «Америка» воспоминания о лекциях Набокова в колледже, принадлежащие перу Ханны Грин, теперь она стала писательницей. Набоков открыл ей Толстого (5+), Чехова и Пушкина (5), Тургенева (5—), Гоголя (4—), Достоевского Ханна усвоила на три с минусом (или на два с плюсом).

То, что называют разрядкой, возможно только при условии духовного соприкосновения, бывшего задолго до нас. Набоков читал лекции в американском колледже, преподавал Россию в Америке, обладал всех убеждающей силой духа и благородством манер. Бунин во Франции работал для своей страны, для России. Он ненавидел Советский Союз, но ненависть не могла истребить в нем призвания русского писателя — внушать миру добрые чувства к России.

Сочинения — одно; интеллектуалы из России, первой волны эмиграции, явили миру образ русского человека, пример поведения, служения родине, которая предала. Это вообще малопонятно на Западе. Отсюда и интерес к русским, желание с ними разговаривать у умных людей. Конечно, не всем русским в эмиграции хватило наличного духовного вещества для высоты примера. Куприн во Франции, без русской почвы, увял. Ну, правда, и поддавал он отчаянно, по-русски, а это там нельзя. При всем при том Россия открылась миру, явила ему — в лице отринутых ею, в лучшем смысле русских людей — глубину духа, всечеловечность.

Книги сами по себе едва ли могли донести до Европы, Америки (и Азии) обаяние живого русского характера, непосредственно воздействовать на европейцев, американцев (и азиатов), пробить брешь в панцире их самонадеянности, вызвать на разговор. Это сделали та-

кие писатели, как Бунин, Набоков (хотя Бунин не принимал Набокова; это уж их дела), может быть, Зайцев, Шмелев, Ходасевич, Мережковский и еще целая плеяда философов...

Об этой роли Набокова у нас не сказано, едва ли и подумано. А ведь не будь в Америке Набокова, я не уверен, что у меня и у американского профессора из Йельского университета Джонсона получился бы такой упоительно интересный обоим разговор.

Брежнев и Картер, не читавшие Набокова, ни о чем не могут и не смогут договориться, не понимая, что «разрядка» происходит из всечеловеческой духовной близости, из потребности народов друг в друге на основе культурной общности. Идеологические, стратегические, государственные и др. концепции, доктрины надо отбросить к е. м., они мешают; делать «разрядку», исходя из этих концепций, все равно что заниматься любовью в шинелях, с подсумками и автоматами.

Все время ощущение: сел не в свои сани, угодил не в свою колею. С таким самоощущением живут миллионы людей, большинство человечества. Мало кто знает, где его колея, которые его сани.

Наша литература, дав последний всплеск в семидесятые годы, опять впадает в мертвую зыбь. Тема деревни, при дозволенном потоке, исчерпана. Время философского эссе о таинствах человеческой психики в обществе развитого социализма еще не пришло и едва ли придет. Нравственные, духовные, физические силы нации то ли истощились, то ли скованы странной апатией. Россия растлена изнутри.

Если будет война, Россия ее не обязательно проиграет, но, может случиться, что коммунистов перевешают, и меня в их числе. Есть шанс умереть смертью храбрых, а неохота: надо бы посмотреть, что будет. Но посмотреть не придется, разве что крайним усилием поослабив петлю. Впрочем, все одинаково виноваты. Замешаны все.

В это время Джимми Картер глядел в бинокль на Берлинскую стену, воскликнул: «Какая низменность духа могла это сотворить, какой это символ подавления прав человека! Строить стену не для того, чтобы обороняться от неприятеля, а для того, чтобы не убежали граждане собственного отечества... Государство приравнено к тюрьме...»

«Картины, созданные добродетелью, спокойны и безжизненны, — только страсть и порок оживляют творение живописца, поэта и музыканта».

Дидро.

И он же: *«Мне более по душе осушать слезы несчастных, чем разделять чужую радость».*

Завтра я еду в Италию. Плохо маме. Может статься, ей сделалось плохо именно потому, что я еду. Ей худо без меня, у нее никого нет,

только я. И ей обидно, что я не могу понять крайность ее нужды во мне, не хочу войти в ее мир и не выходить...

Я только что вернулся из Коми, из Усинска. Видел цветной север: березки, шикшу, гонобобель, морошковые листья, мох, ягель, брусничник — тундровые ковры. Погулял в ивовых лесах над Печорой. Хороший заголовок: «Ивовые леса над Печорой». Заголовок к чему?

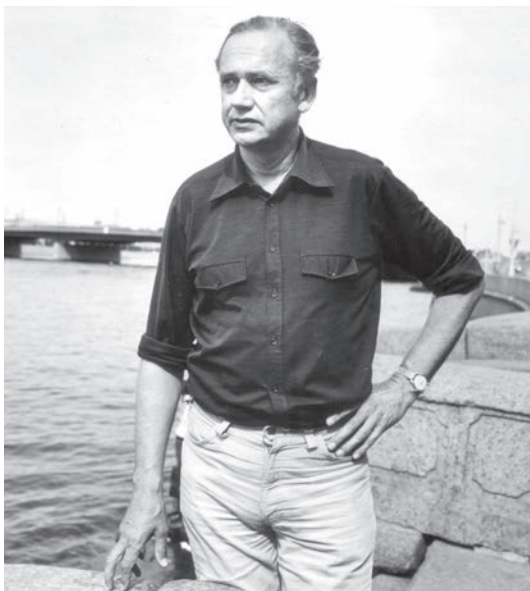
<...>

Читал Андрея Платонова «Впрок». Это грубый Платонов; неошкуранный; впоследствии он ошкуривал себя, обтачивал. Это — сыро, тяжело. Иначе и нельзя, ибо жизнь в этой «бедняцкой хронике» — сырая, тяжелая. Первый год колхозов где-то в срединной, черноземной России. Разрез колхозного строя не только поперечный, но и продольный, во времени доходящий до нас.

Читал Брежнева «Целину», без отрыва, залпом читал, не оторваться. Кто написал? Едва ли сам Брежнев. Но — близко, близко автор ходит к горячему, пятки печет. Во мне отозвались мои три года на целине. В «Целине» есть стиль, есть убежденность, энергия стиля, фразы — из убеждения. В авторе (или в герое) чувствуется матерый человек.

<...>

«Аврора» стала вдвое меньшего формата, чем была, вдвое толще. Читатели раздражены, но я спокоен, так-то лучше, без аврала по поводу каждой картинки на каждой очередной обложке. А то как сигнальный номер ляжет на стол Г. В. Романову, — и жди разноса: картинка не понравилась главному человеку, значит, под нож, срывается график выхода в свет, плакала квартальная премия. Романову хотелось бы видеть на каждой обложке крейсер, а крейсера все нет. Журнал назвали «Аврора» в честь утренней звезды, а не крейсера. Крейсер на сигаретах «Аврора», на бритвенных лезвиях. Нет, уж лучше без рисования на обложке.



Глеб Горышин. Ленинград, 1978 г.

В № 9 была напечатана подлая статейка Шароевой «Они шумели буйным лесом», про то, какие чудо-богатыри учились в ИФЛИ перед войной; одни отдали жизни за родину, другие нынче ходят во князьях. Написано пошло-напыщенно, с претензией, с намеками на причастность (Шароева тоже ифлийка). Надо бы сразу завернуть, но зав. публицистикой Л. так страстно убеждал меня, что это именно то, чего ждут от нас партия, комсомол: героика, романтика, громкие имена...

Совершенно не зная, как понравиться партии, комсомолу (понравиться — и позволить себе вольность, чтобы так на так вышло), перебарывая себя, сказал Л.: «Перепроверьте, проведите прореживание, разгребите эти дамские штучки». В верстке не стал читать, спросил: «Проверили, разгребли?» Л. затряс щеками, изображая на лице абсолютную благонадежность: «Все в ажуре». Статейка прошла. Меня за нее высек по телефону Черноуцан из ЦК, тоже ифлиец. Что-то там было не так с Шароевой. Теперь придется давать поносную реплику на собственную публикацию, по указанию ЦК, ее напишет Лазарев, тоже ифлиец.

Л. подвел меня под монастырь с этой подлой статейкой. Что им руководило, умысел, глупость? Я пригласил Л., сказал ему: «Напиши заявление... по собственному желанию. Нет, мы тебя не торопим, никаких кар тебе не будем чинить...» Я сидел против Л. на своем редакторском месте, подавлял в себе человеческое (так жалко мне было Л.), выставлял наружу редакторское, партийное. Л. опал с лица. Я искал в себе твердость, опору, рисовал на бумаге загогулину, курил. «За эту статью полагается снять главного редактора...» Во взгляде Л. прочел согласие с таким поворотом: надо, так и снимайте. Как будто я извинялся перед Л., а он входил в мое положение. «Я уважаю тебя, — сказал мне Л., — но не как редактора, а по-человечески. И что ты скажешь, это для меня все...»

Потом мы поговорили о текущих делах. Я уволил Л., но вроде бы объявил ему благодарность.

Л. щекаст, с торчащим вперед подбородком, по-провинциальному укромно-самонадеян, высокого мнения о себе. Как я меланхолик, так он, безусловно, холерик. Может быть, полезно активен, но активность его может вспухнуть не в ту сторону, как флюс.

В конце дня ко мне пришел Борис Иванович Бурсов, побывавший в Италии, Франции, Англии. Б. И. заметно состарился, кожа на щеках, подбородке отстала от плоти, повисла мешочками. Его глаза провалились, в них появилось нечто провидческое. Он выступал на конференциях, посвященных Толстому, в Венеции (где я примерно в это время торговал водкой), Париже, Оксфорде. Б. И. вкратце обрисовал обстановку, действующих лиц и о чем говорилось за рубежом. По его словам, он оказался в компании литшулеров: Суровцев, Федо-

ренко, Храпченко. Суровцев говорил на толстовских конференциях о том, как переводят Толстого на свой язык киргизы. Федоренко говорил о том, как воспринимают Толстого китайцы. Так получилось, что русские и не в счет. Как будто русские настолько уже объелись Львом Толстым, что им нет нужды не только думать о нем, но даже и читать его, а только наблюдать, как сервируют Толстого киргизы и китайцы.

Итальянец Страда сказал, что в России есть три последователя Толстого: Гроссман, Солженицын, Трифонов. Трифонов зарумянился, застенчиво согласился со сказанным в отношении себя и Толстого, однако счел нужным добавить: «Еще Абрамов, Белов, Распутин».

Б. И. (опять же по его словам) обо всем откровенно высказался, по праву возраста, интеллекта, профессорства и еще с врожденной крестьянской сметкой, умением сориентироваться, выкрутиться. Трифонову он сказал: «Вы плохо выступали. Нужно было сказать: „Выделять какие-то фамилии в связи со следованием традиции Толстого — неправильная методология. Толстому следует вся настоящая литература в России и в Европе, другое дело, кому насколько удастся приблизиться к Толстому...“»

<...>

Утром бегал в парке Лесотехнической академии; парк хорош. Приманил белку, и белка хороша.. Днем ездил к матери. Первый раз в жизни сам, собственноручно лечил мою маму: растирал ей спину эбонитовым диском, якобы, помогает. Была дочка Анюта. Так хорошо мне было с моими мамой и дочкой. Дочка от первого брака, выросла без меня. Дочь, обделенная отцом, и отец обделенный: без дочерней любви, без радости соучастия в вырастании, взрослении родного существа...

Моя мама из прошлого века, с дворянской закваской в крови. (Моя бабушка по маме Мария родилась у прабабушки Натальи, дворовой у графинюшки, в Питере у Пяти углов, от графинюшкина племянника; Наталью выдали замуж за дворника Василия, отвалили три тысячи, отправили в деревню Смыково Новгородской губернии; там дедушка Василий открыл лавочку. Бабушка Мария была красивая, своенравная особа и мама тоже). Революция случилась при маме, но она как бы ее не заметила. Ей ни разу не пришла в голову мысль, что теперь все равны или что интеллигентность не уважительное преимущество, а недуг, нечто вроде сыпи, которую надо по возможности скрыть. Мама сохранила в себе избирательное отношение к людям, не по сословному признаку: кто из простых, кто из образованных, а по каким-то одной ей внятным приметам, человек своего круга или не своего. Ум, культура? Но что они значат в коммунальной квартире или в больничной палате на двадцать шесть коек? О, моя мама нелицеприятна в оценках людей, выносит их раз навсегда. Однажды я ей купил

путевку в Дом творчества в Комарове, там жил самый досточтимый для всех писатель. Мама не разговаривала с ним, только приглядывалась. Она мне сказала: «Ты ему не верь, он худой мужик».

То, что мама думала, она и высказывала в глаза любому и мне, своему единственному любимому сыночку. Ей не понравился ни один из моих рассказов. «Зачем ты пишешь от первого лица? — как-то попеняла мне мама. — Все я да я, надо от ячества уходить». Я уходил и опять возвращался: от себя самого куда убежишь? Маме хотелось, чтобы я стал доктором, как она сама, в свое время, помню, склоняла меня поступить в Военно-морскую медицинскую академию. Именно в Военно-морскую, чтобы сынок был в красивой форме и при манерах. Так хотелось маме привить мне манеры! Впрочем, и к моему писательству мама отнеслась терпимо, все мне прощая, любя. Никто так не понимает меня, как мама, и мне никогда так себя не понять. По поводу моего вступления в партию мама сказала: «Зря ты связался с этой компанией, ничего хорошего у них не выйдет». Больше на эту тему мы с мамой не говорили.

<...>

Влекут в обком на экзекуцию. Будут терзать на этот раз особенно больно. И, главное, противно. По мнению обкома, журнал «Аврора» так и не занял правильную партийную позицию. Партия мало-помалу раскусывает меня, не принимает пока что всерьез, приручает и в то же время я вроде как «любимец партии»: партия подобрала меня под забором, вывела в люди. К тому же партия имеет от меня куш, стрижет партвзносы, однако не любит, когда ее член получает лишку. Партаппаратчику до скрежета зубовного неприятен художественный интеллигент: «Я — секретарь обкома, а получаю пятьсот, а ты — кто? а получаешь...» Партии надо всех уравнивать.

1979

<...>

Видел во сне Шукшина. Вначале он явился мне сидящим не то на пенке, не то на табурете, или на некоей покати, склоне. Надо было идти к нему, одолевая угол падения. Идти было вязко, ноги проваливались, будто по незастывшему вару черного цвета. Я подошел к Василию, нужно было его обнять, но не совпадали наши уровни, позиции; какая-то несовместимость существовала между нами.

Сон был длинный; Вася Шукшин превратился в мальчика с голыми ногами. Его глаза сделались круглыми, желтыми. Он от меня убегал, я его догонял. Догоняя, упал, успел схватить за голую ногу. Говорят, покойников видят во сне — к морозу.

<...>

Полдень. Весна. Чувство победы: № 1, 2, две книжки журнала, останутся, не пропадут. У меня есть журнал, я приложил к нему руку, я его люблю, не хочу с ним расставаться. Меня обвиняют то в одном, то в другом, противоположном. Меня предают сотрудники и друзья — все это было уже, не ново, не интересно. ЦК ВЛКСМ хотел бы снять меня с поста, за Евтушенку. Евтушенко дал стихи, ясно было и ежу, что они не понравятся комсомолу. Надо было выбирать между Евтушенкой и комсомолом; я выбрал Евтушенку, полагая, что так-то лучше для журнала, для тиража.

В Лондоне жена Евтушенко сказала по Би-Би-Си, что ее мужа не понимают у него на родине. Ну, почему же не понимают? Иногда кажется, что Евтушенко сам не понимает, в чем его родина.

Некоторые строчки в стихах Евтушенко не вызывали сомнения в их непечатности. Однако проскочили. Тотчас начался задний ход. Первым спохватился комсомол; ответчик — главный редактор. Я выкручиваюсь, лавирую, дипломатничаю, играю в поддавки.

Одним нравится играть в шашки,
другим им в поддавки.
Одни стремятся пройти в дамки,
другие быть съеденными,
переваренными,
испражненными,
чтобы затем прорасти
зеленым ростком.

Мне не хотелось быть снятым с поста главного редактора, я маленько поверещал: «Я не держусь за пост. Я с удовольствием с него уйду».

Напечатал повесть Глеба Горбовского «Вокзал», тоже не очень печатную — не по политике, а по нижней точке отсчета, ниже дозволенного в смысле социальности. Хотелось, чтобы Горбовскому, поэту Божьей милостью, повезло как начинающему прозаику. Какие-то звезды сошлись на его небосводе — проскочило. То есть не звезды, а люди нашлись — неушибленные, в обкоме, в цензуре. Даже в обкоме бывають, даже в цензуре...

<...>

Получил письмо от Василия Белова. Он мне пишет: «Не думай, что жизнь без вина неинтересней, чем жизнь с вином». А я и не думаю, Вася.

<...>

Весна открыла окошко и для меня. Прошуршал по весне лыжами, широкими, «лесными». Я их просмолил, они хорошо шуршали по насту. Наст был плотен: вначале снег промочило дождями, до времени,

в самом начале марта, потом сковало утренниками. Леса, поля, реки укрыло настом; дороги помыло, высушило.

Я ехал в Лугу, постепенно втягивался в езду, автомобиль шел хорошо. Ехал не тихо, не скоро, иногда делал рывки, кого-нибудь обгонял. Дорога ранней весной серая, а поле белое. Вся Россия еще белая, серые на ней дороги.

В Луге со мною сел Боря Рошин, мы поехали куда-то еще, далеко. Сияют снега, проносятся мимо березы, ольхи, редко сосны. Сосны все спилены. И уснувшие вечным сном избы деревень: Радоли, Святгощи... Большое село Уторгаш. Кажется, в Уторгаше был народным судьей Витя Курочкин, потом написал повесть «Записки судьи Семена Бузыкина». Я вымарывал из нее непечатное, Курочкин сидел рядом со мною, взмахивал руками, как выпавший из гнезда галчонок крылышками, плакал. Разбитый инсультом, в последние годы жизни он не умел говорить, хотя до конца изрядно играл в шахматы.

Бабушка Елена Федоровна Федорова (ее зовут а деревне Ленькой). Деревня Осиновка под Холмом. У бабки Леньки пенсия двадцать рублей. Ноги ее скрючены ревматизмом. Нос уточкой, с востреньким клювом, и очень черные брови. Будто занесена сюда, в осиновый край, веточка южной породы, привита на местном корню. У бабки Леньки черные, близко друг к другу сидящие глаза. Хозяина у нее «ссек из пулемета, с воздуху немец. Тут Катюша была, он и ссек». Баба Ленька шустра, любопытна. Вот она спросила у Бори Рошина:

- А жена-то у тебя есть?
- Есть.
- Как зовут-то?
- А тебе зачем? Я скажу, ты забудешь.
- Я приду домой, запишу.
- Я зову ее киса.

Полдень восьмого марта. Тусклый денек. Сидим на лавке, греем спины о печь. Сидит Марк, как кирпич, не остывший после обжига, пышет. Глаза светлые с прожелтью, наглые. Марк весь овальный, округлый, движения его бабы. Он затоплял печку, стоя перед ней на коленях, по-бабы. Сели за стол, налитую ему водку перелил в наши сосуды.

Поздно вечером, когда я уже уснул в спальном мешке, меня разбудил заполошный крик Марка, обращенный к Боре:

— Ты для меня ничего не значишь. И Горышин ничего не значит. Я знаю, что я выше тебя как писатель и Горышина выше. Казаков — первый писатель, я — второй. Я изобрел свой метод фантастического соцреализма. Мне от вас нечего взять.

Я высунулся, покрыл Марка матом, но он не уgomонился. Утро вышло томное, как после семейной ссоры; все томились, отводили глаза.

Сели пить чай. После чая мы с Марком стали на лыжи (у Бори не было лыж). На взгорке я упал. Марк подал мне руку. Мы шуршали лыжами по насту, уходили друг от друга, но свернуть тут было некуда: у реки Куньи высокие, крутые берега. В одном месте лось прошел, в другом по мягкому снегу бежала куница (зато и река Кунья); след остался запечатленным.

13 мая 1979 года умерла моя мама. Моя мама. У меня теперь нет мамы. Что значат эти слова? Я еще не знаю. Когда она умирала, я дремал у костра в лесу, на еловой подстилке. Ночью я видел во сне мою собственную смерть: упал с высоты в воду, вода быстро несла меня. Хотелось достичь дна, но дна не было. Мама умерла, зовя меня. Я находился в пятистах километрах от нее, в лесу, в мужской компании. Ночью в лесу пели соловьи.

В утро похорон, возле морга на Карповке, то есть за Карповкой, в Ботаническом саду, пел соловей. Он пел точно так же, как во времена молодости моей мамы, вот тут на Карповке; в анатомичке — в морге — студенткой-медичкой, моя мама слышала соловья.

Я начал письмо о моей маме. Начал... Но я не знаю, можно ли кончить и чем... Повесил на стену портрет моей мамы. Его вышил гладью на лоскуте холста Виктор Прохорович Прохоров. Мама закончила в Питере пединститут (потом закончила медицинский), учительствовала у себя на родине, в Новгородской губернии. В соседней деревне учительствовал Виктор Прохорович. Может быть, он полюбил мою маму. У него оказалась ее студенческая фотография: красивая, серьезная, гладко причесанная девушка в строгой белой блузе. Когда Виктора Прохоровича арестовали, он взял мамину карточку с собой в лагерь, вышил с карточки мамин портрет. Когда его выпустили — в 58-м году, — он приехал к маме, подарил ей портрет, вышитый гладью на холсте, заключенный в рамку. Я помню, Виктор Прохорович ночевал у моих папы с мамой, ему постелили на полу. В квартире крепко пахло дегтем — от сапог Виктора Прохоровича. Последние годы он жил в Устюжне, выпустил одну книжку стихов. Портрет его работы висел над изголовьем маминой постели. Теперь он висит у меня на стене, мама глядит на меня, выражение ее глаз меняется, но всегда остается серьезным.

Я бы не мог прожить мою жизнь без мамы. Бывало, я умирал, но мама спасала меня. Господи, почему Ты не сподобил меня вдохнуть последнее тепло моей мамы? Или Ты не слышишь меня за мое безбожие? Приму Твою волю и кару, но яви милость, не отведи от меня материнского благословения.

<...>

В редакции мне доложили, что есть постановление ЦК переориентировать наш журнал для подростков. Я мельком подумал, что это все равно, как если бы постановили мне переориентироваться в канатоходца. Вообще у меня двойственное отношение к партийному предначертанию: я достиг какого-то предела в должности главного редактора, больше не хочу им быть, хватит, но я также знаю, что «Аврору» переделать в нечто другое нельзя, это будет предательством по отношению к ее молодым авторам, к литературе, которой хотелось послужить. Публикацией в журнале открывается новое имя в литературе, за каждым именем особенный мир. На то и журнал — открывать миры, из тысяч слов крупинцы правды, таланта, наставлять входящего в литературу на путь, внушать ему, как это серьезно, ответственно. И после стать костью поперек горла — правдой, талантом — директивным органам или еще кому-то... Что я скажу Володе Насушенко, немолодому, поздно увидевшему свой первый рассказ в журнале — с его печально-нежной, жестокой, как прожитая им жизнь, прозой? Как заметил один из его героев: «Пожить было некогда, то война, то пятилетка». Для подростков, кажется, пишет один Алексин. И кто такие подростки — от двенадцати до восемнадцати? Но двенадцать одно, восемнадцать совсем другое. И зачем резать по живому, губить содеянное? Столько всего зарезано, загублено...

<...>

Написал заявление об увольнении. Это, кажется, пятое заявление в моей жизни, я типичный летун. До сих пор мои заявления удовлетворялись. Впрочем, и мотивы ухода с работы были другие. Например: начальнику экспедиции такому-то. Прошу рассчитать меня с должности рабочего в связи с окончанием сезонных работ. В 57-м году в порыве безумного бесстрашия перед чем бы то ни было, владевшего многими после разоблачения культа личности, после решения бюро Алтайского крайкома ВЛКСМ по мне как «недостойному звания советского журналиста», я написал: «Прошу освободить меня от должности корреспондента газеты „Молодежь Алтая“ по Бийской группе районов и Горному Алтаю в связи с моральным и физическим разложением». Освободили... по мягкой статье КЗОТа, по собственному желанию. Тому была предыстория: получил задание организовать статью руководителя кружка в сети комсомольского просвещения. Нашел девушку в Бийском районе, учительницу русского языка и литературы, пропагандиста. Она мне пожаловалась: «Ребята приходят в кружок, говорят о том, что наболело, я провожу занятия в форме беседы, стараюсь объяснить, как могу. Приехал секретарь райкома, нашумел на меня: „Политзанятие есть политзанятие, вот программа, по ней и проводи“». Говорю девушке: «Я напишу то, что вы мне сказали. Пойдет за вашей подписью. Согласны?» Она: «Ну что же,

раз надо...» Напечатали заметку: «Политзанятие есть политзанятие», вольнодумную, в духе времени. Мне позвонили из редакции: молодец, то, что надо. Секретарь райкома, выведенный в заметке ретроградом, душителем духа времени, прочел, вызвал девушку: «Ты писала? да мы тебя...» Девушка испугалась: «Я не писала, ко мне приехал корреспондент, он и писал...» Секретарь райкома стукнул в крайком. Быстренько собрали бюро, вынесли по мне постановление. Надо сказать, я был прилежным собкором, в каждом номере что-нибудь шло из Бийской группы районов, из Горного Алтая. И так я разобиделся, написал совершенно дикое заявление: дух времени шумел у меня в голове, и я впервые вошел в прямой конфликт с системой, не знающей снисхождения. Бийские власти видеть меня не могли, даже не дали помещения под корпункт. Я снимал закуток за занавеской в семейном доме, в Заречье.

Уже после опубликования постановления крайкома ВЛКСМ по мне в «Молодежи Алтая» повстречал секретаря Бийского райкома комсомола. Он как-то дико на меня посмотрел, говорит: «Пойдем». Пошли. Пришли к нему в кабинет, он достал бутылку водки, мы сразу выпили по стакану, потом еще. Он принялся меня обнимать, не то душить, во всю силенку. Я тогда был крепкий парнишка, только и делал, что шастал по Алтайским горам. Я тоже приобнял комсомольского вожака, так, что хрустнули наши косточки. Пообнимались и разошлись, в общем, в недурном настроении. Все же хорошее тогда было время.

Да, так вот... теперь я написал: «Прошу меня освободить от должности главного редактора журнала „Аврора“ в связи с неспособностью переориентироваться для подростков, а также в связи с уходом на творческую работу». Заявление отправил в три адреса: секретариат Союза писателей, обком КПСС, ЦК ВЛКСМ. Пусть там решают, а я... остаюсь при исполнении обязанностей в подросточном журнале. Как-то жаль, что журнал останется без меня, хотя в этом, я знаю, есть самообольщение.

Посетил секретаря обкома З., занявшего кабинет А., тот выслужил свой срок в Смольном, переместился — до пенсии — на профсоюзную синекуру. З. был розов, его лицо лоснилось. Свет лампы отражался от лица, как отражается свет от никелированного чайника. З. почти ничего не сказал, а то, что он сказал, было необязательно, расплывчато, как взгляд его отроческих безгрешных глаз. Он был лысоватый, непроницаемый, непостижимый, походил на посаженную в кресло куклу, с нарумяненными щеками.

<...>

Володе Торопыгину вырезали легкое, ему не стало легче без легкого. Легкое, быть может, для легкости? Без легкого тяжело...

Зашел к Володе, привезенному из больницы, посмотрел ему в искадавшие глаза, обращенные ко всем с вопросом: за что? — и зарыдал. И он тоже горько заплакал. Мы с ним обнялись, рыдали на груди друг у друга, каждый о своем.

Привычный, исхоженный круг мыслей: застрелиться? нет револьвера. Из ружья? порох старый, вдруг потерял убойную силу? И ружье не перерегистрировано, как-то неудобно, все же законопослушный гражданин. Читал рассказ Белова «Чок-получок», о том же самом. Сочувствия во мне этот рассказ не вызвал. Позвонил наш парторг: надо выступить на партсобрании о Нечерноземье. Прислали анкету: что происходит с рассказом? Сел за ответ на анкету, но оторвался, прочел рассказ Бунина «Игнат», про пастуха, пробавляющегося скотоложством с борзой Стрелкой, и про его распутную жену Любку. Понял, что никаких анкет не надо, ибо таких рассказов, какие писал Бунин, нам никому не написать. С рассказом произошло то самое, что со всеми нами: мы стали как ручные кролики, боимся дядьки: дядька возьмет за уши и унесет на разделку.

Принимал эстонцев. Моя готовность распнуться в дружеских чувствах, нравственно обняться с любым не вызвала отклика в них. Эстонцы сидели надутые, как индюки. От водки еще более надувались.

После всего опять зашел к Володе. Мы выпили коньяку. Он рассказал: «Нас положили в реанимацию вдвоем с таким молодым парнишкой, ему тоже легкое вырезали. И, знаешь, нам так плохо, так плохо, и здесь плохо, и здесь, везде больно. Нам надоело кряхтеть, стонать, плакать. Мы не знаем, что делать, так плохо. Он мне и говорит: „Давай посмеемся“».

Последний вечер 1979 года. В этом году умерла моя мама. У меня отобрали тот мой журнал, в который я вкладывал себя, во всяком случае, тешил себя надеждой, что вкладываю. Смертельно болен мой друг... Вот бы отдать Володе Торопыгину в руки журнал для подростков, как бы он вальяжно переориентировался...

А я бы...

А я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна.

1980

Кончились семидесятые годы. Начались восьмидесятые. Все наши общегосударственные надежды и упования провалились. Мы порывались поладить с Америкой... Под Новый год ввели войска в Афганистан — теперь против нас Америка и Китай. Худые наши дела на Востоке, на Ближнем Востоке, в Азии, Африке; Европа перевооружается

против нас крылатыми ракетами. Наше правительство, старое, маразматическое, стало старше еще на год. Сооружается новый железный занавес, опять сталинизм...

Сам я тоже постарел в этот последний год семидесятых. Критическая масса предъявленных мне обвинений, в том числе и самим собой, перевешивает мои наличные средства самозащиты.

Сидел у Володи, он мне говорил: «Ты знаешь, у меня не стало воли. Мне говорят: „Мы вас будем лечить, мы вас отвезем в Свердловку, мы вас поместим на Березовую аллею...“ А мне все равно, куда меня повезут, или совсем не повезут никуда. Еще бы и лучше». Пришла сестра, сделала Володе укол, Володя пришел к столу обезболенный, сказал: «Я видел всех и елку видел, но я вас всех видел сквозь боль. У меня болели ноги, спина, и я вас видел, но находился в боли. Она была у меня, и я вас видел, но вроде бы и не видел. Теперь, после укольчика, я вас вижу, мне стало легко. Так будет до трех часов, а потом все начнется опять».

Я сказал Володе: «Все наши распри с Западом, все эти заварухи, вся борьба не имеют под собой никакого основания. Ни одна страна не хочет, чтобы в ней был социализм. Социализму в западном мире сочувствует, может быть, один человек, это — Джордж Хочкинсон, бывший мэр города Ковентри; ему почти девяносто лет, он мой автор, я его буду печатать в четвертом ленинском номере». Володя Торопыгин сказал: «Еще Володя Тотельбойм, из Чили». Если бы Торопыгин был в силе, он бы мне возразил с позиции силы. В нем истощилась сила бороться, даже за социализм.

В Володе прорезался тот человек, каким он мог быть, когда бы не оброс кабинетным жиром. Бывало, помню, пойдем из редакции в ресторан «Волхов», всего-то два квартала, он скажет: «Давай возьмем машинку». Впустую было ему возражать, он привык сидеть, заседать. Теперь в нем проступило что-то юношеское; его плоть для чего-то вспомнила о своем юношеском обличье... перед тем, как умереть. Ноги и руки утоньшились... А глаза его спрашивали об одном: что со мною случилось? Глаза метались, и появилась в них желтизна. Кожа приобрела оттенок вошины.

Володя мне говорил: «Я так страдаю, так мучаюсь. За что? За что?» И так еще близок был другой Володя, с которым можно было шутить; на его лице установилось выражение между улыбкой и плачем. Я не знал, что можно, улыбаться или плакать. И Володя тоже не знал. Нельзя было говорить о Володиной жизни и нельзя говорить о Володиной смерти; все другое утратило смысл. Стоило замолчать, и мы стремительно, необратимо отъединялись друг от друга. «Наше поколение слабее, — говорил Володя, — чем Мишки Дудина поколение. Я вижу две рощи: одна, старшая роща, вырублена, прорежена, но со-

хранилась, крепко стоит. А рядом другая, младшая роща. И она хотя не прорублена, но слабее старшей. Она так и не окрепла».

При взгляде на Володю я выдавал себя, пугался. Володя перехватывал мой взгляд: «Что ты так смотришь? я так изменился?» Вошла жена Володи Майя, ласково нам улыбнулась. Я так был ей благодарен за улыбку. Улыбка может цвести даже рядом со смертью; ужас смерти скрашивают цветы...

<...>

Умиравшего Володю Торопыгина отвезли в больницу, для чего-то заключили в гипс. Был у него в палате, пожал ему руку, может быть, в последний раз. Уйдя из больницы, чувствовал с особенной остротой присутствие жизни в себе.

Из Афганистана привезли 2000 гробов. За что убиты эти мальчики? Они погибли, «выполняя интернациональный долг». Кто отдаст долг их матерям?

Антон Григорьевич Афанасьев прислал мне с Алтая, из Карамышева, полушубок. Впервые мне стало тепло на морозе.

<...>

Вчера вел литобъединение в «Авроре», студию рассказа. Читал В., новенький, не обкатавшийся в лито, с каким-то дефектом в глазу, с высоким лбом, мягкими белесыми волосами, кандидат математических наук. С математической скрупулезностью он вычислял в своем сочинении психологические мотивировки поступков подопытных экземпляров: папа, дочка, любовник дочки. В. делал срезы в исследуемых им экспонатах, не проявляя при этом эмоций, возможно, и не имея их. Сочинение В. — не акт творчества, а решение уравнения, определение неизвестных, с единственным ответом, без вариантов. Ну что же, дадим дорогу в литературу и математику. Гранин тоже пишет по правилам математики и ни разу пока что не ошибся.

После обсуждения, приватно, я посоветовал В.: «Не обижайтесь на меня, не считите меня циником, мой вам добрый совет — перемените вашу еврейскую фамилию на какую-нибудь простую, вам будет легче печататься». В. поблагодарил, так и сделал. (Забегая на четырнадцать лет вперед, скажу, что нынче В. печатается в элитарном журнале, в первом ряду. Может быть, он бы и вернулся к своей родовой фамилии, но уже нельзя: замечен, занесен.)

Вел переговоры с Ч. о моем увольнении из журнала. Ч. сказал, глядя на меня, как на несмышлениша, с некоторым даже сочувственным любопытством: «Тебя не отпустят. Из журнала добровольно никто не ушел».

<...>

Володю привезли из Песочного, из ракового корпуса, домой, несли из машины на руках, он стал легкий. В последний вечер лежал но-

сом в подушку. Его череп выголился, как яйцо. Я сидел у его постели, он знал, что я сижу, иногда приподнимал голову, делился последними мыслями-призраками:

— Ты знаешь, меня вызывают в Цека... Мне предлагают стать королем Испании...

И чуть погодя:

— Мне предлагают взять «Юность». Как ты думаешь, взять?

Когда Володя затих, я ушел. Утром позвонила Майя, сказала, что Володи больше нет. Я приехал, мы вызвали похоронщиков. Явились два тяжело похмельные мужика, потребовали четвертак и две простыни. На одну положили Володю, другой укрыли, углы связали. На носилках вынесли во двор. На дворе было лето. Мальчишки гоняли мяч, малявки рылись в песочке, бабушки судачили на скамейке, пронесли покойника. Как на картине Босха, каждый занят был своим делом. Володю донесли до фургона. В открытую заднюю дверь были видны сложенные там, завернутые в простыни жмурики. К ним присоединили Володю. Дверь задраили.

Так закончился последний путь поэта, общественного деятеля, доброго семьянина Владимира Торопыгина. О, как любил Володя сидеть в президиуме, в свежей сорочке с манжетами и запонками, в красивом галстуке, выходить к микрофону, читать стихи нараспев, плавно поводить руками, слушать аплодисменты, откликаться на зов зала, снова читать...

Смерть — обыденное, простое, грубое, некрасивое дело. Похороны для живых — по чину, а мертвому все равно.

<...>

Приходили ответсекретарь и зав. публицистикой, спрашивали у меня, какой должен быть журнал для подростков — военно-патриотический? Но разве литература чурается патриотизма, войны? Я могу работать в литературном журнале, больше ни в каком.

<...>

Летом 79-го года меня включили в делегацию писателей на пятидесятилетие Василия Шукшина, на его родину в Сростки. Алтайский крайком затребовал список, алтайский Шурик меня вычеркнул. Я уж собрался ехать, вдруг звонок из Москвы: «Ах, Глеб Александрович, извините, такая неожиданность, Алтайский крайком...» Что было делать? Проглотить? подчиниться? предать нашу дружбу с Макарычем?... Ну, нет, вы так, а я так... Засунул в рюкзак палатку, спальный мешок, примчался в аэропорт: срочно, на пятидесятилетие Шукшина... «На Барнаул мест нет, можем отправить в Новосибирск». В Новосибирске последний самолет на Бийск уже вырулил на взлет. Следующий завтра, не успеваю. Я к начальнику полетов: «К Василию Макаровичу в Сростки, опаздываю...» Начальник полетов: «Бежим,

еще, может, успеем». Бежим, успеваем. В Бийске вечером, транспорта нет. Последний таксист намылился ехать домой. «В Сростки к Шукшину свезешь?» — «Да нет, поздно, обратно пустой пробег». — «Сделай милость, я из Ленинграда писатель, на пятидесятилетие к Макарычу прилетел». — «А ты что, его знал?» — «Знал». — «Ну, садись».

На горе Пикет, по ту сторону, на склоне к Катуню, поставил палатку. Рано утром взойшел на вершину... Вскоре вокруг меня образовалось отдельное от официальной части братство тех, кто знал Макарыча, не мог сюда не явиться: кинооператор, снявший «Печки-лавочки» и «Калину красную» Толя Заболоцкий, корреспондент алтайского радио Юра Косов, влюбленный в Шукшина бийский журналист Саня Лукиных... С трибуны говорили речи те, кого допустили; у нас весь день до вечера шел свой разговор; душа стала на место: помянули Макарыча.

Тысячи русских людей на горе над Катунью в ярко-солнечный, синий, расцвеченный день, в день рождения Шукшина жили общим биением сердца, смотрели в глаза друг другу, как братья и сестры... А где-то в сторонке, скрестив босые ноги, по-крестьянски намахавшись косой, куря, шурясь на солнце, сидел такой, как все, местный мужик, великий русский художник Василий Шукшин, смотрел на Катунь, на красивые горы, что-то видел такое... хотел открыть и наши глаза... Но не успел, срезанный чьей-то вражьей косой, как заведено от века на Руси...

1981

Первый секретарь Дзержинского райкома КПСС Ленинграда Галина Ивановна Баринова, женщина высокая, строго одетая, с депутатским значком, распространяющая вокруг себя не только партийную информацию, но и... женскую... То есть Галина Ивановна общается о себе: да, я первый человек в районе, но я и женщина. Вот я...

Она пришла к нам в редакцию, потому что редактором я; я это знаю, и она знает, что я знаю. Она приняла меня в партию, поставила на путь, ответственна за меня. Галина Ивановна демократична, человечна и непосредственна. Начала с того, что спросила, где могила Торопыгина. Как будто не участвовала в партийной кампании по истреблению Торопыгина...

Партийная дама № 1 поделилась с нами впечатлениями о съезде КПСС. Ей понравились выступления Гэса Холла и генсека компартии Израйля Вильнера. Вильнер говорил на чистом русском языке. И еще говорил по-русски Цеденбал (а умеет ли не по-русски?). Сидевший рядом с Галиной Ивановной рабочий Ершов умилялся: «Как трудно им жить и бороться (в Америке, Израиле): они за нас, а их правитель-

ства против нас». Подумала ли при этом партийная богиня, что у нас за выступление против правительства, даже не против, а просто за человеческое достоинство, сажают в тюрьму на семь лет или высылают за пределы отечества?..

Галина Ивановна сказала, что, по ее мнению, антикварные интерьеры во вверенном ей, некогда аристократическом районе Петербурга (ныне чекистском — Дзержинском — районе Ленинграда) следует разрушать, превращать просто в жилье, а каминь, медные набалдашники, лепнину и пр. сдавать в музеи. Новым поселенцам это не нужно. Галине Ивановне не пришло в голову, что петербургские каминь, лепнина, росписи, позолота — единственные, имеют цену только в тех интерьерах, для коих создавались. И надо бы эти особняки с их интерьерами беречь как зеницу ока, ибо ничего подобного им наше государство не создаст; наш город без них станет пещерным городом.

Галина Ивановна сообщила нам и свои переживания литературного свойства: ей довелось побывать согласно культурной программе для делегатов съезда, в сообществе с другими делегатами, на поэтическом вечере; ее потряс, убил наповал Евтушенко. Он прочитал стихотворение «Анонимщикам». «И, представьте себе, от строки из доклада Леонида Ильича, где он говорит о том, что мы отрицаем анонимные письма, от обычной своей фельетонности он выходит на политику, он говорит, что анонимно стреляют в президентов, убивают в Чили... А вот, взяв рейхстаг, расписывались на нем... Представляете, какая перекидка?! Ну, и читал он замечательно! Я просто была потрясена. Потом подошла к нему, попросила дать мне это стихотворение. Он говорит, что у него всего один экземпляр, накануне написано, от руки...»

Вот какие у нас впечатлительные партийные богини!

1982

Год минул. Я еще что-нибудь скажу об этом минувшем годе, не все, но скажу. Мне плохо. Так принято было у нас говорить друг другу, когда мы были молодые начинающие писатели (кончающих писателей не бывает), когда нам не было тридцати, а потом сорока. Тогда мы не знали, что значит плохо, и сейчас не знаем. Мы это узнаем, когда придет наше время — узнать.

С «Авророй» я распростился 15 марта, такова же и дата моего рождения. Может быть, я второй раз родился. Унес из журнала не много и не мало, всего-то пару ног. Вот Бог, а вот порог. Виктор Голявкин мне помог...

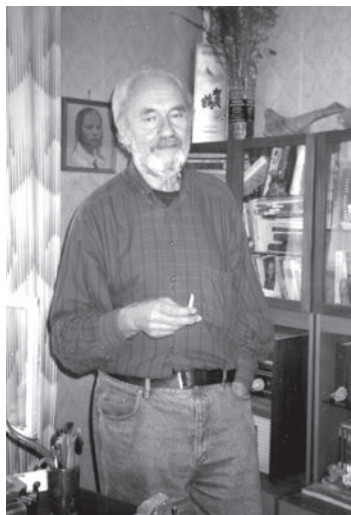
В № 12 1981 года я напечатал рассказ Голявкина «Юбилейная речь». Вообще-то рассказец косноязычный, с начинкой бесчеловечного абсурда. Его можно назвать юмореской, арабеской, фреской,

если продолжить в рифму, то и гротеской. Но гротеск мужского рода. Как-то так вышло, что в своей юмореске Голявкин затронул струну, дрожащую в общественной атмосфере, обнажил свербящий нерв времени. Может быть, и не заметил бы этой струны, этого нерва, если бы «Юбилейная речь» не угодила в брежневский номер: «верному ленинцу» как раз сравнялось 75 лет, пришел с «тассовкой» портрет вождя на вторую страницу обложки. Рассказ Голявкина уже стоял (лежал) в макете, хорошо вылежавшийся в отделе и на столе ответственного секретаря. «Юбилейная речь» вылежалась и в анналах у автора, и сам Голявкин оказался в литературных анналах: с ним случился инсульт, его разбило параличом И, Господи! сколько я слышал тому объяснений: Голявкин лишку выпивал, у него перебитый в боксерах нос, он лишился нюха, потреблял всякую пищу, не обоняя запаха. Но сколько выпивохи — не нам с вами чета — являют отменный пример долгожительства, сколько обжоры здравствуют бестревожно! И какая фатальная тайна, какой смертельный риск сокрыты в таланте, кинутым в волны или в мертвую зыбь современности!

Ответственный секретарь журнала «Аврора» — не потратившая себя на пополнение человеческого рода, полная сил и устремлений, готовая переориентироваться на подростка Магда — предостерегала: «А можно ли „Юбилейную речь“ в юбилейном брежневском номере?» Я сказал: «Пусть идет». Магда что-то прикинула в своем неженском, непраздномысленном уме. «Да? Ты думаешь? Ну, смотри...»

Если бы я был пронизательным, дальновидным, как Магда... Если бы держался за должность, как держатся за любую жену... Если бы да кабы, во рту выросли грибы, и был бы не рот, а целый огород. Но почему же грибы растут в огороде? В огороде бузина, а в Киеве дядька. Но как хулиганская «Юбилейная речь» угодила на 75-ю страницу в номере, посвященном 75-летию Леонида Ильича Брежнева? Может быть, кто-нибудь знает? когда-нибудь вспомнит? Едва ли...

№ 12 с портретом Брежнева и рассказом Голявкина прошел без сучка и задоринки обком, цензуру, вышел в свет... Кто первый заметил, вычислил? кому приспичило сопоставлять номер страницы и возраст вождя? Стали раздаваться в редакции звоночки: «А у вас на 75-й странице...» Подыскали метафору, убийственную наповал: «Вто-



Глеб Горышин, лето 1996 г.

рой залп „Авроры“. По «Голосу Америки» просидевшая со мною пять лет в отделе прозы, хорошо осведомленная (жена критика-осведомителя) Елена Клепикова нам объяснила: это инсинуация КГБ: надо свалить Брежнева, посадить на его место Романова. И она, хорошо осведомленная, присовокупила: редактор «Авроры» Горышин морально неустойчивый, пьяница и бабник. И его предшественник Торопыгин был такой же.

Рассказ Голявкина «Юбилейная речь» как нельзя ко времени пал на возделанную почву, выразил общее настроение, горячее пожелание масс. «Трудно представить себе, что этот чудесный писатель жив. Не верится, что он ходит по улицам вместе с нами. Кажется, будто он умер. Ведь он написал столько книг! Любой человек, написав столько книг, давно бы лежал в могиле...»

Обком помалкивал дольше всех. Наконец нас с Магдой вызвали в отдел агитации и пропаганды. Заведующий агитпропом Коржов кисло, вяло, как-то для порядка сказал, что «обком партии расценивает это как политическую диверсию». Обвинение — на высшую меру, но почему-то никто не вздрогнул, не побледнел, не нахмурился. Если бы такое при Сталине?! Но у руля был Брежнев... Мера пресечения могла бы показаться слишком мягкой в сравнении с обвинительной формулировкой... Но члены учрежденной для разбора дела комиссии только поджали губы, как будто даже внутренне похихикали, все загодя зная. Редактора освободили «согласно поданному заявлению», ответственного секретаря «по собственному желанию». Съевший всех собак наш народ ждал другого финала.

Сразу по возвращении меня из Смольного позвонила теща: «Где Глеб?» Моя жена ответила матери: «Сидит в кабинете, работает». Теща переспросила: «Сидит? сколько дали?»

Народ обманулся в своих ожиданиях. Может быть, и правда Романов был рад случаю подсадить Брежнева?

Я снова сделался никем, сижу и пью шато-икем. Созвучья, как частые сучья. И снова весна куролесит; поднявшись на некий этаж, я словно взлетел в поднебесье и мне по душе эпатаж.

Юра Казаков был как раньше, в тех же подтяжках, в купленных в пору европейской славы высоких ботинках, в твидовом пиджаке из той же поры, выношенном, обтерханном. После второй рюмки на его носу, запечатлевшем в конструкции и фактуре нечто шляхетское — порою — и нечто плебейское — повадливость, — налились капли пота. Юра ослабел, как осенний кузнечик (это сравнение беру напрокат у Н. С. Лескова). Причмокивала его нижняя губа, выставленная поперед верхней. Юра, прежде куливший «Уинстон» и «Честерфильд», теперь смолит «беломорину». Но жил он в своем лучшем времени, вспоминал:

— Ты помнишь, раньше здесь подавали вырезку с кровью, форелей, зажаренных в сметане. А теперь положение в стране хуже, чем перед войной в 41-м году..

Казаков раздражался, брюзжал, говорил, что в Ленинграде нет писателей, что это затхлый провинциальный, вонючий город...

— Был Конецкий и был ты и больше никого. Но и вы тоже скурвились. Ты весь погруженный во что-то свое, петербургское, весь замкнутый, отчужденный. Я хотел поговорить с тобой по-человечески, а ты...

А я... как хитро все обделал, пошел на крайность — и вышел сухим из воды. И от дедки ушел, и от бабки ушел, и от партийной организации...

— Ты не думай, — сказал Юра Казаков, — что ты Голявкина напечатал, и тебя так легко отпустят. Тебя приберут к рукам, ты теперь — номенклатура.

Я еще ничего не знал про себя. Я только что освободился.

Шел по Невскому, думал о себе юном, как я гулял здесь когда-то, переполненный предстоящей жизнью, ничего не зная о ней. Вот бы нам повстречаться, я бы сказал: «Мой мальчик, это я. Посмотри, во мне твоя жизнь». Мальчик посмотрел бы и вдруг ужаснулся. Ну, ничего, ничего, еще не вечер. Хотя и не утро, не полдень. Прожитые годы написали на моем — твоём, мой мальчик, — лице передрыги судьбы. Интересно, что написано на роду? «Ты подумал, мой мальчик, почему мама назвала тебя Глебом?»

Имя Глеб стало широко ведомо на Руси с тех пор, как, обливаясь горячими слезами по непрожитой возлюбленной жизни, принял безвинную смерть от злодея муромский князь Глеб, сын киевского князя Владимира Святославовича — крестителя Руси. Та же участь постигла единоутробного старшего брата Глеба Бориса. Борис и Глеб ушли из жизни безропотно, аки агнцы...

Православная церковь первыми возвела великомучеников Бориса и Глеба в сан святых — за их божественную безгрешность, ангельскую кротость, за преданность жизни-любви, жизни-братству.

Моя мама нарекла меня — тебя, мой мальчик! — Глебом не в потемках, а на духовном свету, дошедшем до нас неугасшим. Маме хотелось вырастить сына любящим тех, кто дал ему жизнь, кротким. Кротостью и любовью дышит из глубины веков «Сказание о Борисе и Глебе»...

Я думаю, папа не стал спорить с мамой об имени сына. Он был сговорчивый, покладистый муж, хотя в отдельные моменты грозный, но тоже кроткой души человек.

Фотографии Анатолия Пантелеева

ПАМЯТЬ



Петербургские школьники о блокаде Ленинграда

Блокадная ласточка

Эльмир Керимов

*ГБОУ гимназия 406, 2 «б» класс, г. Пушкин
кл. руководитель: Сишванова Е. Н.*

Я еще маленький и не много знаю об этой войне, о страшной прошедшей войне. Нам недавно рассказывали о героях блокадного Ленинграда. Как бы я хотел помочь в то далекое и страшное время. Я подумал как хорошо бы было послать мой сотовый телефон в прошлое. Тогда бы моим ровесникам не было бы так страшно и одиноко в блокадное время. Они бы не пропали без вести. Они бы сообщили друг другу свое место положения с помощью моего сотового телефона. И не пропали бы люди в этой войне.

Сквасникова Екатерина

*ГБОУ гимназия 406, 11«а» класс, г. Пушкин
учитель: Абрамова И. В.*

Подвиг любви

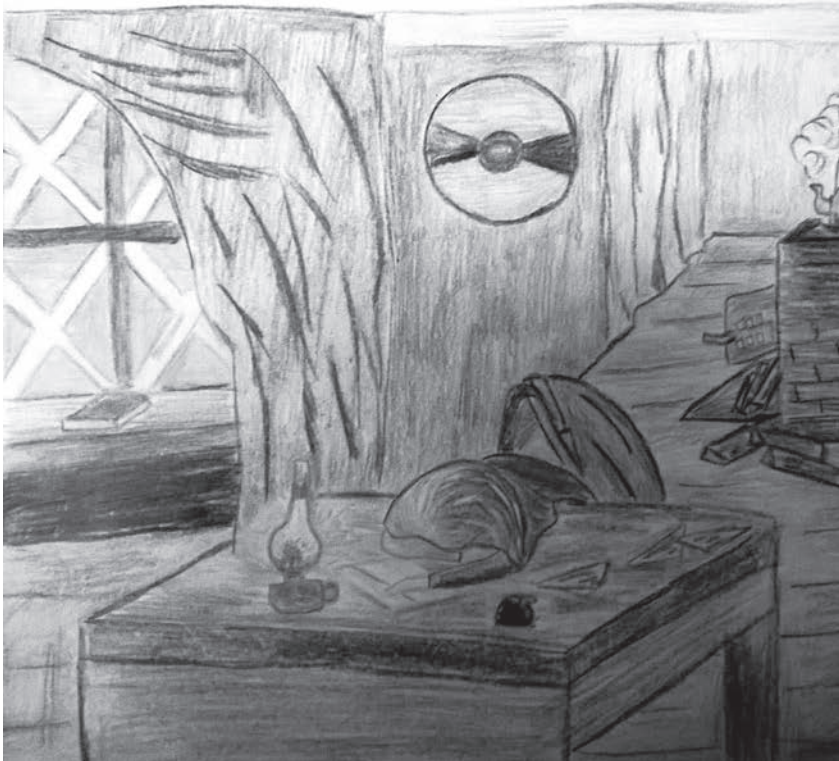
Было время, когда птицы не летали
Над величественным городом моим.
Каждый день враги бомбили и стреляли,
Навсегда расправиться пытаюсь с ним.

Ленинград, как в клетке раненая птица,
Бился в оккупации три года.
Верю я, что никогда не повторится
Незабвенный подвиг русского народа.

Сколько горечи в слове «война»,
Сколько крови, и боли, и слез.
Все ли может убить она?
Вот ответ на этот вопрос.

Блокада.

Я думаю, что даже хорошо,
Что после войны стало всё не надо.
От памяти военной ты ушёл,
Покинув Ленинградскую блокаду.
Взвизгиваешь франкистским оружейником Ленинград
Спасаясь от, работая от, трудясь,
Ушёл на фронт повоевать солдат:
Он был твоим отцом - не воротился.
Сейчас ты паникуешь, а тогда задыхался
О городе, о маме, что был в Блокаде,
И ронял удочкой в Обводном ты ловил,
Чтоб выжить в маме, военном Ленинграде.



Элькинд Полина

ГБОУ гимназия № 397, 3«в» класс

учитель: Базлова А. Б.

Два вечера

Когда мама и папа еще не пришли с работы, мы с бабушкой Лялей остаёмся вдвоём, я её всегда расспрашиваю про блокадный Ленинград.

И вот в один из таких вечеров я её спросила:

— Бабушка, а что вы делали вечером в блокаду?

— А что мне оставалось делать? Лежали на маленькой кровати все вместе с моей мамой и старшей сестрой, чтобы не было холодно и голодали. Мы до того были голодны, что я, услышав, как мышка за буфетом грызет корочку хлеба, попросила маму отодвинуть буфет и отобрать у мышки эту корочку. Мама, конечно же, не смогла ни отодвинуть буфет, ни отобрать хлеб.

А когда изредка приходил с фронта папа, он всегда приносил нам свой военный паек, и мы были очень рады.

Мы даже отпраздновали Новый 1942 год. Мы с моим другом пошли за елкой. Елки мы, конечно же, не нашли, и просто к полюну прибили гвозди, и на них повесили разные игрушки. А из угощения были только хлеб и горячая вода.

И вот я, сидя в большом теплом доме, в уютном кресле, всей душой захотела принести блокадным детям вкусной еды, веселых игрушек, утешить мою маленькую бабушку Лялю, сказать ей о том, что эта страшная война закончится победой и будет прекрасная мирная жизнь!

Тимошенко Дмитрий

ГБОУ гимназия № 406, 3«б» класс, г. Пушкин

учитель: Селиванова Е. С.

Живу в Петербурге, пишу в Ленинград

В далекие годы войны.

Я знаю, что будет все хорошо,

Что победите вы.

Враг окружил вас плотным кольцом,

Но вы его не боитесь

И сможете город свой отстоять,

Вы врагу не сдадитесь!

С быстрою ласточкой шлю вам письмо,

Чтоб сказать большое спасибо!
Я очень люблю город наш на Неве,
Он всегда очень красивый.

Арсений Кучма

ГБОУ СОШ № 9, 5 «а» класс

учитель: Вильцина С. А.

Я жив, мой друг, и мама, и сестренка,
Мы держимся, пока хватает сил,
Вот только не смеемся больше звонко
Над шутками, которые любил.

Как ты? Как твоя мама? Как бабуля?
Все живы? Им передавай привет!
Соседа нашего догнала злая пуля,
Нам страшно, что известий с фронта нет...

А помнишь, друг, мороженое летом?
И жаркий день, и игры у воды,
Стрельбу из деревянных пистолетов,
Ни голода, ни горя, ни беды?

Я верю: мы дождемся это время,
Оно вернется к нам издалека...
Нет сил еще писать — в глазах темнеет,
Слабеет изможденная рука.

Хлюпин Даниил

ГБОУ СОШ № 89, 7 «г» класс

21 век. Россия. Петербург.
Я живу, учусь, играю.
Я встречаюсь, я влюбляюсь, я дружу,
Поскорее вырасти мечтаю.

Слушая рассказы о войне,
Представляю бой и танк, как в книжке.
Только этой ночью мне
Вдруг приснился сверстник мой, мальчишка.

Я с ним вошел в блокадный Ленинград,
Сирены выли, пушки грохотали. Казалось,
Здесь нет жизни, только ад... А мы вдвоем
Снаряды подавали...

Я вдруг проснулся...
Мир, весна, победа!
Теперь я знаю, в том военном сне
Увидел дедушку я своего, тогда еще мальчишку

Яковлев Денис
ГБОУ СОШ № 189 «Шанс»
Учитель: Кузнецова Ю. В.

Случайная встреча

Как-то раз пошел я на мотокружок. По привычке рано выходить из дома я оказался в нужном месте за час до занятий. Дверь закрыта. Что делать?

Кружок этот в бывшем городском Дворце пионеров, ныне Дворце творчества юных. А там, за главным корпусом, есть небольшой сад, куда я и направился. Чтобы скоротать время, я стал «наворачивать круги» по залитым солнцем аллеям. А по одной никак не пройти — там старушка какая-то голубей кормит. Птиц около нее тьма. С рук у нее едят. Разговаривает она с ними, благодарит за что-то... Только я не понял, за что. Странная какая-то старушка... И одета странно. Платок какой-то драный на голове у нее. На ногах носки шерстяные и туфли стоптанные, а в носки «треники» синие заправлены. Пальто потертое, от солнца выгоревшее, явно большего размера, чем нужно. Я остановился, хотел назад повернуть. А старушка на меня смотрит и говорит:

— Мальчик, можно я тебе стихи почитаю?

И, не дожидаясь ответа, принялась читать. И читает и читает, читает и читает... Ну, думаю, попал... А уйти-то не удобно! А она что-то про Ленинград, про блокаду, что есть очень хотелось, что один сухарь на весь день, что мама обои варила, а потом у них у всех животы болели, и мама ее книжки в буржуйке жгла и плакала, и что письма с фронта ждали, а его все не было, а что им значок с ласточкой какой-то раненый сделал, а потом и письмо пришло, что вот она теперь и птиц-то в память о том письме и об отце кормит. А потом о том, что госпиталь на Суворовском разбомбили...

— Какой госпиталь на Суворовском? — спрашиваю я.

— Да вот, около Смольного-то. Знаешь?

Еще бы я не знал! Я на него каждый день смотрю!

— Так мы с мамой жили там во время блокады, — продолжает она. — Мама санитаркой была. А вот садик-то знаешь между домами? У нас там огород был. Только поесть мы с него ничего не успели, бомба в него попала. Ямища такая огромная была! А уж в сам-то госпиталь когда попало, что было! Пожар там начался, так раненные из окон выпрыгивали, чтобы не сгореть. Горящие матрасы санитарки из окон выкидывали... Ох, и страху мы тогда натерпелись!

Стою я, слушаю ее, а сам не знаю, что делать. Мне и послушать хочется, и на кружок уже бежать надо... А старушка будто мои мысли прочитала:

— Ты прости меня, мальчик, — говорит. — Иди по своим делам, заболтала я тебя совсем. Иди, иди...

Пошел я на свой мотокружок, откатался. А по пути домой прошел мимо того дома, о котором старушка говорила. Там памятная доска, а на ней слова выбиты: «Светлой памяти раненных, больных и медицинского персонала эвакогоспиталя, трагически погибших в этом здании 3 сентября 1941 года во время налета вражеской авиации».

Клементьев Илья

ГБОУ СОШ № 186, 8 «а» класс

Учитель: Величко Т. Н.

Буду жить за тебя!

Поднимаю глаза, вижу синее небо, сотни ласточек...

Закрываю, и чудится... взрыв, запах дыма, война,

Страх, отчаянье, боль —

Нет, здесь я не был.

Здесь был ты — друг далекий, блокадный,

В секунду взрослевший мальчишка,

Что глядишь на меня

С киноплёнки, картины или книжки.

То, о чем ты мечтал,

Прижимая к груди пайку хлеба,

Станет клятвой моей,

Песней синего мирного неба!

Буду жить за тебя,

И за стойких, отважных девчонок,

Не успевших наесться конфет,
Не дождавшихся детских пеленок...

Открываю глаза... Реет флаг — триколор
На просторе свободного неба!
Я несу караул! Миру — мир! Нет войне!
Да всем ласточкам! Жаль, ты здесь не был...

Лысенко Диана

ГОО гимназия № 397, 10 «а» класс

Учитель: Денисова Т. А.

Никто не хотел умирать...

Мне, девочке XXI века, трудно даже представить силу духа русского солдата... Мне захотелось написать письмо Солдату 1941 года...

Здравствуй, дорогой боец Красной Армии! Как зовут тебя: Юра, Алеша, Миша? Впрочем, так ли уж это важно. Важно, чтобы ты знал, что мы помним о тебе и подвиге твоём. Помним, как, сжав зубы, вставал ты в рукопашную на границе, как шел на таран в небе под Смоленском, как вызывал огонь на себя...

Что же стало с тобой, Солдат 41-го года?.. Может, в страшные первые дни войны, разорванный в клочья снарядом, прикрыл ты собой ту землю, по которой иду я... Ты не хотел умирать, Но честь Родины для тебя дороже собственной жизни. И каждой весной ты всходишь красными маками на скорбных полях.

А может, дошел до рейхстага и, опираясь на свой автомат, плакал, не стесняясь слез...

Так хочется, чтобы дошел...

Дорогой мой солдат! Ты прости меня, если я по безымянной могиле иду, если тревожу твой прах! Я обещаю ступать по земле осторожней.

Разгоняева Екатерина

ГБОУ СОШ № 138, 10 «а» класс

учитель: Потанова О. В.

Ожидание

Тихо... Так тихо, что хочется кричать от невыносимой, давящей боли в висках. Только метроном нарушает безмолвие своим мер-

ным стуком, словно лезвие качается у самого горла. И кто знает, переживет ли и он его следующий удар...

Раз...

Измерять часы своей жизни в ударах метронома уже стало привычкой. Пугающей, сводящей с ума, но необходимой, как воздух.

Два...

Этот город медленно умирает. Каждый день костлявые пальцы смерти все крепче сдавливают его шею. До хруста, до хрипоты.

Три...

Каждую ночь в темное небо вздымаются лучи сотен прожекторов, разрезая его на кривоватые лоскуты. До вот только небу не больно. В отличие от людей.

Четыре...

В городе так холодно, что стены домов трещат. Холод безжалостен, но и милосерден, ведь умереть от холода не страшнее, чем уснуть.

Пять...

А небо продолжает рыдать своими смертоносными слезами, по-своему оплакивая и продолжая убивать этот бьющийся в агонии город.

Шесть...

Мысли в людских головах стали вращаться вокруг одной оси — голод. Он поглощает, сокрушает, рокошующий вдали, подобно раскатам грома. Отравленный цветок дурмана, пожирающий разум.



Семь...

Этот город стал похож на огромное кладбище.

Восемь...

Восемь ударов — это одна минута, восемь ударов — это целая вечность. Вечность в ожидании маленькой ласточки с письмом в клюве, безмолвно застывшей в полете на жестяном значке.

Захарова Екатерина

ГБОУ гимназия № 446, 10 «а» класс

учитель: Сизова С. Ю.

Всех ребятишек, в том числе и тебя, хотят увезти прочь из этого ада. Тебе осталось лишь собрать вещи, которые, конечно, у тебя остались.

Тебе всего пять, а ты уже совсем взрослый. Сидеть в грузовике, греть замерзшие пальцы в старых потрепанных рукавицах и видеть уставшие улыбки, таких же, как ты, детей, у которых глаза искрятся надеждой. Верить в будущее, радостно строить воздушные замки и повторять заветные слова: Дорога Жизни.

Вдруг ты чувствуешь резкий толчок, слышишь крики, видишь напуганные глаза. И тут ты, вместе с остальными ребятишками, съезжаешь под проломившийся лед в черную воду, не успевая понять, что произошло. Чувствуешь, как немеют руки, и от этого не спасают старые рукавицы. Не хватает в легких воздуха. Мысли замедляют ход и замирают. И твое сердце навсегда замирает вместе с ними...

Нефёдова Екатерина

ГОО гимназия № 397, 10 «а» класс

Учитель: Денисова Т. А.

На Пискаревском кладбище...

На Пискаревке днем и ночью

Стоит у дорогих могил

Седая женщина, которую

Двадцатый век печалью наградил.

В ее чертах — черты России,

Как символ матерей страны...

Под Ленинградским небом синим

Ее глаза тоской полны.

Отца, мать, мужа схоронила,
Дочь, сына не смогла сберечь,
Они лежат здесь!

Их могилы
Судьбой ей суждено стеречь!

Ее сменить никто не в силах, —
Склонившись низко, до земли,
Пред нею, Матерью России,
Мы на колени встать должны!

Говядко Катя

*ГБОУ гимназия № 406, 2 «в» класс
учитель: Селиванова Е. С.*

Здравствуйте, дорогие дети Блокады!

Пишу вам из далекого 2013 года. Через три месяца, в январе 2013 года, будет 70-летняя годовщина снятия фашистской блокады. У нас, детей XXI века, много книг и фильмов о блокаде Ленинграда. Из них мы знаем о тех ужасах, которые вы пережили, о вашем подвиге. Трудно представить, как можно жить с постоянным чувством голода, каждый день сталкиваясь со смертью.

У нас, современных девчонок и мальчишек, в магазинах очень много продуктов. И едим мы вдоволь, сколько хотим. Жаль, что пока еще не изобрели машину времени, а то бы переправить вам, в самые голодные 1941 — 1942 годы, часть этой еды. Сколько бы жизней можно было спасти тогда! Но что есть, то есть... Много детей погибло в те блокадные годы, а многие из выживших остались инвалидами. Спасибо вам за стойкость, мужество и нечеловеческую силу духа. Спасибо, что сохранили для нас Ленинград — Петербург, его мосты, дворцы, памятники.

Шаваринская Елизавета

*ГБОУ школа № 598, 7 «а» класс
учитель: Супрун Л. Т.*

Здравствуй, друг мой. Пишу тебе из две тысячи тринадцатого года из города Санкт-Петербурга в твой блокадный Ленинград тысяча девятьсот сорок второго. На твою судьбу выпало немало испытаний. Я хочу поддержать твои силы в борьбе с голодом, холодом, укрепить веру в нашу победу.

Я вместе с тобой, друг мой! Я вместе с тобой, когда в ночной темноте ты зажигаешь последнюю свечу, бросаешь в печурку последний разломанный стул. Все, что можно было сжечь, уже сожжено. Остались только книги Пушкина, Толстого, Чехова. На них не поднялась рука. Холод пронизывает тело, хочется есть. Ты со слезами вспоминаешь, как мама уговаривала тебя съесть суп, котлеты, а теперь в твоих мечтах не конфеты, сладости и фрукты, а заветный кусочек блокадного хлеба. В городе нет ни одной кошки, собаки, ни одного голубя — все съедено. Но все это сохранило кому-то жизнь. Тысяча девятьсот сорок второй. Две тысячи тринадцатый. Какая длинная дорога пролегла между этими датами. Как далеки мы друг от друга. Как близки мы.

Ты со страхом ждал воя сирен и команды бежать в бомбоубежище. Но, сильный и смелый, ты не боялся дежурить на крыше, чтобы тушить зажигательные бомбы врага. Утром ты боялся проспать, чтобы не опоздать на завод, где изготавливали детали для оружия. Своей работой ты приближал нашу победу. Получив письмо с фронта, ты радовался, что отец жив, и еще больше верил в победу над фашистами. Если бы я могла сейчас передать тебе свои теплые зимние вещи: шапку, сапоги, пуховик, варежки и носки — и согреть тебя в эту холодную блокадную зиму!

Сейчас, смотря в окно, я вижу красивые высотные здания и машины, счастливых мам с колясками, слышу веселый смех мальчишек из соседнего двора. Ты же видел развалины домов после бомбежек и сгорбленных людей, везущих на санках умерших. Сейчас тринадцатилетний ребенок — еще подросток, а тебя война сделала взрослым.

Я знаю, ты обязательно выживешь. Держись, мой друг, победа будет за нами!

Галюкевич Александра
ГБОУ лицей № 419, 11 «а» класс
учитель: Евтютова Т. А.

Реликвия

Бабушка Таня во время блокады была почтальоном — человеком, которого ждали, как родного, который нес заветные треугольники, весточки с фронта.

Бабушка порой сидела в кресле и вспоминала свою молодость, а я в этот момент, расположившись у ее ног, внимательно слушала. Рассказывала она о своей войне.

— Я тогда ходила с такой большой сумкой, что парни смеялись, говоря: «Вон посмотрите, Танюша идет, сначала сумка появится, а уж потом и она». Но все равно первые бежали спросить, есть ли весточка о родных. Помню, как увидела, что половины дома соседнего нет, дымящиеся руины да и только. Но я все равно пошла. Люди ждут свои письма. Но адресата я не нашла...

Когда она возвращалась, ее ранило, так вместе с сумкой и доставили бабушку в госпиталь, а потом эвакуировали.

Желтый от времени, нераспечатанный треугольник лежал у меня в руках. Чернилами была выведена фамилия женщины, но адрес был размыт и плохо читался. Но я все же занялась поиском. И оказалось — не напрасно!

Через некоторое время я выяснила, что Валентина Аркадьевна Колесникова, которой было адресовано письмо, давно скончалась, а дочь ее с мужем погибли на фронте, но в живых остался сын Виктор, который проживает в новом городском районе. Волнуясь, позвонила в дверь.

Открыл мне дверь пожилой мужчина.

— Чем могу помочь? — спросил он, вежливо взглядываясь в мое лицо.

От волнения мои руки начали трястись, но, совладав с собой, я достала из куртки старый конверт и робко протянула ему:

— Возьмите, пожалуйста, весточку с фронта.

Он молча потянулся к желтому треугольнику и изумленно, боясь поверить чуду, стал читать. Из глаз Виктора Николаевича потекли слезы.

Марков Яков

*ГБОУ гимназия № 92, 11 класс
учитель: Мешкова Н. Н.*

Метроном

Выдерни из ушей своих звон трамвая,
себя — из привычного улицетока, встань посреди реформ,
не зная,
куда ступить дальше: вперед или мерзлую реку?
Сотри
с улиц человеческий мох;
начни считать: один два три
Смотри.
Тотчас, словно плесень,

фасадом проступит иней —
 не ежезимний, а вечнозастывший; и свет,
 точно хвост павлиний
 взметнется и раздробится в алмазном
 крошеве.
 Будь осторожней и тише. Сейчас ты —
 непрошенный
 гость в опустелом доме, где вихри золы
 из камина потухшего
 вымели начисто каждую комнату-площадь,
 Свинцовыми тушами
 туч, здесь навеки прикованных, выстланы
 крыши. Смотри,
 городу снятся те дни,
 и в каждом движении его —
 метроном: один, два, три
 Он вспоминает — гляди,
 на шпиле выступил пот,
 снится ему, что все еще кто-то идет
 медленно по растрескавшимся
 тротуарам
 и, растворяясь в огромном пространстве,
 тонко зовет:
 «Хлеба!» А может — «Мама!»
 Но в ответ — только дробное кружево снега
 на проводах.
 Серые груды домов обездвижились
 в глазах прудов,
 вот невесомое тело ветром омыто, отпето,
 и брошено в монументальную тишину
 снега и света.
 Нет, человека здесь больше нет,
 так запомнил город,
 вместо него — только ветер, что крышей распорот,
 втиснут в узкие улицы, в автомобиль
 и в дом.
 И до сих пор, заглушая все внешние звуки,
 в города голове неотрывно стучит метроном.
 Помни о нем.

Дрозд Ольга

ГБОУ СОШ № 189 «Шанс»

учитель: Кузнецова Ю. В.

Блокадный дневник

Недавно я из любопытства вызвалась навести порядок в бабушкином сундуке, где хранятся старые фотографии, документы и удивительные вещицы, оставленные «на память».

На самом дне сундука я обнаружила то, что раньше никогда не видела: заботливо завернутый в льняное полотенце блокадный дневник моей двоюродной прабабушки. Тоненькая тетрадочка, исписанная крупными корявыми буквами, как будто рука дрожала или пальцы плохо слушались.

«28 июля, 1941 год. Братья ушли на фронт. Ленинград для меня опустел. Мне кажется, он как-то выцвел, стал похож на черно-белую фотографию».

«16 сентября, 1941 год. Мой день рождения. Мне исполнилось 16 лет. Совсем недавно казалось, что с этого дня должна начаться какая-то другая, радостная жизнь. Хотелось влюбиться, почувствовать себя взрослой. Мама обещала сшить красивое новое платье «с плечиками». Теперь все иначе. Бомбежки, завывание sireны по ночам, звуки метронома, дежурства на крыше. Жизнь изменилась, и мне уже не до новых платьев».

«30 сентября, 1942 год. Братья пишут редко. Я не уехала из Ленинграда, пошла на завод, работаю, получаю рабочую карточку».

«2 октября, 1942 год. И снова бомбежка. Сегодня в бомбоубежище увидела у женщины на груди маленький жестяной значок, что-то вроде жетона, на нем — ласточка с письмом в клюве. И такой же значок — у ее сына, сидящего рядом. Разговорились. Оказывается, что этот значок носят люди, которые ждут письма».

«9 октября, 1942 год. Теперь и у меня на груди ласточка с письмом в клюве. Днем я иногда поглядываю на нее, а ночью, засыпая, зажимаю в кулаке. Она становится теплой, как будто живой. Я даже иногда говорю с ней. Прошу, чтобы поскорее пришла весточка. Ласточка помогает мне надеяться, что братья живы. Не могут пока написать, или письмо затерялось. Я очень жду письма, а от почтальона слышу: „Ждите, пишут...“»

«13 ноября, 1942 год. Наконец-то письмо! Брат пишет: „Дорогая моя сестричка! Я сейчас лежу в госпитале с ранением, но ты не волнуйся, со мной все хорошо, как сказал военврач, „жизненно важные органы не задеты“. В общем, бояться нечего: до свадьбы

ПАМЯТЬ

заживет. Напиши мне, как живет наш город. Верю, что он не сдается врагу несмотря ни на что! Почему ты не эвакуировалась? Ты ведь мне обещала. Как там Петя? Мне он не пишет, но я надеюсь, что с ним все хорошо. Я пролежу в госпитале еще около месяца, а потом снова на фронт. За меня не волнуйся и береги себя. Твой брат Алексей».

«25 февраля, 1943 год. Пришло письмо от Алеши. Он жив! Жив! Опять в госпитале, но ничего серьезного. Был контужен, но теперь быстро идет на поправку. Спасибо тебе ласточка! От Пети по-прежнему ничего, сердце не на месте».

Больше записей нет. 24 марта 1943 года в Ленинграде была бомбежка, моя двоюродная прабабушка погибла.

НАСЛЕДИЕ



**Святитель Игнатий
(Брянчанинов)**

ЧЕЛОВЕК, СЕБЕ ВНИМАЙ

Епископ Игнатий (в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов) родился 5 февраля 1807 года в селе Покровское Грязовецкого уезда Вологодской губернии. Еще в детстве он почувствовал склонность к молитвенным трудам и уединению, однако в 1822 году, по настоянию отца, поступил в Военное инженерное училище, которое закончил в 1826 году. Перед юношей открывалась блестящая светская карьера, однако он еще до окончательного экзамена подает прошение об отставке, желая принять монашество. Прощение не было удовлетворено. Подающий большие надежды военный инженер Дмитрий Александрович, талант которого оценил сам император Николай I, направился на службу в Динабургскую крепость, где тяжело заболел и 6 ноября 1827 года получил вожделенную отставку. Он поступил послушником в Александро-Свирский монастырь— под руководство известного духовного наставника о. Леонида. Спустя год он последовал за своим руководителем в Площанскую пустынь. Затем продолжил свое служение Богу в Белобережской пустыни, где встретился с иеросхимонахом Афанасием, учеником прп. Паисия Величковского. Вместе с ним Дмитрий отправился в Оптину пустынь, но пробыл там недолго. Конец 1830—начало 1831 года Брянчанинов провел в Семигородней Успенской пустыни, где написал «Плач инок». Вскоре он был пострижен в монашество с именем Игнатий в честь священномученика Игнатия Богоносца; через некоторое время был рукоположен в иеродиакона, а затем — в иеромонаха. В самом конце 1831 года иеромонах Игнатий определен настоятелем Пельшемского Лопотова монастыря. 28 мая 1833 года он возведен в сан игумена. В ноябре 1833 года митрополит Филарет предложил игумену Игнатию настоятельство в Николо-Угрешском монастыре, но Николай I решил иначе его судьбу, поручив управление пришедшей в запустение Троице-Сергиевой пустынью под Петербургом. Игумен Игнатий был возведен в сан архимандрита. В должности настоятеля пустыни он оставался до 1857 года и за это время ему удалось привести ее в порядок как в духовном, так и в хозяйственном отношении. Весной 1847 года, после тяжелой болезни, архимандрит Игнатий подал прошение об увольнении на покой в Николо-Бабаевский монастырь, однако Святителю был разрешен лишь отпуск на 11 месяцев, который он и провел в этом монастыре. Здесь он написал несколько очерков. В 1848 году он возвратился в Троице-Сергиеву пустынь.

В 1847 году впервые появились в печати его литературные произведения: статьи «Валаамский монастырь» и «Воспоминание о Бородинском монастыре».

27 октября 1857 года в петербургском Казанском соборе Святитель был хиротонисан в епископа Кавказского и Черноморского и 4 января 1858 года прибыл в Ставрополь. Обустройство епархии потребовало больших трудов, у архиерея не было своего дома, половина населения епархии (линейные казаки) была выведена из ведения епископа, Синод не выделял достаточных средств, значительное число раскольников

проявляло враждебность по отношению к епископу. Тем не менее за недолгий четырехлетний срок управления епархией Святителю удалось наладить ее жизнь. Именно здесь им написана книга «Приношение современному монашеству», а также сочинения: «О различных состояниях естества человеческого по отношению к добру и злу», «О чувственном и духовном видении духов», «О спасении и христианском совершенстве», «Учение Православной Церкви о Божией Матери». Болезнь заставила просить епископа Игнатия об увольнении на покой. В 1861 году прошение было удовлетворено, и он 13 октября 1861 года приехал в Николо-Бабаевский монастырь Костромской епархии, где вел уединенную молитвенную жизнь. В это время Святителем были созданы «Слово о смерти» и «Отечник». 16 апреля 1867 года, в Светлый день Пасхи, он отслужил свою последнюю литургию. 30 апреля 1867 года, в воскресный день, в праздник Жен Мироносиц, Святитель скончался.

Игнатий Брянчанинов причислен к лику святых 6 июня 1988 года. Перед канонизацией, 26 мая 1988 года, его мощи были торжественно перенесены в Свято-Введенский Толгский монастырь в Ярославле.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Человек, себе внимай

Человек! «Себе внимай», себя рассматривай! Из ясного... понимания себя яснее и правильнее будешь смотреть на все, что подлежит твоим взорам вне тебя. Каким образом, с какого повода вступил я в существование и явился на поприще земной жизни?

Явился я на этом поприще невольно и бессознательно; причины вступления в бытие из небытия не знаю.

Обдумываю, изыскиваю причину и... должен по необходимости признать ее в определении неограниченной... непостижимой воли, которой подчинен я безусловно. Явился я со способностями души и тела, как с принадлежностями: они даны мне — не избраны мною. Явился я с разнообразными немощами, как бы запечатленный уже казнью... Встал я в обстоятельства и обстановку, какие нашел...

На пути земного странствования очень редко могу поступить по произволу моему... почти всегда влекусь насильно какой-то невидимой, всемогущей Рукой... Почти постоянно встречается со мной одно неожиданное и непредвиденное.

Увожусь из земной жизни наиболее внезапно, без всякого согласия моего на то, без всякого внимания к земным нуждам моим... Увожусь с земли навсегда, не зная, куда пойду!.. В стране неведомой, в которую вступаю смертью, встретит меня одно новое, одно невиданное никогда.

Чтобы вступить в неведомую страну, я должен оставить на земле все земное, должен скинуть с себя само тело. Оттуда, из неведомой страны, не могу подать на землю никакой вести о себе.

Нет слепого случая!

Бог управляет миром, и все, совершающееся на небе и в поднебесной, совершается по суду премудрого и всемогущего Бога, непостижимого в премудрости и всемогуществе Своем, непостижимого в управлении Своем.

Бог управляет миром: разумные твари Его да покоряются Ему, и слуги Его да созерцают благоговейно, да славословят в удивлении и недоумении превышающее разум их, величественное управление Его!

Бог управляет миром. Слепотствующие грешники не видят этого управления. Они сочинили чуждый разума случай: отсутствие правильности во взгляде своем, тупости своего взгляда, взгляда омраченного, взгляда извращенного они не сознают; они приписывают управлению Божию отсутствие правильности и смысла; они хулят управление Божие, и действие премудрое признают и называют действием безумным...

Видение судеб Божиих — видение духовное. Возводится Божественной благодатью, в свое время, к этому видению ум христианина, подвижающегося правильно. Духовному видению ума сочувствует сердце духовным, святым ощущением, которым оно напаивается, как бы напитком сладостным и благовонным, изливающим в него и питание, и мужество, и веселье... Глубину их не возможет исследовать ни ум человеческий, ни ум ангельский, подобно тому, как чувственное око наше не может усмотреть сводов неба, скрывающихся за прозрачной, беспредельной синевой его.

Важность самопознания

«Себе внимай», о человек! Вступи в труд и исследование существенно нужные для тебя, необходимые. Определи с точностью себя, твое отношение к Богу и ко всем частям громадного мироздания, тебе известного. Определи, что дано понимать тебе, что предоставлено одному созерцанию твоему и что скрыто от тебя. Определи степень и границы твоей способности мышления и понимания. Эта способность, как способность существа ограниченного, естественно имеет и свою степень, и свои пределы. Понятия человеческие, в их известных видах, наука называет полными и совершенными, но они всегда остаются относительными к человеческой способности мышления и понимания: они совершенны настолько, насколько совершен человек. Достигни важного познания, что совершенное понимание чего-либо несвойственно и невозможно для ума ограниченного. Совершенное понимание принадлежит одному Уму совершенному.

Память смертная

Удел всех человеков на земле, удел неизбежный ни для кого — смерть. Мы страшимся ее, как лютейшего врага, мы горько оплакиваем похищаемых ею, а проводим жизнь так, как бы смерти вовсе не было, как бы мы были вечны на земле...

Грех отнял и отнимает у меня познание и ощущение всякой истины: он похищает у меня, изглаживает из моей мысли воспоминание о смерти, об этом событии, столько для меня важном, осязательно-верном.

Чтоб помнить смерть, надо вести жизнь сообразно заповедям Христовым. Заповеди Христовы очищают ум и сердце, умерщвляют их для мира, оживляют для Христа: ум, отрешенный от земных пристрастий, начинает часто обращать взоры к таинственному переходу своему в вечность — к смерти; очищенное сердце начинает предчувствовать ее.

Отрешенные от мира ум и сердце стремятся в вечность. Возлюбив Христа, они неутолимо жаждут предстать Ему, хотя и трепещут смертного часа, созерцая величие Божие и свои ничтожество и греховность. Смерть представляется для них вместе и подвигом страшным, и вожделенным избавлением из земного плена...

Будем употреблять воспоминание о смерти, как горькое врачевство против нашей греховности: потому что смертная память — так святые отцы называют это воспоминание — усвоившись душе, рассекает дружбу ее с грехом, со всеми наслаждениями греховными...

«Поминай последняя твоя, — говорит Писание, — и во веки не согрешиши».

О служении ближним

Ожидай с верою награды от Господа. Он скажет служившим братии на страшном суде Своем: «Аминь глаголю вам, понеже сотвористе единому сих братии Моих меньших, Мне сотвористе (Мф. 25: 40)». И ведет Господь усердно послужившего братии в вечный покой и наслаждение рая. Помни, что чаша холодной воды не лишится мзды своей на Небе, и не упускай случаев увеличить мзду твою. Имей мысль, что служишь не человеку, а Ангелам — и усладится тебе служение твое. Оказывай любовь и услугу ближним ради Бога, а не по сердечному чувству, влечению, избранию, тем менее пристрастию, — и очистится от нечистоты служение твое, — будет жертвою, благоприятною Богу... Преуспевай, мужайся в этом служении, веруй обрести посредством его спасение души своей. Остерегайся уязвлять ближнего! Преподобный Антоний Великий говорил: «От ближних — наша жизнь и смерть: если упокоим брата, — Бога упокоим. А если оскорбим брата, то согрешаем против Самого Христа». И так убойся оскорблять братию? И услугу, и оскорбление, сделанные ближнему, принимает Христос, как бы они сделаны были Ему — Господу. Когда должно отказать в чем брату, — от-

кажи с тихостью и вместе твердостью, объяснив невозможность исполнить его желание. Если же когда увлечешься и согрешишь в чем по свойственной всем человека немощи, — не предавайся унынию. Напротив того, немедленно прибегай с раскаянием к Господу, моли Его, чтобы простил тебя — и простит тебе.

Опасность сребролюбия

Мы вступили нагими в мир сей; выходя из него, оставим в нем и тела наши. Зачем же искать приобретений тленных?... Не будем терять драгоценного времени для тления, чтобы не утратить единственного нашего сокровища — Христа. К Нему устремим и ум и сердце; имея пищу и одежду, будем этим довольны...

Желающие обогатиться впадают в напасти и сети, которые готовят им самое их стремление к обогащению. Первым плодом этого стремления есть множество попечений и забот, отводящих ум и сердце от Бога. Душа, мало, холодно, небрежно занимающаяся Богом, получает грубость и впадает в нечувствие; страх Божий в ней изглаживается; отступает от нее воспоминание о смерти, ум помрачается и перестает видеть Промысел Божий, от чего теряется вера; надежда, вместо того, чтобы утверждаться в Боге, обращается к идолу... Тогда человек умирает для добродетелей, предается лжи, лукавству, жестокости, словом сказать, всем порокам, и впадает в совершенную погибель...

И те, которых не вполне погубило сребролюбие, потому что они не вполне предались ему, а только искали умеренного обогащения, потерпели многие бедствия. Они опутали себя тяжкими заботами, впали в разнообразные скорби, принуждены были нередко нарушать непорочность совести, потерпели большой урон в духовном преуспевании... Для христианина нищета евангельская вождественнее всех сокровищ мира, как руководствующая к вере и ее плодам.

Продолжительность земной жизни и благополучие ее не зависят от имущества

Во время странствования Господа нашего Иисуса Христа на земле однажды некоторый неизвестный человек принес Ему жалобу на брата своего по случаю происшедшего между ними несогласия при разделе имущества... С кротостью и смирением отвечал Господь просившему суда Его в земном деле: «Человече! кто Мя постави судию или делителя над вами? Не земные дела составляют предмет послания на землю вочеловечившегося Бога-Слова!» Потом, возводя тяжущихся братьев к правильному взгляду... Господь присовокупил: «Блюдайте и хранитесь от лихоимства, яко не от избытка кому живот его есть от имени его». Т. е. продолжитель-

ность земной жизни зависит не от имени. Пагубна страсть лихоимства: Господь заповедует охраняться от нее. Эта страсть, стремясь открыть себе вход в душу, обыкновенно представляет человеку долговременную жизнь, болезненную, старость, разные превратности и случайности, могущие постигнуть человека, при которых накопленное имущество как будто должно быть единственным и всемогущим источником пособия. Господь, чтоб поразить страсть лихоимства в самом ее начале... показывает, что эти мысли вполне ошибочны и ложны, показывает, что продолжительность земной жизни с ее превратностями нисколько не находится в связи с накопленным излишним имуществом. Продолжительность земной жизни и благополучие ее истекают не от многого имущества: они истекают от благословения Божия.

О терпении скорбей

Искушения и скорби ниспосылаются человеку для его пользы: образованная ими душа делается сильною, честною пред Господом своим. Если она претерпит все до конца в уповании на Бога, то невозможно ей лишиться благ, обещанных Святым Духом, и совершенного освобождения от страстей.

Души, будучи преданы различным скорбям, явным, наносимым человеками, или тайным, от восстания в уме непотребных помыслов, или телесным болезням, если все это претерпят до конца, то сподобляются одинаковых венцов с мучениками и одинакового с ними дерзновения.

Мученики терпели напасти от человеков... Чем разнообразнее и тяжелее был подвиг их, тем большую стяжали они славу, тем большее получали дерзновение к Богу... Тесен и прискорбен путь, ведущий в живот вечный; мало ходящих по нему; но он — неотъемлемое и неизбежное достояние всех спасающихся. Не должно уклоняться с него! Всякое искушение, наносимое нам диаволом, будем претерпевать с твердостью и постоянством, взирая оком веры на мздовоздаяние, уготованное на небе.

Каким бы ни подвергались мы скорбям во время земной жизни, они никак не могут быть сравнены с благами, обещанными нам в вечности, или с утешением, которое дарует Дух Святой еще здесь, или с избавлением от владычества страстей, или с отпущением множества долгов наших, — с этими неминуемыми следствиями благодушного терпения скорбей.

О любви к врагам

Любовь духовная постоянна, беспристрастна, вся — в Боге, объемлет всех ближних, всех любит равно, но и с большим различием. «Любите враги ваша, — говорит Евангелие, — благословите кленущия вы, добро

творите ненавидящим вас и молитесь за творящих вам напасть и изгоняющих вы». Здесь ясно и определенно изображено, в чем должна состоять любовь к врагам: в прощении нанесенных ими обид, в молитве за них, в благословении их, т. е. в благих словах о них и в благодарении Бога за наносимые ими напасти, в благодарении им соответственно силам и духовному преуспению, в благотворении, которое может простираться до вкушения телесной смерти для спасения врага. Пример такой любви к врагам явил Спаситель.

Но то же самое Евангелие повелевает быть осторожным с врагами своими, не вверяться им. «Се, аз посылаю вас, — сказал Господь ученикам Своим, — яко овцы посреде волков: будите убо мудри яко змии, и цели яко голубие. Внемлите же и от человек: предадут бо вы на сонмы, и на соборищах их бият вас... Будете ненавидими всеми имене Моего ради». Итак самим Евангелием предписана осторожность в отношении ко врагам и по возможности мудрое с ними обхождение. Вражду производит дух мира... Раб Христов не может быть врагом чьим-либо.

Вы видите — Евангелие предписывает нам любовь ко врагам не слепую, не безрассудную, но освященную духовным рассуждением.

Грехи сребролюбия и пьянства

Корень всем грехам, сказал святой апостол Павел, есть сребролюбие, а после сребролюбия, по мнению св. отцов, чревообъядение, которого сильнейшее и обильнейшее выражение — пьянство. Из-за любви к деньгам Иуда совершил ужаснейшее преступление между преступлениями человеческими: предал Господа. Из-за любви к деньгам совершаются бесчисленные злодеяния: нарушаются законы Божеские и государственные, попирается правда, покровительствуется неправда, угнетается нищий, обогащается на погибель свою мздоимец. Сердце сребролюбца затворяется для милосердия, и он лишает сам себя милости Божией или спасения, которое даруется одним милостивым. Преданный пьянству к каким беззакониям не способен? Он отседе раскален вином, как бы огнем гееннским, безумствует, беснуется, как иступленный. Он готов на прелюбодеяние, он готов на ссоры, на драки, на разбой, на убийство. Все злодеяния представляются удобными для обуявшего от пьянства. При всем том его злодеяния не могут сравниться с злодеяниями сребролюбца, которого злодеяния обдуманы, прикрыты личиною правды, дальновидны, проникнуты и преисполнены лукавством сатанинским, действуют нередко в самом обширном значении и размере, потрясая и подрывая благосостояние целых народов. Не без причины святое Евангелие говорит, что «в сребролюбивого Иуду, для вспомошествования ему и для руководства его в адских замыслах, вниде сатана».

О совести

Совесьть — чувство духа человеческого... различающее добро от зла.

Это чувство яснее различает добро от зла, нежели ум.

Труднее обольстить совесьть, нежели ум.

И с обольщенным умом, подкрепляемым грехолюбивою волею, долго борется совесьть.

Совесьть — естественный закон.

Совесьть руководствовала человека до закона письменного. Падшее человечество постепенно усваивало себе неправильный образ мыслей о Боге, о добре и зле: лжеименный разум сообщил свою неправильность совести. Письменный закон соделался необходимостью для руководства к истинному Богопознанию и к богоугодной деятельности.

Учение Христово, запечатленное святым крещением, исцеляет совесьть от лукавства, которым заразил ее грех. Возвращенное нам правильное действие совести поддерживается, возвышается последованием учению Христову.

Здоровое состояние и правильное действие совести возможно только в недре Православной Церкви, потому что всякая принятая неправильная мысль имеет влияние на совесьть: уклоняет ее от правильного действия.

Потемняют, притупляют, заглушают, усыпляют совесьть — произвольные согрешения.

Всякий грех, не очищенный покаянием, оставляет вредное впечатление на совести.

Постоянная и произвольная греховная жизнь как бы умерщвляет ее.

Умертвить совесьть — невозможно. Она будет сопровождать человека до Страшного Суда Христова: там обличит ослушника своего.

Памятование о смерти

Постоянное памятование смерти есть благодать дивная, удел святых Божиих... Но и нам, немощным и страстным, необходимо принуждать себя к воспоминанию о смерти, усваивать сердцу навык размышления о ней, хотя такое размышление и крайне противно сердцу грехолюбивому и миролюбивому. Для такого обучения... полезно отделять ежедневно известный час, свободный от попечений, и посвящать его на спасительное воспоминание страшной, неминуемой смерти. Как ни верно это событие для каждого человека... с величайшим трудом можно принудить себя даже к холодному воспоминанию о смерти... Постоянное развлечение мыслей, нам усвоившееся, и мрачное забвение непрестанно похищают мысль о смерти... Потом являются другие противодействия: неожиданно представляются нужнейшие дела и попечения именно в тот час... Когда же, познав кознь властей воздушных, мы удержимся в подвиге, тогда увидим в себе новую против него брань — помыслы сомнения в действительности и пользе подвига, по-

мыслы насмешки и хулы, именующие его странным, глупым и смешным, помыслы ложного смирения... Если, по великой милости Божией, победится и эта брань — самый страх мучительный, производимый живым воспоминанием и представлением смерти, как бы предощущением ее, сначала необыкновенно тяжел для нашего ветхого человека... Не должно отвергать этого состояния, не должно опасаться от него пагубных последствий.

Пагубность суетной жизни

Самолюбие и привязанность к временному и суетному — плоды самообольщения, ослепления, душевной смерти... Безумна и пагубна эта любовь. Самолюбивый, пристрастный к суетному и преходящему, к греховным наслаждениям — враг самому себе. Он — самоубийца: думая любить себя и угождать себе, он ненавидит и губит себя, убивает себя вечною смертью.

Осмотримся, развлеченные, отуманенные, обманутые суетою!.. справимся с опытами, которые непрестанно совершаются пред очами нашими...

Тот, кто употребил всю жизнь на снискание почестей, взял ли их с собою в вечность? Не покинул ли здесь... весь блеск, которым он окружал себя? Не пошел ли в вечность единственно человек с делами его, с усвоенными качествами во время земной жизни?

Тот, кто употребил жизнь на снискание богатства, кто накопил множество денег... — взял ли это в вечность? Нет! Он оставил все на земле, удовлетворившись для последней потребности тела малейшим участком земли, в котором одинаково нуждаются, которым одинаково удовлетворяются все мертвецы.

Кто занимался в течение земной жизни плотскими увеселениями и наслаждениями, проводил время с друзьями в играх и других забавах... устраняется, наконец, самую необходимостью от привычного рода жизни. Наступает время старости, болезненности, а за ними час разлучения души с телом. Тогда узнается, но поздно, что служение прихотям и страстям — самообольщение, что жизнь для плоти и греха — жизнь без смысла.

О вреде лицемерства

Господь наш Иисус Христос, заповедав нам пред вступлением в подвиг поста прощение ближним их согрешений, повелел самый пост тщательно охранять от лицемерства. Как червь, зародившийся внутри плода, истребляет всю внутренность плода, оставляя только его оболочку, так и лицемерство истребляет всю сущность добродетели. Лицемерство рождается от тщеславия. Тщеславие есть суетное желание и искание временной похвалы человеческой, Тщеславие является от глубокого неведения Бога или от глубокого забвения Бога, от забвения вечности и небесной славы, и потому оно в омрачении своем ненасытно стремится к приобретению земной временной славы. Эта слава представляется ему, как и жизнь земная, вечным,

неотъемлемым достоянием. Тщеславие, ищущее не самой добродетели, а только похвалы за добродетель, заботится и трудится единственно о том, чтоб выставить пред взоры человеческие личину добродетели. И предстоит лицемер человечеству, облеченный в ризу сугубого обмана: на наружности его видна добродетель, которой в сущности он вовсе не имеет, в душе его видны самодовольство и напыщенность, потому что он прежде всего оболещен и обманут в самом себе. Болезненно наслаждается он убивающим его тщеславием, болезненно наслаждается обманом ближних, болезненно и злосластно наслаждается удавшимся лицемерством. Вместе с этим он соделывается чуждым Богу: пред Богом нечист всяк высокосердый.

Отчаяние и другие смертные грехи

Самый тяжкий грех — отчаяние. Этот грех унижает всесвятую Кровь Господа нашего Иисуса Христа... отвергает спасение, Им дарованное... Созревшее отчаяние обыкновенно выражается самоубийством или действиями, тождественными самоубийству. Самоубийство — тяжчайший грех! Совершивший его лишил себя покаяния и всякой надежды спасения... За самоубийством следуют по тяжести своей грехи смертные, каковы: убийство, прелюбодеяние, ересь и другие... Эти грехи, хотя и менее пагубны нежели самоубийство, хотя совершившему их остается возможность покаяния и спасения, но называются смертными. Пребывающий в них признается умершим душою; пребывающий в них не допускается правилами Святой Церкви к приобщению Святых Христовых Тайн... Покаяние человека, пребывающего в смертном грехе, тогда только может быть признано истинным, когда он оставит смертный грех свой. Тогда он только может быть допущен к соединению со Христом чрез приобщение Святых Тайн! И потому... надо с особенною тщательностью охраняться от смертных грехов... Если же случится несчастье впасть в какой смертный грех, то надо оставить его немедленно, исцелиться покаянием, и всячески храниться, чтоб снова не впасть в него. Если же... случится снова впасть в смертный грех, не должно предаваться отчаянию, — должно снова прибегать к Богом дарованному врачевству душевному, покаянию, сохраняющему всю силу и действительность свою до самого конца жизни нашей.

Предназначение человека

По окончании мироздания, перед созданием человека, Бог осматривает сотворенное Им и находит его удовлетворительным: «виде Бог, яко добро».

По сотворении человека снова Бог осматривает все сотворенное Им и уже находит творение Свое изящным, полным, совершенным: и виде Бог вся, елико сотвори: и се добро зело.

Человек! Пойми твое достоинство.

Взгляни на луга и нивы, на обширные реки, на беспредельные моря, на высокие горы, на роскошные деревья, на всех зверей и скотов земных, на всех зверей и рыб, странствующих в пространствах воды, взгляни на звезды, на луну, на солнце, на небо: это все — для тебя, все назначено тебе в услужение.

Кроме видимого нами мира, есть еще мир не видимый телесными очами, несравненно превосходнейший видимого. И невидимый мир — для человека.

Как Господь почтил образ Свой! Какое предначертал ему высокое назначение! Видимый мир — только предуготовительное преддверие обители, несравненно великолепнейшей и пространнейшей. Здесь, как в преддверии, образ Божий должен украситься окончательными чертами и красками, чтобы получить совершеннейшее сходство со своим всесвятейшим, всесовершеннейшим Подлинником, чтобы в красоте и изяществе этого сходства войти в тот чертог, в котором Подлинник присутствует непостижимо, как бы ограничивая Свою неограниченность, для явления Себя Своим возлюбленным, разумным тварям.

Наставление о полезных навыках

Приучись быть скромным: не позволяй себе никакой дерзости, даже не позволяй себе прикасаться к ближнему без крайней нужды, — и навык скромности сделает для тебя удобную великую добродетель целомудрия. Ближние твои, ощутив живущий в тебе залог скромности, будут перед тобою бездерзновенны, как бы благоговей пред благоуханием святыни.

Ничто так не потрясает целомудрия, как навык к дерзости, к свободному обращению, отвергшему уставы скромности.

Приучись быть воздержанным в пище: воздержанием доставишь здравие и крепость телу, а уму особенную бодрость, столько нужную в деле спасения, очень полезную и при земных упражнениях.

Обжорливость — не что иное, как дурной навык, безрассудное, неудовлетворимое удовлетворение поврежденного злоупотреблением естественного желания.

Приучись к самой простой пище. Она, для привыкшего к ней, вкуснее самых изысканных снедей, — не говорю уже о том, сколько она их здоровее.

Какую свободу и нравственную силу доставляет человеку навык к простой пище, навык, по-видимому, столько ничтожный, материальный! При нем человек нуждается в самых малых издержках для стола, в самом малом времени и малых заботах для приготовления его. Если привыкший к простой пище — беден, то он не тяготится бедностью своею.

ПРОЗА



Владимир БАЙКОВ



Геннадий СОРОКИН



Елена ГРАЧЕВА



Галина ШЕВЦОВА

Девушки и подтяжки

Вышел на пенсию. Целый день не знаю, чем себя занять. Жена-то помоложе, ей еще до пенсии ого-го! Поэтому весь день дома один сижу. Даже поругаться не с кем.

Ну, хорошо, выспаться стал, сколько хочу. А днем по дому шляешься да в холодильничек заглядываешь. Глянул туда — и цап-царап бутербродик или салатик сварганил, чайком подкрепил. Так дни и идут.

Не в домино же мне стучать во дворе! Пробовал задачи шахматные решать. Двухходовки идут, а мат в три хода — не сообразить. Утром душ чуть ли не час принимаю, потом минут двадцать растираюсь. Раньше брился дуплетом — раз намылился, потом бритвой все снял, начерно как бы. А потом еще и второй раз прошелся, уже набело. А теперь по три раза намыливаться умудрился. Сначала пенкой немецкой, потом французской, а последний раз уже кремом. Потом одеколончиком дорогим, на выход на пенсию который подарили, освежусь как следует. Красота!

А тут на днях после душа в зеркало себя разглядел как следует. Батюшки-светы! Откуда-то живот образовался. Правда, нестрашный такой, но заметный, в профиль особенно. Для женщины это назвали бы приятной округлостью, но я тут приятного для себя ничего не увидел. «Надо бороться, — думаю, — бегать начинать пора!»

Отыскал свои старые спортивные штаны. Примерил. И вот тут-то проблемочка и вырисовалась — где пояс фиксировать? Посередине живота — штаны сползают. Выше к груди задрать, брюки коротки становятся, носки торчат. А ежели ниже живота опустить, как молодежь давно уже джинсы носит, так бегать мешать будут, широко не шагнешь и через лужу не прыгнешь.

И тут выход в голову сам собой пришел: подтяжки нужны!

Подтяжки, подтяжки, подтяжечки... Раньше они к брюкам пристегивались такими мощными петлями, по две на каждый конец. Спереди два конца и сзади один общий, соединение между ними укреплялось на спине здоровой кожаной нашлепкой. Значит, всего шесть таких шелковых петельных шнурков было, а на брюки изнутришивались пуговики. Соединишь такую мощную конструкцию всю вместе, так после этого в карманы брюк можно аж по несколько «лимонок» напихать, или по маузеру в деревянной кобуре — всё выдержит!

Насчет маузера я понял, когда в Википедии увидел в статье «Подтяжки» фотографию двух мужчин в широких подтяжках — участников гражданской войны в США. Но нынешние подтяжки крепятся к брю-

кам небольшими металлическими клипсами, так что ни о каких маузерах в карманах, даже без кобуры, можете не мечтать.

Купил я себе аж целых две пары подтяжечек — одну в красных, другую в синих тонах. Прицепил одну из них к спортивным штанам, надел их, отрегулировал длину, поприседал, попрыгал — самое то! Вышел на пробежку. Я вообще-то всегда любил бегать по дорожкам взад-вперед, а если по кругу, то против часовой стрелки. Еще с беговых времен приучен.

Выбегаю в наш парк и по кругу трусцой пошел, по часам скорость контролирую. На втором круге показалось мне, что клипса подтяжек сзади отстегнулась. «Дай, — думаю, — проверю.» Большие пальцы под подтяжки засунул, вперед оттянул, а потом одновременно отпустил. Они со шелчком на место вернулись.

Тут я неожиданно хмыканье услышал. Это девушка навстречу мне бежала, бежала не по правилам, по часовой стрелке. А я так контролем за подтяжками увлекся, новинка, лет двадцать не носил, что ее и не заметил. А она на шелчок этот хмыканьем отреагировала.

На следующее утро на пробежку вышел, на третьем круге замечаю, та же самая девушка опять мне навстречу бежит. Подбегаю ближе, а у нее, смотрю, тоже подтяжки надеты, узенькие такие. Когда она оказалась почти прямо у меня под носом, то точно как я вчера большие пальцы под подтяжки засунула и ими, резко отпустив, шелкнула. Улыбнулась слегка.

Назавтра мы с ней почти одновременно этот трюк проделали, поприветствовали друг друга вроде.

— А вы здорово бегаєте, — это она мне говорит, догоняя, когда мы уходим из парка.

— Да плетусь еле-еле, — оборачиваюсь я к ней, восстанавливая дыхание.

— Дело не в скорости, у вас чувствуется техника, координация движений и работа рук. Все грамотно поставлено. Бегали когда-то понастоящему?

— Было дело.

Я уже почти отдышался.

— А сейчас, если не секрет, чем занимаетесь? Кстати, меня Наташа зовут.

— Меня Владимир Николаевич... Занимаюсь чем? — переспрашиваю я. — Да вот вернусь домой, суп нужно будет доварить.

— Какой-то особенный? — не отстает девушка.

— Обычный, — говорю я после паузы, — зуппа ди пеше.

— Пеше? — улыбается она. — Это для пешеходов, что ли?

— Неа, — отвечаю, — это суп из морепродуктов, в него еще помидоры мелкие такие входят, кальмары и белое вино.

— Ой, вкусно, наверное. А меня научите?

«Вот, — думаю, — пристала».

— Вы знаете, мне домой пора, — прощаюсь я с ней.

— Завтра как всегда? — не отстает Наташа.

— Ну да. Пока!

И вот как-то раз, сразу после пробежки, Наташа пригласила меня домой. Она заранее закупила по списку все продукты для того, чтобы готовить цесарку в грибном соусе.

— Я пока в душ пойду, — заходя в квартиру сказала она, — а вы можете уже потихоньку начинать.

Минут через пятнадцать она вышла на кухню, сияющая, в махровом белом халате. «Раскованная нынче молодежь пошла, — думаю про себя, — пригласила в дом мужчину, расхаживает почти неглиже. Хорошо еще, что я такой... безопасный. А если бы нахал какой-нибудь?» Хотел я ей занудную нотацию прочесть, но глянул на нее и передумал. Она перешла в гостиную и оттуда крикнула:

— Хотите на меня маленькую взглянуть?

Я подошел и взял из ее рук фотографию, снятую ею с полки.

— Наташа, а это вы с кем? — спрашиваю я, беря фотографию в руки.

— Это я с бабушкой, — отвечает она, пристально глядя на меня.

Что-то в этой бабушке показалось мне знакомым.

— А где она живет? — не выпуская из рук фото, продолжаю я допытываться.

— Жила, — говорит девушка, — она умерла три года назад. А проживала в Кисловодске.

— В Кисловодске? — переспрашиваю я. — А ты тоже оттуда?

— Почти, мы с мамой жили в Минводах.

— А кем бабушка работала? — что-то мне уже начинает мерещиться.

— Она в санатории медсестрой была. Ванны отпускала. Она мне как-то один смешной случай рассказала.

— Случай? — переспрашиваю я.

А про себя думаю: «Чертова привычка и ко мне перешла из сериалов — начинать свою фразу с последнего слова собеседника». Но бабушка эта начинает меня все больше интересовать.

А Наташа, видя мою задумчивость, замолкает.

— Так что там за случай? — напоминаю я ей.

— Она рассказывала, что ей один пациент в санатории очень понравился. И вот как-то она пошла вечером на танцы, которые в этом санатории проводились. И там увидела этого пациента. Дождалась женского танго.

— Не женского, а дамского, — поправляю я ее.

— Ну да, — соглашается она и продолжает: — И вот она его пригласила на танго.

— И что? — подталкиваю я ее к дальнейшему рассказу.

— А он ее не только не пригласил ни разу в ответ, а еще и танцевал подряд все остальные танцы, но только с другими девушками.

— Неблагодарный какой! — притворно восклицаю я.

— Вот она за эту неблагодарность ему и отомстила буквально на следующий день.

— И как же? Укол в попку лишний сделала? — я начинаю смутно догадываться.

— Совсем нет! Когда он сел в наполненную нарзаном ванну.. А вы, кстати, знаете, что ванну принимают безо всяких плавок?

— Да знаю, — соглашаюсь я.

— А вы бывали в Кисловодске?

С этими словами девушка вытащила откуда-то с нижней полки необъятного серванта альбом в обложке, обтянутой синим бархатом и, немного полистав, развернула его ко мне.

— Вот это фото вам знакомо?

Я внимательно рассматриваю фотографию и, конечно, вначале узнаю на ней себя. А, взглядевшись еще внимательнее, вижу на ней и ту медсестру, с которой у нас произошла эта история. Точно: «Кисловодск. Санаторий „Москва“, 1969 год». В апреле я там был. В летние месяцы в санаторий только блатные и начальники попасть могли, а для нас — либо весна, либо поздняя осень...

И тут я вспоминаю всю эту историю. После того дамского танго на следующий день я пошел принимать ванну. Как обычно полностью разделся, лег в наполненную теплой жидкостью с пузырьками посудину и расслабился, почти задремав, глядя на песочные часы. Из нирваны меня вывело ощущение холода. Я взглянул вниз и увидел, что только что бывшее под водой почти все мое тело, стало заметно выступать над поверхностью жидкости.

Над водой показались согнутые колени, затем верхняя половина живота, а вскоре и нижняя его часть и то, что было под ней. И если люди в случае происшествий на воде орут «Тону!», то мне следовало бы истошно заголосить: «Всплываю!»

Вместо этого я вначале негромко, а затем более надрывно воскликнул: «Сестричка!»

Никакой реакции. «Чай пьют, небось, — подумал я, — не слышат ни черта».

Тогда я, видя, что вода почти вся уже ушла, а я лежу голый и мокрый, встал в ванне в полный рост и, сложив ладони ковшичком, приложив их ко рту, заорал:

— Сестра!

Надо сказать, что расположение ванн было таким. Они стояли параллельно друг другу, поперек помещения и были отделены невысокими тонкими перегородками, доходящими по ширине примерно до середины каждой ванны. Сестры время от времени проходили вдоль образовавшегося коридора, контролируя состояние пациентов.

Мой крик привлек в первую очередь внимание не сестер, а соседей, вернее соседок из двух ванн — справа и слева от меня. Это я заметил по двум любопытным женским головкам, высунувшимся с обеих сторон. Потом, опустив взгляд, я непроизвольно осмотрел себя. Гордиться было нечем. Больше всего здесь подходило выражение «мокрая курица». Чтобы не светиться в полный рост, я присел и продолжал орать уже сидя.

Наконец явился медперсонал. Две молоденькие сестрички в акуратных накрахмаленных шапочках, одна из них была в очках. Они почти одновременно взволнованно спросили:

— Вам нехорошо?

Я возопил:

— Так что же тут может быть хорошего?! Воды-то нет!

— Не волнуйтесь, мы сейчас все исправим.

Одна из них побежала к пульту управления, а очкастенькая осталась возле меня и стала успокаивать:

— Да вы не волнуйтесь. Лягте и расслабьтесь.

«Ага! Так я здесь при ней прямо и лягу. Голый, мокрый, синюшный».

Мне хотелось просто вылезти из ванны и пробраться в раздевалку. Но тогда пришлось бы прямо на ее глазах вставать в полный рост, перелезая через край ванны, к тому же повернувшись к девушке голой попой...

Большого позора я в жизни еще не испытывал.

А замерзать я начинаю уже все больше. Вот и зубы стали постукивать.

— Что, холодно? — участливо интересуется очкастенькая. — А вы потанцуйте. У вас же это здорово выходит.

Она приподнимает очки и пристально смотрит мне в глаза.

Только тут меня осенило: так это же та вчерашняя девушка с танцев. Но туда-то она пришла без очков, волосы у нее были распущены и косметика по ее личику как следует погуляла. Точно! Именно она, эта медсестра, вчера приглашала на дамское танго...

В общем, закрутилось у нас тогда с ней. И отпуск, который вначале скучноватым и пресным казался, помчался как на перекладных. Потом вокзал, поезд и — домой в Ленинград. Провожать меня она тогда не пришла, видно, расстраиваться не хотела. Уехал и все! Но открытку на Новый год прислала.

И вот сейчас я вглядываюсь в Наташу, в ее семейные фото, и сомнений у меня почти уже никаких не остается.

— А знаешь, — говорит она, — бабушка приезжала к нам несколько лет назад. Они с мамой долго гуляли тут по улицам, в парке сидели. И вот как-то раз они обе вернулись домой очень взволнованные и почти до ночи о чем-то на кухне шептались. А через пару лет, когда я уже подросла, мне мама тебя как-то на улице показала и говорит: «Глянь-ка, это бабушкин бывший ухажер прогуливается». А я этого слова не знала и спросила у нее, что это значит? «Да дедушка это твой». Меня как обухом по голове стукнули. Все хотела к тебе подойти, да стеснялась, не знала, что сказать. А тут смотрю, ты бегаешь, и тоже бегать начала. А дальше ты и сам все знаешь.

Она замолчала.

— А мама с тобой вместе живет? — задал я вопрос.

— Нет, — ответила девушка, — ей климат ваш ленинградский не подошел, болела часто. И поэтому в Минводы вернулась.

Я взглянул на нее, хотел еще что-то сказать, но как-то неожиданно почувствовал, что спазм сжимает горло.

— Деда, да ладно. И так все понятно, — она взяла меня за руку. — Вот видишь, бабушки не стало, зато дедушка появился.

У меня глаза стали наполняться слезами. Мы долго стояли молча и неподвижно.

Метаморфозы дружбы фронтовой

— Да что ты понимаешь во фронтовой дружбе и любви! — дядя Витя залихватски, просто мастерски вдарил картой по крышке стола. — Бита! А это тебе на погоны!

Он небрежно бросил проигравшему две «шестерки».

Второй вечер я наблюдал, как мужики во дворе играют в карты, и был просто восхищен, когда дядя Витя, завершая партию, щелкал картой по столу. Звук был великолепен. А сам жест, от плеча наискосок, с оттяжкой перед самой столешницей, казался мне верхом гусарской удачи и бесшабашности. Я даже поздно вечером, когда старухи пошли на кухню помолиться, несколько раз попробовал так пощелкать.

— Нынче вы насмотрелись разных фильмов да наслушались вояк типа Сереги Проскурякова и думаете, что все про войну знаете. А вот всё и не так! Серега, кстати, на передовой ни дня не был. Он только языком горазд заливать, как в штыковую ходил. А я-то, мать его, сам был в окопах и знал людей, кто танки немецкие в упор видел, — дядя Витя достал из-под стола первую бутылку портвейна.

Вечерело. Я уныло сидел на завалинке около стаяк, слушал разговоры мужиков за деревянным столом посреди двора. Веселиться мне было не от чего — уже скоро, первого сентября, мне предстояло пойти в первый класс, и я заранее чуял, что эта затея добром не кончится. К тому же, вот уже третью неделю, я сопровождал свою бабушку в турне по европейской части СССР, где в маленьких городках и селеньях жили ее родственники и знакомые — все как на подбор строгие набожные старухи, разговоры которых всегда сводились к воспоминаниям о предвоенной жизни в деревне. Эту деревню мне еще предстояло посетить, а пока, в августе 1972 года, мы остановились на окраине города Кинешма.

За пять дней жизни в Кинешме я столкнулся со странным демографическим перекосом: все дети во дворе были или старше меня, или младше. Старшие, уже школьники, считали меня мелюзгой и в свои игры не брали, а к малышам не тянулся уже я. День за днем я, мрачный и одинокий, слонялся по двору, и только вечером начиналось какое-то развлечение. Вечером к столику посреди двора подтягивались длинноволосые парни и симпатичные девушки. Они смеялись, шутили, пили вино и до ночи пели под гитару. В пятницу стол оккупировали мужики, которые резались в карты и тоже пили вино. Сегодня, в субботу, в карты играли с обеда, что заметно скрашивало мой досуг.

— Я расскажу вам о настоящей фронтовой дружбе, о долге и любви! — дядя Витя, как я понял, самый авторитетный среди игроков, махнул стакан ярко-красной жидкости, занюхал рукавом, размял папироску.

На кисти руки у дяди Вити синела наколка в виде контура восходящего солнца с подписью «Север». Точно такие же наколки, но с надписью «Сибирь», я часто видел дома, в Новосибирске, но значения им не придавал. Мало ли, у кого что на руках наколото! Но теперь же, запомнив, как надо правильно шелкать картами по столу, проникшись уважением к этому незнакомому мужику, я решил, что когда вырасту, обязательно наколю себе восходящее солнце. А что, это ведь классно, буду сидеть с друзьями во дворе, пить вино и так картой по столу бац:

— На, мать твою, туз крестей! Что, нечем бить? Тогда сдавай колоду, сынок!

И на моей руке все увидят символ восходящей свободы. Красота!

А если еще раз занесет меня судьба в какую-нибудь Кинешму, то пусть местные знают, что я из Сибири, а значит, тертый калач, повидал на своем веку, хлебнул лиха.

Но хватит о себе!

Итак, за столиком, напротив подъездов обшарпанных трехэтажных домов, собралось с десятков мужиков всех возрастов. Кто-то из них воевал, кто-то сидел, кто-то, как мой отец, родился во время войны. Наигравшись, мужики побросали карты, распили две первые бутылки портвейна и стали вести разговоры «за жизнь». Я слушал и запоминал.

— Есть в Липецкой области большое село Ново-Орлово, — начал свой рассказ дядя Витя. — За год до войны в нем, по осени, на односельчанке, русоволосой голубоглазой Марине, женился некий Петр Остроухов. По уму и по годам ему надо было бы служить в армии, но врачебная комиссия признала Петра негодным к строевой. Так, с виду, он парень был хоть куда, но иногда начинал задыхаться, словно его грудная жаба давила. Коли в армию ему не идти, Петр устроился работать в совхозе, женился, но с детьми пока не спешил. Или не получалось у них, никто не знает.

В том же селе жил парень по имени Карп. Роста он был невысокого, но весь жилистый такой, крепкий и смуглый, как татарин. Весной сорок второго года ему исполнилось восемнадцать лет.

Не мне вам рассказывать, что творилось в том году: немец пер, мы отступали. На фронте не хватало людей, и в армию стали призывать всех, кто мог держать винтовку. Вот, к примеру, Петр, с его «грудной жабой», какой с него боец? А с другой стороны, разок в атаку сходит, пальнет во врага, все пользу родине принесет. А коли убьют его в первом же бою, то какая разница, убьют его больного или здорового? В общем, в конце апреля одновременно призвали Петра и Карпа и послали в одну учебную артиллерийскую часть под Воронежем.

Как приехали они туда, как увидели пушки-сорокапятки, так и поняли — долго не проживут. Все в то время знали: боец-пехотинец выдержи-

вает в среднем три атаки. После третьей его или обязательно убьют, или ранят. Могут убить в первом бою, а можешь остаться в живых и полгода. Это кому как повезет. А вот расчеты противотанковых пушек в среднем выдерживали всего один бой. Как бы сегодня сказали, они были смертниками. И дело тут вот в чем: бронебойный снаряд пробивает монолит брони, равный своему калибру. Если толщина брони превышает калибр пушки, то снаряд от нее просто отскочит. В сорок втором году лобовая броня немецких танков — семьдесят миллиметров. Теперь представьте, прут на тебя германские танки, лоб в лоб на батарею идут, ты по ним бабахнешь из сорокапятки, а им не холодно, не жарко. А вот если танк осколочным жახнет, то всю орудийную прислугу в клочья разнесет. К тому же, видали, как в кино наши танки немецкие пушки гусеницами давят? Так вот, их танки точно так же умели.

Но в армии приказы не обсуждают. Послали тебя учиться на артиллериста, вот и учись!

В «учебке» Петр и Карп попали в одну батарею, сдружились. В армии ведь как, встретил человека с одного района, он тебе земляк, чуть ли не родня. А тут двое с одной деревни! Вместе росли, на одних девок заглядывались, это как братья родные, не меньше.

Прослужили они два месяца, маршировать научились, честь отдавать, штыком соломенное чучело колоть — и всё! Дальше осваивать военную науку не получилось — немцы на сто километров подошли к Воронежу и приготовились штурмовать его. Настал день объявить курсантам о вынужденном окончании учебы и отправке на фронт. А в такой день известно, что происходит — бегут солдатики в город в самоволку, в последний раз водки попить да с девками покутить. В военное время самовольная отлучка — расстрельное преступление. Но ведь все равно бегут! Что командиру части делать? Страшать бойцов трибуналом? Всех на цепь посадить? А коли все курсанты его под суд пойдут, кто воевать тогда будет?

И командир части (умнейший мужик!) своей властью отпустил всех курсантов в увольнение на весь день, с утреннего построения и до вечерней поверки. А уж кого вечером в строю не будет, так, мол, ребята, пеняйте на себя — в лучшем случае штрафбат. В худшем — расстрел.

Петр и Карп посчитали денежки, узнали адреса, где можно у спекулянтов спиртным разжиться, и пошли в увольнение. Только вышли за КПП — глядь, стоит жена Петрухи, Маринка. Они к ней: что да как, не случилось ли чего? Всё ли в порядке? Она им рассказывает, что в связи с резким ухудшением обстановки на фронте всех бездетных женщин по деревням мобилизовали и направили рыть противотанковые рвы под Воронеж и Старый Оскол. Больше они ничего узнавать не стали, подхватили ее, пошли отмечать вдвойне радостную встречу. Словом, набрали они на все деньги выпить-закусить, сняли у одной старушки хату до вечера и взялись пировать. Ближе к вечеру Петр говорит, мол, иди Карп, прогу-

ляйся. Тот все сразу же понял, вышел во двор и торчал там, пока обратно в дом не позвали. Вернулся, снова за стол сели. Но Петр, вместо того, чтобы радостнее стать, с каждой рюмкой мрачнеет и мрачнеет. И снова говорит, мол, погуляй, Карп!

Как только односельчанин вышел, Маринка в спальню пошла. Но муж ее усадил на место и говорит, мол, я не за этим Карпа из избы выставил. Мол, послушай меня.

— Я, — говорит, — до тебя с двумя бабенками крутил, да с тобой полтора года в браке прожил. Знаю, мол, как детей делают. А вот Карп, он еще девственник, он еще ни разу не пробовал. Не получилось у него. Война началась. Такие-то, мол, дела.

Маринка вначале не поняла, куда муж клонит, а когда он ей всё разъяснил, аж рот от удивления открыла. Петр же еще стопку опрокинул и пошел во двор.

А сказал он жене примерно так: нас, мол, скорее всего, убьют в первом же бою. И хочу я, чтобы мой боевой товарищ Карп погиб мужчиной, а не сосунком, который бабского тела не познал. Женщину ему мы сейчас нигде не найдем — сегодня целый полк за ними охотиться вышел. Все бойцы по женской ласке оголодали, всем напоследок надо. Нет больше во всем городе «свободных» женщин, а ты тут! А что до морали, так война всё спишет! Еще не такое по деревням твориться будет, когда всех мужиков на фронт призовут. К тому же, мол, никто кроме нас троих об этом знать не будет.

Маринка призадумалась. Пётр вышел, объяснил всё товарищу. Карп входит и говорит ей:

— Давай, просто так посидим, как будто между нами что-то было, и позовем Петра. Не хочу я между вами третьим быть.

Однако Маринка на это не согласилась.

— У тебя, Карп, и правда, никого не было? Что же ты так, в деревне столько девок незамужних! Вставай, пошли...

Такие, значит, события были между ними.

— Так ты это настоящей фронтовой дружбой называешь? — удивились за столом.

— Да не про то рассказ мой! Слушайте дальше. Как только они были на фронт, так диспозиция изменилась — немцы не стали штурмовать Воронеж, а повернули на юг, к Сталинграду. Но для порядка, или чтобы пыль в глаза пустить, один усиленный батальон направили на восток. Батарею, где служили Петр и Карп, усилили пехотной ротой и поставили задачу остановить врага, а если получится, то уничтожить его. Командовал их батареей молоденький лейтенантик, только-только что из военного училища. Но уже солидный такой, рассудительный. Он говорит бойцам:

— Если мы займем оборону поперек дороги, то немцы в лобовой атаке сметут нас, растопчут. А если затаимся вон в том лесочке, то сможем

подпустить фашистов поближе и открыть огонь им во фланг. Бортовая броня у немецких танков слабенькая, как раз нашим сорокапяткам под силу. Так что, беритесь за пушки, товарищи красноармейцы, и катите их в лес, оборудуйте замаскированную огневую позицию.

Этой же ночью два несознательных бойца сбежали к немцам и все секреты выдали.

На другой день поутру смотрят наши воины — по дороге пылят два танка, за ними бронетранспортер и несколько грузовиков. Пока наши развернули орудия на новое направление, пока прицелились, танки остановились да как шарахнут по позиции, так всех земель и засыпало. Потом еще раз, да еще! Да прямой наводкой, да осколочно-фугасным!

Тут пред ними ворота ада и разверзлись.

Лейтенанта первым убило. В расчете у Карпа в живых остались только он сам и Петр. Остальные солдаты, кто оружие побросал и в лес побежал, кто раненый стонет, а кто уже отмучался. Пушки все вдребезги. Битва окончена. Наступила тишина.

Карп отряхнулся от земли и видит, прямо перед ним рука оторванная лежит, словно к себе подзывает. Смахнул он ту руку в сторону, нашел свою винтовку, подполз к опушке, замер. На дороге пыль улеглась, дым развеялся. Немцы спешили, окружили головной танк, обсуждают, как дальше быть. Петр тоже подполз, но без оружия, потерял под обстрелом. И тут неожиданно рядом выстрел — бабах! — какой-то шибко прыткий комсомолец очнулся и в одиночку начал «активную» оборону. А может, головой повредился, такое после обстрела тоже бывает.

И надо же такому случиться, что первым же выстрелом он попал в живот немецкому унтеру, кавалеру Железного креста, отцу троих детей. Солдаты как увидели, что их командира подстрелили, взревели от ярости, но попрятались за машины, стали пулеметы разворачивать.

Карп толкнул товарища:

— Бежим, Петруха! Сейчас они с пулеметов всё живое выкосят, потом пойдут в атаку и за своего унтера всех перебьют. Бежим, ничего мы тут не сделаем! Пускай этот псих с ними один воюет.

Петр встал и тут же рухнул как подкошенный — приступ начался. Скрутила его «грудная жаба», ни встать ни охнуть. Был боец, а превратился в обузу. Как с ним от погони уходить? Как в кино, на плечах тащить? Так далеко ли утащишь? Немцы-то лес налегке прочесывать будут, а как найдут, обоих пристрелят.

Мог бы Карп один уйти, и никто бы не узнал, что он односельчанин бросил. Мог бы, да и должен был бы уйти, но вспомнил он Маринку, вспомнил, как она учила его любви, и поволок Петра к оврагу. Зубы сжал, винтовку за спину забросил, подхватил Петра за ворот и так, пятясь раком, двинулся в чашу.

Только они добрались до ложбины, с дороги раздался гул бронетранспортера и грохот пулеметных очередей. Всё, пиши пропало — немцы пошли в атаку.

Карп дотащил товарища до склона, сбросил его вниз и сам спрыгнул, да неудачно, что-то в ноге хрустнуло. Слышит, стрельба совсем рядом. Оставил он Петра на дне оврага, у ручья, а сам, припадая на одну ногу, рванул в кусты, в болотце. Только за куст свалился, поверх оврага немецкие голоса — солдаты лес прочесывают, раненых одиночными выстрелами добивают. Вжался Карп в болотную жижу, лежит ни жив ни мертв.

Вышли немцы к откосу, видят, валяется внизу убитый красноармеец. А может, раненый, кто его знает. Им бы спуститься, проверить, но склоны у оврага крутые и грязные. А кому охота сапоги марать? Постояли они, почирикали по-своему да ушли собирать трофеи.

Как только немцы уехали, Карп выполз из болотца проведать припадочного дружка. А тот уже отошел, сел, покуривает как ни в чем не бывало. Карп сел рядом, снял сапог, пощупал ногу — плохо дело, похоже, сломал. Но делать нечего, собрались в путь — подальше от дороги, поближе к своим.

Два дня они блудили по лесу и в то же место вышли. Пока странствовали, Петр всё клялся, что до гробовой доски не забудет, как его Карп от верной смерти спас. А тот отмахивается, дескать, так бы любой на моем месте поступил. Не станет же он говорить, что каждый вечер только о Маринке и думает, и только ради нее Петруху спас.

— Я потом спрашивал Карпа, — дядя Витя оросил пересохшее горло портвейном, — коли ты так его жену полюбил, не было ли у тебя мыслишки пальнуть Петрухе в спину да занять его место на законных основаниях? Была, говорит. Да решил оставить все как есть.

И вот вышли они к своей разбитой батарее. Карп бредёт, на палку опирается, но винтовку свою на плече несет. Петр же с пустыми руками, как дезертир. Оба грязные, худые, оборванные. Обошли они место боя: там почти ничего не изменилось — пушки разбитые да мертвые валяются. Но кто-то, кто с первыми выстрелами в лес убежал, успел до них вернуться и у покойников все карманы вывернуть, все вещмешки перетряхнуть.

Сели Петр с Карпом на лафет перевернутого орудия, стали совещаться, куда дальше двигать. Тут как гром среди ясного неба приказ: «Встать! Кто такие? Дезертиры? Мародеры?» Они и оглянуться не успели, как вокруг них, с винтовками наперевес, встали красноармейцы. Командир их, офицер, пистолетом в лицо тычет, грозитя расстрелять без суда и следствия.

Петр поднялся, одернул гимнастерку и докладывает, так, мол, и так, мы артиллеристы этой батареи, героически оборонявшие от фашистской нечисти дорогу на город Воронеж. Товарищи наши пали смертью храбрых в неравном бою, а мы, вот, остались живы. Командир им не повелел, велел арестовать и сопроводить в особый отдел.

Так для Карпа закончилась Великая Отечественная война. После недолгой проверки его отвезли в госпиталь, но было уже поздно, кости на ноге срослись неправильно, и он на всю жизнь остался хромым. Петр вернулся в действующую армию.

Здесь я, друзья, хочу уточнить вот какой момент — за утерю оружия во время войны любому военнослужащему грозил трибунал или даже расстрел на месте. Петр и Карп вышли к своим с одной винтовкой на двоих. Как ни крути, один из них преступник. На первом же допросе Петр сказал, что винтовка эта его, а Карп свою, мол, потерял при обстреле. Ему поверили. И не сносить бы Карпухе головы, коли у него не начался бы жар от скитаний по болотам, да нога не была бы сломана. Это я к тому, что один другому клялся в вечной дружбе, а как к заднице прижало, так и продал товарища. В кино вам такого не покажут, а в жизни оно так.

Дядя Витя маханул еще стакан и продолжил:

— Наступило знойное лето сорок третьего года. Карп по-прежнему находился в госпитале, но уже не как раненый, а как работник хозобслужуги. Жил он в отдельной коморке, под лестницей, по выходным баловался водочкой, был равнодушен к женскому полу. Он уже позабыл про свои чувства к Маринке, простил измену Петра. В родную деревню Карп возвращаться не хотел и даже присмотрел одну санитарку, чтоб организовать с ней крепкую ячейку советского общества. Но тут из Москвы нагрянула комиссия и выявила, что один боец выздоровел, но все еще почему-то болтается при госпитале.

— Если он здоров, то почему не в действующей армии? — хмурился председатель комиссии. — А если он инвалид, то почему вы его до сих пор не комиссовали? Какого черта он у вас паек и денежное довольствие как раненый красноармеец получает? Да вы все под суд пойдете за растрату! Никакого порядка нет!

Начальник госпиталя в тот же день выписал Карпу документы и велел убраться куда подальше. Ни спасибо тебе за службу, ни медальки за неравный бой. Даже костыля в дорогу не дали — гражданскому не положено.

Карп покидал в вещмешок свой нехитрый скарб, попрощался с медперсоналом и уехал.

В деревне его встречали как героя. Целый месяц он столовался то у одной бабенки, то у другой. Ему, как вполне здоровому мужику, всякая была рада. И он был со всякой рад в кровать лечь — война ведь все спишет. Только к Маринке Карп близко не подходил, не хотел будить уснувшие чувства. К тому же, муж ее, Петр, был все еще жив и даже стал сержантом. Он как незримо стоял между ними, был третьим, и третьим не лишним.

Но как-то вечером Марина сама подошла к нему и зазвала в гости. Это был, надо заметить, их первый разговор после его возвращения.

В хате Маринка велела своей матери сходить погулять и, оставшись с Карпом вдвоем, протянула ему младенца:

— На, Карпуша, познакомься со своей дочерью. Ее Настя зовут.

Тут Карп Игнатьевич и сел где стоял. Он, конечно же, слышал, что Маринка родила девочку, но думал, что это или Петра дочь, или она нагуляла где-то. Пробовал он, честно говоря, считать, когда могла Маринка забеременеть, но с точностью до дня же не высчитаешь!

— Посмотри, Карпушенька, девочке в глазки. Видишь, какого они цвета? Карие! А мы с Петром голубоглазые. Это твой ребенок, Карп, твое семя. Все думают, что я где-то, пока траншеи рыла, с кареглазым мужиком переспала, а это ты был, Карп Игнатич. С одного раза ляльку заделал. Петр, кстати, уже писал мне, правда ли, что ребеночек родился темноглазый. Не подскажешь, что мне ему ответить? Что однажды вечером переспала я с двумя мужиками, и ребенок, в полном соответствии с законами Менделя, родился, унаследовав цвет глаз биологического отца?

— Да ты что, Витя, чушь несешь! — возмутились мужики. — Откуда в глухой деревне, да еще в то время, знали бы про законы какого-то Менделя? Или эта Маринка шибко умная была, начитанная?

— Тише вы! — дядя Витя даже пристукнул ладонью по столу. — Я про законы Менделя так сказал, к слову. Понятно, что о нем, в то время, ни Маринка, ни вообще никто не знал. Все-таки Мендель буржуйский ученый, а не наш, советский. Я сам про него только в лагере узнал, году так в пятидесятом. Был у нас в отряде один очень грамотный человек, перед войной сельскохозяйственный институт успел закончить. Он нам и рассказал, что если у голубоглазых родителей родится кареглазый ребенок, то всё, надо искать шустрого соседа. Но в деревнях-то и без всякого Менделя знали, что у голубоглазых родителей не бывает кареглазых детей. Закон природы, от него не уйти!

В общем, в тот же день Карп перенес к ней свои пожитки и объявил всем, что Настя — это его дочь. Родня Петра взъелась на них, но Карп пообещал всем морды набить, и они успокоились. Прошел еще год, и все забыли, что Петр и Маринка остаются законными мужем и женой.

Но все хорошее когда-то кончается. Наступил сорок шестой год, и Петр, живой и здоровый, с офицерскими погонами, демобилизовался из армии. Остановился он у родни, которая посоветовала ему плюнуть на бывшую жену и найти новую. А незамужних и вдовых женщин после войны было очень и очень много, на любой вкус, любого возраста.

Но у Петра, чего раньше не замечали, оказалась сволочная натура. Он и себя стал изводить, и Маринке жизни не давать. Все упрашивал ее вернуться, клялся, что забудет ей все обиды и будет любить дочку, как свою собственную. Маринка ему раз, другой объяснила, что останется жить с Карпом, что любит его и ничего в своей жизни менять не хочет. А что была когда-то Петру женой, так то быльем поросло. Но Петр не унимал-

ся, скандалил прилюдно, дебоширил, грозился убить Маринку. Карпу, естественно, это надоело. Он встретил бывшего товарища у сельсовета и пообещал, что если тот не оставит его семью в покое, то он сам Петруху на вилы насадит. Этот разговор слышали все, но большого значения ему не придали.

Снова они столкнулись прямо на Первое мая, после митинга. Вначале припомнили друг другу все обиды: один кричит, ты, мол, сволочь, у меня жену законную увел! А другой в ответ: а ты, говорит, вспомни, кто из нас после боя с оружием был, а кто без. Хотел, мол, меня «под монастырь подвести»? В горячке кинулись они драться, еле-еле растащили.

И вот, где-то через неделю, пьяный Петр приперся к ним домой и говорит:

— Марина, любовь моя, возвращайся, я все прощу!

А она в ответ:

— А что ты должен мне простить? Вспомни, кто меня под своего дружка подстелил? Не ты ли? А теперь хочешь меня шлюхой выставить? Пошел вон, вот и весь мой разговор!

— Теперь я понял, — закричал Петр, — ты, потаскуха, еще до того случая с Карпом снюхалась. Да ты просто б... подзаборная!

Маринка подскочила к нему, плюнула в лицо и дала пощечину. Петр рассвирепел, сбил ее с ног кулаком и выхватил наградной пистолет. Тут его Карп ножом в сердце и заколол. Итог — восемь лет заключения.

Я сидел с ним вместе под Воркутой. Он досрочно освобожден в пятьдесят втором году, а я попозже, уже после амнистии пятьдесят третьего года. Показывал он мне фотографию своей семьи: Маринка женщина обычная, пройдешь мимо — не оглянешься. А вот дочка — вылитый Карп. Тут закон Менделя сработал.

— Подожди, Витек! И где же твой рассказ о фронтовой дружбе? О любви ты рассказал, о долге тоже. А где про дружбу? — не поняли морали собутыльники.

— А суть вот в чем: дважды, как стемнеет, ходил Карп к дому Петрухи, хотел пристрелить того через окно. Дважды с ружья целился в его силуэт, но выстрелить не мог. Мол, уже стану на курок давить, и тут же вспоминаю, как вместе под обстрелом лежали, как немцы поверху оврага ходили, и всё — руки сами опускаются. Нет сил, мол, бывшего товарища убить! Вот она какая, странная фронтовая дружба!

— Это Маринка его зарезала! — воскликнул я. — А пистолет уже потом у мертвого вытащили и на пол подбросили! Так ведь?

Мужики прогнали меня, напутствуя нехорошими словами. На другой день мы покинули Кинешму.

СТЕКЛЯННОЕ СЕРДЦЕ

(Трагедия на пустом месте)

I

У меня стеклянное сердце. Пустое и холодное, точно у моей хрупкой, хрустальной игрушки. И что делать? Как жить? Ведь от этого не умирают. Если только сходят с ума. Особенно, когда часами разговариваешь со своей верной подружкой. С собой.

Вот и сегодня, с утра, началось...

II

Все женщины как женщины — нормальные тетки — стремятся найти богатого мужа. А по мне, что есть, то и есть. Лишь бы не пил. Правда, еще хотелось бы иметь друга. Пусть маленького, лохматого — хотя бы котенка. Уткнуться лицом в его теплые лапы, словно в уникальный, шерстяной, носовой платок, и забыть обо всем. Он — добрый, он — хороший, он меня поймет. Словом — друг.

Муж говорит, мечта должна быть большой и высокой. Короче, какой-то там неземной. У меня же — так себе, ерунда, мечтишка, пустячок, было б чем жить. Но я говорила себя: «Лизонька, солнышко мое, не грусти. Ведь у тебя же есть она, мечта-а-а. И никто на свете ее у тебя не отнимет!»

В нашем доме живем не мы — в нашем доме живут книги. Единственные, настоящие друзья мужа. Только они его понимают.

Вначале эти скромные жильцы бочком заползли на стол, переместились на подоконник и стулья. Однако вскоре в наглую заняли кровать и диван, с них перебрались на стеллажи. Потом поднялись до потолка, свешиваясь оттуда, подмигивали корешками. Теперь они — всюду. В этом доме мне нет больше места.

По этому бумажному, мертвому лесу ходят-бродят, чужие мысли. Ходят и чихают. И зачем они? Со своими бы разобратся. А тут еще приبلудные, вымытые с мылом. Всякую приобретенную книжку (особенно найденную на помойке) муж тщательно протирает влажной тряпочкой. Кошка тоже может... чихнуть. А если на его «стерильную» библиотеку попадет?! Ха-ха. Да сколько можно шутить? Дело, конечно, в другом. Ладно бы животное бегало, нюхало, хвостиком махало — в общем, интересовалось литературой — но, оно же линяет! Вдруг обложку захочет погрызть...

Муж, продолжая смотреть в книгу, неожиданно спросил:

— Ну, что? Разлюбила? Почему не подойдешь, не поцелуешь? А я соскучился. Опять от меня что-то скрываешь?

Похоже, начался допрос с пристрастием. Я ведь не просто чищу картошку. О чем-то думаю. А он и не знает. Но разве мои мысли не принадлежат только мне и Господу Богу? И я продолжила молчание.

— Небось, мечтаешь о новом муже? Или о любовничке? По лисьим глазам твоим вижу. — Уставился на меня взором пламенного чекиста. Испепелил-таки им. — Что? И сказать тебе нечего?

Однако вид его при этом был унылый, скорее даже плачевный. Я не ответила ему — произнесла приговор:

— Ты мыслишь, как сорняк, — голос прозвучал глухой, незнакомый, противный себе самой.

— Зато ты у меня стопроцентный ангелок. Ведь, ты так себя считаешь? И о чем только думаешь? Все о тленном.

Да, я сидела и думала. Да, о земном. О Машеньке.

У магазина «Пятерочка» я пыталась втиснуть новенькую кожаную куртку — мамин подарок. Такая была боевая задача. Нет денег.

И тут на меня уставились два васильковых блюдца. Пожилая женщина с внешностью генеральши предлагала прохожим Машу.

Создаст же Бог такое. «Васильки» ее были чисты и по-детски безоблачны. Длинная ватная прядь небрежно спадала на благородный лоб. Важная, толстая морда — плоский, пуховый, одуванчик, готовый разлететься во все стороны. Сумрачно будет на душе, дунешь на него, заглянешь в кошачьи «небеса», и невольно захочется улыбнуться мужу. Миру. Всем подряд.

Киса была кровей поистине королевских и ценилась по-царски. Опять за деньги продают живую душу.

Конечно, я не могла ее купить. Однако старая аристократка позволила мне взять на руки снежную принцесску. Я запустила пальцы под ее шелковую шерстку. Часто-часто забилося горячее сердчишко, глаза раскрылись еще шире и удивленное.

Глупо, конечно, целыми днями мечтать о котенке. Я ленивая, медлительная, и так ничего не успеваю: жить, работать, рожать — еще и Машку нельзя завести.

Ребенка Бог не дает, медицина молчит. Пусть будет хотя бы котенок... А у Маши такое осмысленное лицо — вовсе не морда. Мужу-то вообще никто не нужен: «Ну, куда? На крохотные наши метры?» Если бы ла... Господь изменил свои планы насчет моего ребенка — никому бы его не отда

Ночью я часто уплываю от мира в пустоту цветных снов. Порой вижу в них девочку с голубыми окнами глаз. Копия Маши. Точно ее родная сестра. Только не кошка. Там, во сне, она всегда моя...

* * *

Среди затянувшегося молчания колокольчиком оглушительно зазвонил телефон. Из него со всей неумной радостью устремился в мой дом приятель.

— Привет. Я приехал. Привез для тебя подарочек.

— Какой подарок? Когда вернулся? — растерялась я. — Привет.

— Тот, от которого, не сможешь отказаться. Очаровательный, изысканный. Как ты сама. Я всегда выполняю, что обещал. Пацан сказал — пацан сделал. Просила котенка — ну вот, получай.

— Из Америки? Котенка? Мне? Ничего себе... — крыльями пробудившейся бабочки часто-часто захлопали ресницы. Их теперь не поймать. — Мне-е-е. — И уже еле пролепетала: — Жи-и-и-во-о-ого...

Телефон задумался. Потом удивился:

— Ну, а какого еще?

Впереди радужной дымкой забрезжило будущее. Вдохнув свежий ветер оттуда, мне сразу стало чуть-чуть легче жить. Но я вспомнила о муже.

— А как же прививки? — тотчас предала свою мечту: может, все-таки, пошутил? — Животных в самолет без них не пускают. Вот!

Приятель вроде серьезный, умный — выпуклый лоб — а такую глупость сморозил: привез подарочек на мою голову.

— Да у них в Америке везде порядок: не успел родиться — сразу прививки. Это не наша матушка Расся.

— Кто он? Какой? — спросила я, чувствуя, что больше не в силах лишиться себя заграничного сюрприза. А в мозгу пронеслось: мягкий? пушистый? беленький? рыжий?! Сладко замирая, выдохнула:

— Мальчик или девочка?

Внутри раздался незнакомый, впрочем, когда-то слышанный мною голос: «О чем ты мечтаешь, деточка?»

Зато трубка рассуждала совершенно спокойно:

— Не знаю. По-английски что-то сказали — я не понял. Мне друзья американские выбирали: главное, породистого. Ладно, сейчас пойду под хвост посмотрю. — Из шарканий никуда не спешащих тапочек вытянулась для меня сама неизвестность. И уже из нее донеслось: — Девочка.

У меня захватило дух. Но разве я у Бога ничего не заслужила? Даже кошки? Ну, конечно, это она, Машенька. Пусть немножко другая. Пусть с пятнышком... Моя золотая...

— Такая сладкая красавица, никому не устоять, — елейным солоном разливался друг. — Соседи уже просят. Если ее не возьмешь, никому, говорят, не отдадим, себе оставим.

Да, она прекрасна. Да, конечно, умница. И ее в чужие руки?!

— Короче: забирай быстрее, — подытожил разговор мой деловой «американец». — Я ее кормить устал. Мелюзга, а жрет, как маленький

слон. Молодой растущий организм. И бегают повсюду, белогвардейская сволочь. Скачет, как саранча. По столам. По рукописям. Ничего святого — даже по книгам. По классике! Ну, просто хулиганка.

Бегают... По книга-а-ам... Действительно, бандитка... А как же подарок от Бога? Но, а как же, муж? Ему-то, зачем моя ураганная кош-ка? Делиться моею любовью с какой-то там блохастой, ушастой?! Когда самому ее мало?! Ни за что. Только он — мой хозяин.

Задумчиво повесила трубку и увидела солнце, стоящее за окном. Где-то в глубине души, назло всему, я продолжала оставаться счастливой. Ведь я уже любила свою Машеньку. Ее имя блаженной волной разлилось во мне, отогревая мое все разрастающееся воображение.

Я начинаю мечтать. Вот бредем мы по весенней тропинке старинного парка. Как я люблю солнце. Только не жару, спадающую с неба, а чистый его свет... Идем и смотрим на горящее сквозь листья солнечное пятно, как оно, пойманное, дрожащее, запуталось в сетке из молодых ветвей.

Нас — трое. Я, муж, Маша — в корзинке. Она увидит свой дом впервые; низкорослая «хрущевка» сразу за парком.

Вокруг зеленая тишина. Беззаботно летит себе по ней ветерок. Ею не надышаться, не напиться, как и весною. Тишина не разъединяет — связывает. Даже своим беззвучным молчанием. Тогда мои глаза — отражение его глаз... Здесь так хорошо, что хочется жить. Может, это и есть рай земной? А дома он будет?

Мы без удержу болтаем и кушаем конфетки. О чем? Да не важно, о чем.

Пушистая кошечка в корзине на лету ловит фантики. Уж больно умная. Вся в нас. Жаль, коты не грызут грильяж — но они же не белки!

И мы не ругаемся! Какой праздник...

Кажется, само Божье сердце тянется к нам золотыми нитями из синей бездонности неба. К нашим фантикам, к нашим душам. Сохранить бы в себе то весеннее солнышко, чтоб весь год потом цедить по тонкому лучику. А если б света его хватило на жизнь? Человек так жаждет счастья. Но разве минута «в раю» это мало? Очень, очень даже много.

Мысленно растягиваю нашу дорожку... Еще чуть-чуть, и мы научимся снова целоваться, смеяться, радоваться друг другом... Пусть дорожка будет как можно длиннее.

Для того, чтобы была эта наша теплая тропка, причем непременно была, нужно сейчас, обязательно сейчас, подойти, обнять, поцеловать мужа. Главное, не просить, ни о чем не просить. Будешь напрягать его — ни за что не сделает. Но он обожает, когда ему что-то дарят. Сразу приходит в щенячий восторг — абсолютно круглая счастливая физиономия. Так не вышвырнет же он свой подарок за шкуру на улицу?!

Решительно подкралась к нему на самых нежных «лапках». Но он спиной почувствовал меня.

— Ну что, нелюбящее меня существо? У тебя подозрительно хитрая рожица. Что опять натворила? Носик-то так и блестит от удовольствия. Ты хоть себя в зеркале видела? Вылитая рыжая плутовка.

Во мне все фыркнуло от обиды: сам-то хорош гусь. Для начала бы поднял на меня свои каменные очи, а потом рассуждал: что и почему блестит? Незаметно метнула взгляд в зеркало. В нем, словно в озере, застыло чье-то расстроенное отражение. Мое лицо?! Да, не таким я себе его обычно представляю... Ну и физия!.. Обтянутые скулы обезьянки; брекеты на неровных зубах; куриные перья на голове...

— Ты меня, «старого Ёзефа», не проведешь, — не дождавшись ответа, продолжил муж. — Пошто до моей души подрываешься? Что тебе от нее надо?

Умудренная в трехлетних семейных «боях» женщина учила во мне глупую девчонку: «Пусть себе говорит — а ты не возражай. Подлижись. Подготовь его». Однако меня уже несло «на всех парусах»:

— Зачем ты так со мной? Почему сразу — что-то надо? Почему — хитрю? Разве я не могу просто так к тебе подойти?

Для убедительности чистоты своих намерений приложила щекой к размякшей щеке мужа и отчаянно крикнула ему в ухо:

— Да, нам с тобой из Америки подарок привезли!

— Нам ли? Ты уверена?

Я затараторила все быстрее и быстрее, чтобы не успели перебить.

— Котенок! Пушистый, белый, красоты неопишуемой. Представляешь, просила сувенир на мою больную, кошачью тему — а он взял и привез настоящего.

Выпала и испугалась: сейчас опять наорут, запретят, «задавят» — короче, откажут. Однако решилась взглянуть на мужа. Его много. Его безумно много. Он поглощает собой все пространство: свое и чужое. Посмотрела — сразу стало не хватать воздуха. Расправить бы белые, большие крылья и улететь...

— Спустись с облачков. Вот, что ты умеешь делать? Расскажики свои кропать? А котенок, считай, — в доме ребенок. Ты хоть знаешь: у котов тонкая нервная система. Их даже по попе шлепнуть нельзя — а то везде гадить будут. Что моргаешь? Хочешь живую куклу? А ты готова отвечать за чужую жизнь? Я — нет.

— У меня не рассказыки, а крик души! И все я умею! Сама буду в тазике купать. Морду кошачьим шампунем мыть. И хвостик. И под хвостиком. Лапки после прогулки! — Вспомнила главное. — Шкурку чесать!!! Ни шерстинки на твои драгоценные книжечки не попадет. Клянусь! — Подумав, добавила: — Мур-мур.

Трудно человеку с одной планеты достучаться, докричаться до живущего на другой. Ой, как далеко-о-о до его души. И я уже орала в бездну между нами, чтобы меня услышали:

— Она — девочка!

— Ни мальчиков, ни девочек. И никакое мур-мур тебе не поможет. Даже не надейся: ни пушистых, ни лысых.

Кажется, голова на моих плечах готова запрыгать мячиком. Оторваться и улететь вместе со всеми проблемами.

— Ни американцев, ни наших, помоечных. Уж чего-чего, а такого добра в России хватает.

Мне нестерпимо хотелось схватить свою голову обеими руками. Чтоб не выскочили мои, никому не нужные, мозги.

Властно сошлись самовлюбленные брови супруга, сверкнули очи под ними. А я взяла и поцеловала мужа. Точно «клонула» в мягкий, податливый рот.

И точно впервые, он увидел близко мое несчастное лицо.

— Ладно. Хорошо. Ну, раз ты уж такая большая любительница животных. Тогда... Если только...

Солнечным зайчиком сейчас выпрыгнут из меня эмоции, и я, наконец-то, зацелую мужа. Ведь он только на вид суровый.

— Так и быть. Возьмем... рыбок. Заведем аквариум.

Какие там рыбки!!! С ума сошел — их же нельзя даже потрогать! Если только за хвост. А он скользкий, мокрый и противный. Глазенки-то у них — мелкие, тусклые; и под кожей не кровь, а вода. Но главное — нет тепла. От них идет один холод. Правда, и людей таких полно. Рыбу не прижмешь к себе, не услышишь стук из холодной, склизкой груди, не увидишь растопленный чувством зрачок. Им достаточно, чтобы любовались их гордыми, томными телами, вальяжно стоящими в водах. В общем, страшно несовершенные, чуждые мне твари. Их если только поджарить. Грустно, грустно...

Так что сиди и не рассуждай. А то ишь чего захотела, кошку, волю — не жирно ли? Рыбки и все тут!

— Вот сколько книг ты сегодня прочла? Что — опять некогда? Все твои проблемы от внутреннего неспокоя, — авторитетно заявил муж. — А все потому, что ты духовно не растешь. Где плоды?

Чудо ты мое бумажное! При чем тут духовность и количество прочитанных книг? Приходила ко мне во сне бабушка: щечки — мягкие булочки. Почему-то, знаю, зовут ее Мария Ивановна. Идем мы с ней по зимней, лунной дорожке, и мурлычет она мне в ушко: «Запомни, деточка: свет-то в человеке и есть главное. А живет он и расцветает от любви да еще дел добрых. Хорошо тогда от него на душе становится — солнышком она засветится».

С тех пор я все в человеке меряю светом. Особенно его чувства. Рас-
тить и лелеять надо любой огонек в себе, точно ранний, весенний цве-
ток, что может погибнуть, так и не дождавшись лета.

А вслух я только и сказала:

— Ты что, Бог? Видишь мою душу?

— Всегда вывернешься. Всё твои проклятые мозги. Во что ты пре-
вратилась: себя можешь потерять, глупая.

Правильно: слишком умничаю, потому... Ну, что ж, пусть буду дура.
А мне все равно. Я — бедный загнанный заяц, — лишь бы отстали, лишь
бы не трогали. Ведь ко мне уже явилась она, моя ненавистная гостья
со звериным лицом. Тоска! Я чувую ее, как собака хозяйку. Всякий раз,
когда меня не понимают, и я остаюсь совершенно одна в своем диком,
душном кольце одиночества, ко мне приходит тоска. И садится рядыш-
ком. Откуда она берется — не ведаю. Подозреваю только, что подни-
мается она из какой-то неведомой моей глубины, обнажая забытые,
старые раны. Вырывается и набрасывается, причем так быстро, что
и подумать-то ни о чем не успеешь. Сразу станет трудно дышать, гово-
рить, двигаться. Сил не будет даже повеситься.

Вот и сейчас эта разлюбезная гостья напала меня, словно хищник,
из-за угла. Заглядывая в лицо, дышит болотной гнилью. А целует — так
прямо в душу. Вместе с тем поцелуем, серой мышью вползает до боли
знакомая мысль: «Человек один-одинешенек на этой Земле. Так было
и будет всегда».

От тоски, как и от себя, никуда не денешься. Похоже, она — мое
наказание. Кажется, стоит мне чуть оглянуться, просто скосить
взгляд — непременно увижу ее наглуую рожу... Жадный, алчущий рот.
Большую, тяжелую, бычью башку. Она чудовище... Глаза — зовущие,
черные дыры. На дне болота которых что-то шевелится... Но, что?..
Пустота. Туда заглядывать нельзя, никак нельзя — иначе тоска сожрет
тебя. Затянет в свои вязкие топи уныния, высосет там ее всю, до капи.
И тогда тебе нечем будет жить. Останется только страх перед бу-
душим.

Я боюсь той вампириши, больше, чем ночной черноты. Впрочем, то-
ска и есть продолжение тьмы. Но я — храбрый трус. Все равно, ког-
да-нибудь возьму и решусь, брошу ей прямо в свиное рыло: «Свет —
сильнее тьмы. Иначе, не было бы жизни на Земле. Ты можешь замучить
меня — но для Вселенной ты всего лишь мелкая дрянь!»

Обмануть ее надо, голодную тоску. Не замечать — будто ее и нет. Ра-
ботать, работать, не поднимая головы. В том спасение. Не думая. Не
рассуждая. До изнеможения. Короче, хоть что-то делать.

И тут... стул — удар — вспышка... Улетаю ото всех. Я — сво-о-
бодная. Не трогайте мои крылья...

Вдруг — голос. Мужчина обнимает меня за плечи.

— Ну что ж ты на ногах-то не держишься? Я же не бил — только дотронулся до тебя. Слегка.

Муж наклонился, убирает разметававшиеся пряди с моего лба:

— Сиди, сиди, я сам сейчас чай вскипячу. Ты хоть помнишь: мы рыбок собирались купить? Ты меня понимаешь?

Единственное, что я понимаю: «Это мой муж. И он мой враг». Все остальное было за какой-то непробиваемой для сознания стеной. Что за мгновение проплыло мимо? Какое оно было огромное... И кто я? Где я?

— Ну, вот сколько раз тебе можно повторять: поставь чайник — и никакой реакции. Все витаешь по облачкам. Ну, вот где ты сейчас? Вернись. Ау? — Он стал целовать мое лицо. И я оказалась в нашей квартире.

Вот — кухня, как беседка из обоев в розах. Вот — я... Где я — там и мой дом... А может, все не так?

— Разве я у тебя хуже всех? — муж обмяк, сделался каким-то тряпочным, беспомощным. И где же его красивая самоуверенность? Казалось, он больше не знал, что ему делать и говорить.

— Нет, умереть мне уже не страшно. Ведь теперь знаю: после смерти — я буду ангелом.

— Пупсеныш — какая смерть? Я же — рядом, я — с тобой, — он притянул меня к себе, пытаюсь обнять.

— Еще хоть пальцем тронь — я не знаю, что с тобой сделаю. Убью, — неожиданно для себя я начала бить, бить, бить кулаками мужа. Из всех сил, словно лупила свою невезучую жизнь. А он не сопротивлялся. Тогда я остановилась. Напоследок слабо ударила в грудь. Казалось, постучалась в наглухо закрытую дверь, а все еще теплую от ударов. — Или брошу тебя.

— Но мы же будем дружить?

Муж осторожно стал дуть на мою покрасневшую «цыплячую лапку». Я вырвала у врага руку.

— Больше я не могу так жить, — и пошла звонить людям.

Весь оставшийся день бедный телефон бился за мою мечту. Может, кто-нибудь из знакомых возьмет ее на содержание? Тогда я смогу навещать свою Машу...

Нервной мутью заволокло небо. Его тугое полотно сейчас вот-вот прорвется белыми хлопьями. Тоска особенно страшна, когда уже днем начинают ползти сумерки, и метель ходит за окном. Заглядывает, скребется острыми коготками, стучится в дом бледными паутинными пальчиками. Жизнь зимой за душными стеклопакетами похожа на заключение бабочки в стеклянной банке. Тогда глазищи у тоски еще зеленее, еще острее. А до весны далеко, как до вечности.

Я звонила, звонила и смотрела на хмурые облака. Трубка уже горячая... Словно своей «телефонной» энергией пыталась пробить плотную занавеску неба. Дайте мне солнце! Я не могу без него жить. И любовь —

это тоже солнце. Только внутри нас. Пусть даже дружеская, пусть хотя бы к котам. И как же можно без нее? Люди, ну, возьмите котенка.

Ведь животное — от слова «живой». Значит, вечно что-то требующее от тебя, неутомимое создание. То оно ест, то бегаёт, то вякает. Может загрустить, расстроиться и тяпнуть сердитыми зубками.

Даже комнатный цветок ждет заботы и внимания. Растет себе, благоухает, не ведая хлопот, тянет к тебе лепестки — водички ему подавай, поговори с ним. Тоже Божье создание... Другое дело, чистенькие, миленькие компьютеры. Ни тебе грязи и пыли. Ни гав, ни фыр. Как интернетные боги, механические друзья, общаются со всем миром и ничего не требуют взамен. Если только... — твою бессмертную душу. Им ведь тоже надо чем-то питаться. А раз живые — значит, никому не нужны.

Моим предложением заинтересовалась лишь длинноногая приятельница. Девушка-растение: такой образ жизни. У нее муж-банкир и двенадцать кошек. В просторной кухне на Гороховой сказочный домик, у каждой мохномордой красавицы — отдельный этаж. Ведь у всякой твари должна быть своя личная жизнь. В их царстве-государстве — абсолютная чистота и порядок.

Встретились в кафе. Угостила чашечкой горячего шоколада. Но тут «растение» встrepенулось: теперь кошек станет тринадцать! Вдруг у них начнутся свои, кошачьи неприятности? Говорит, на меня не смотрит: а если... не только у них?

Даже маленький человек имеет свою мечту. Пусть тоже совсем маленькую, но для него все равно большую, великую и большую. Утрата ее — целая трагедия. И куда ему пойти тогда с нагрывшей на него бедой? Пустынно на огромной Земле. Кому он здесь нужен, кроме Бога и стремительно стареющей мамы? Я думала, хоть котенку пригожусь...

У дверей жар ударил в лицо. Сейчас войду и увижу мою красавицу. Прежде, чем окончательно потеряю... Что же потом — после того, как прижму к себе котенка, теплого, родного?.. А пойду и налакаюсь. Желательно в хлам. Типично русское утешение. Ангел, напившийся в хлам...

Роскошная квартира распахнулась длинным, холодным коридором. Хозяин с порога стал жаловаться мне и ныть:

— Девочка твоя, деловая такая — торшер чуть не уронила. А он новый, американский. Розовый!

Говорил он, как ни странно, не сердито и не расстроено. Даже чуть ли не прищмокивал от удовольствия, словно конфетку вкусную сосал. Только вот именно это его благодушие постепенно начинало меня почему-то раздражать.

— Ну, где же она? — крикнула в пустоту чопорного дома. В сапогах, в шубке, в вязаной ушанке, от быстрых шагов сбившейся на бок, я рванула в ближайшую комнату. Жадно зашарила взглядом.

— Да бегает тут где-то, — радостно блестел круглыми очечками «американец». — Жуткая проказница, — дружелюбно махнул рукой. — Сама придет. Куда она денется? Пошли на кухню кофе пить.

Я покинула дом гостеприимного друга, когда зимний день еще был в разгаре и улица серебрилась снежком. Хотелось позвонить мужу... Пусть он услышит нежное «мяу», а я — его успокаивающий, бархатный голос: «Ну, где ты ходишь? Совсем забыла обо мне?» Хорошо, когда тебя ждут...

Ненавижу подлое молчание. Не-на-ви-жу. Мне кажется, знают, что звонишь, — и специально не берут трубку. Опять тебя предают — и неизвестно за что.

Наконец будто кто-то ушипнул немой воздух, и он вздрогнул. Долгожданное, спокойное «Ало-о-о» прозвучало, как признание в любви. В ответ ему я протянула: «Мя-я-я-у». Ну, прямо-таки, кошачья драма.

Время замерло, и я поняла: хуже равнодушных гудков — когда в трубку дышат и молчат. Вдруг раздался рев раненого хищника.

— Ты что, ду-р-ра?! Совсем уж ненормальная!!! — Он рвался ко мне из мобильного. — Я же сказал: никаких котов! — Спасало только расстояние между нами. — Муж я тебе или кто? Так, прогуляться вышел?! Мое слово для тебя уже ничего не значит? Я — ничто?!

Голос уходил куда-то, становясь все более далеким, грубым. Вот он уже был за невидимой чертой, в чуждом мне мире.

— Муж — наместник Бога на земле. А ты что творишь?! — гудело из бесконечно черного туннеля, который никуда не ведет и в котором никто не живет. — Забыла? Ради тебя даже пить бросил. Да я каждый день молю Бога, чтобы ты меня любила! Небось, к дружку своему бегала жаловаться? А ты б ему сказала: не слушаюсь мужа. Да какая ты к черту православная! Сними свой крест и выброси! Ну, что? Попалась лукавая баба.

— А не попалась. А не поймает. А я сейчас уйду от тебя. Насовсем. И все, что останется после тебя — лишь ничтожное слово — почти прозвище — муж. — Я звонко рассмеялась. Жаль не в лицо ему. — Причем бывший.

Но, похоже, в том, другом, злом измерении, где муж был теперь, меня уже не слышали. Дыхание его голоса там и затерялось, остались одни лишь гневные гудки. Чудилось мне, что моя серебристая трубка продолжает плотвичкой вибрировать, биться в руке. Да и сама себя я ощущала все той же пойманной рыбкой, вытященной из воды. Хватает, хватается ртом воздух, а вдохнуть его трудно.

В те первые, медовые месяцы, возвращаясь с работы, муж едва слышно звал меня, почти пел: «Лизонька-а-а, свет мой. Отзовись». И я слышала его приближение даже сквозь стены мистической «коммуналки»

на Васильевском... Где оно «сиянье глаз, сиянье губ, души сияние»? Остались жить в том доме, на «Ваське»?

Теперь же, каждый раз, когда муж вот так кричал на меня — незаслуженно, впрочем, даже и заслуженно — он сразу становился мне совершенно чужим.

Из памяти услужливо выплыл «америанец», этот мой щедрый, ко-солапый рыцарь. Вспомнилось, как хозяин прошествовал королем из коридора в кухню. Затем на раскрытой ладони он торжественно вынес стеклянную кошечку.

— Специально для тебя по каталогу заказывали, — гордо доложил друг. — У них там с кошачьими сувенирами туго. — Зрачки его сыто поплыли. Ну, просто масляный кот, валерьянку заевший сметанкой. — А твой благоверный хоть побаловал бы тебя — купил бы какого-нибудь плюшевого голубого котика.

Мы выпили. Закусили сливочной коровкой в шоколаде. Наслаждались ароматно дышащим кофе. Напились до сердцебиения.

— Знаешь, а уже побаловали. Чуть не убили, — веселилась я.

Мой «сметанный» друг просто таял от удовольствия. Совершенно довольный собой, разыгравший меня мой башковитый товарищ. Хоть кому-то сделала добро — радость принесла.

Теперь у нас в доме будет два стеклянных сердца. У меня и у моей прозрачной подружки Машки. Но раз уже нас двое — значит, мы не одиноки.

Муж говорит: «Обязательно найдешь какую-нибудь лужу, сядешь и будешь рыдать над ней». В общем, дорыдалась. Сердце устало, остыло и затвердело. И лежит сейчас в своей яме мое стеклянное сердце и молчит. Не гуляют там восходы-закаты, не волнуются буйные ветры, не порхают бабочки. Зато сквозь него хоть мир виден. Небо, облака, трава, высокое солнце. При этом его, стекляшку, ничто не беспокоит. Время сонно и вечно: что живешь ты — что не живешь, что есть ты на белом свете — что тебя нет. И фиг тебя кто достанет. Хоро-шо-о-о то как...

А день вокруг стоял необыкновенно прекрасный и необыкновенно холодный. Он светился какой-то избыточной, нереальной красотой, из-за которой представлялся точно вырезанным из новогодней открытки. Казалось, сам Господь поцеловал мир, отчего тот засверкал, расцвел ярко-синим небом и бриллиантами свежего снега.

Тяжелый звонок вырвался на волю из короткой шубки.

Муж заговорил негромко, но четко, бережно.

— Ну... виноват я... Виноват. Кисюля-мисюля. Не сердись. Ну, тварь я, тварь. Опять сорвался — накричал на тебя. Ну, убей меня. Но согласись, ты тоже не права. Ты же обещала только посмотреть... Ну, ладно... Вези уж его, своего котенка.

Шестерка трэф

Столики прибрежного кафе стояли почти на кромке прибоя: их отделяли от волн только узкая полоса гальки, да приземистый парапет на перепаде высот набережной и пляжа. Чуть дальше в море широким плоским руслом впадала вконец обмелевшая к началу марта Вонючая канавка. По другую сторону начинался нарядный и пустой в несезон прибрежный «променад». Ветер топорщил летающим чайкам перья, задувал в хвосты и закидывал их вверх, к головам, словно пинками придавая охрипшим от непогоды птицам ускорение в полете.

Редкие прохожие по горделивой привычке южан брезговали шубами и шапками, дрожали, кутались в шарфы и обеими руками тянули вниз края своих кургузых курток. Ввиду небывалого для этих мест похолодания официанты предусмотрительно убрали с плетеных уличных кресел пледы и подушки, прозрачно намекая возможным клиентам, что садиться на «козырные» летом места, мягко говоря, не имеет смысла. Куда как лучше зайти в теплую продолговатую кафешную нутрь, туда, где призывно мигают глазки зажженных по случаю пасмурного дня светильников, а из динамика плывет ненавязчивая мелодия Далиды, заботливо оснащенная простенькими словами в чьем-то, весьма и весьма вольном переложении на местный, далеко не французский язык.

Оно и понятно: в такую погоду даже облаченным в теплые темно-серые свитеры официантам не улыбалось обслуживать клиентов на улице. Никто, к счастью, и не стремился на сквознячок.

Никто, кроме одной, не в меру морозостойкой бабуси, которая, как назло, регулярно являлась поторчать за прибрежным столиком часок-другой. Она возникала у кафе где-то на рубеже шести часов вечера, когда промозглость воздуха и серость неба особенно дают о себе знать, а в извечной борьбе дня и ночи на какое-то, пусть непродолжительное время, наступает паритет сил. Сумеречная гостья щеголяла черными лыжными штанами, выцветшей кожаной ушанкой и заляпанными глиной кроссовками. Если бы не блестящая норковая шуба и дорогие очки, эту чудноватую особу вполне можно было бы принять за нищенку. Вот уже третий день подряд вредная бабка плотно усаживалась в плетеное кресло и взгромождала на соседнее свой, судя по всему, увесистый рюкзачок. Затем она рассеянно поправляла на носу тонкую дужку очков и доставала толстый кожаный блокнот с золотыми петлями. Не снимая старорежимных перчаток-мите-

нок с открытыми наполовину пальцами, она погружалась в свои, судя по всему, крайне увлекательные записи: частенько кивала головой, словно соглашаясь с написанным, периодически одобрительно хихикала, изредка морщилась и, ловко орудуя смешной детской ручкой с фигуркой крысы на колпачке, вносила в текст какие-то правки.

Официанты наблюдали за ней, сгрудившись у тонированного стекла обеденного зала. И хотя в этот час других посетителей в кафе все равно не было, никому из obsługi не хотелось в угоду старушечки высказывать на холод. В результате, как и следовало ожидать, эта неприятная миссия доставалась самому неавторитетному — новичку Сереже. Этот худенький паренек, почти подросток, отчего-то казался несколько настороженным, готовым в любой момент броситься наутек. Возможно, именно поэтому, а вовсе не из-за имени, его и прозвали Зайчик Серенький. Зайчик только-только окончил школу и, с треском провалившись на вступительных экзаменах в столичный экономический вуз, отбывал в кафе время до следующего вузовского набора. Армия ему не грозила. Какие-то проблемы со здоровьем. То ли камни в почках, то ли тараканы в голове. Персонал относился к мальчишке неплохо. Однако официанты — все как на подбор здоровые парни без лишней зауми в голове — не спешили приглашать Серенького в свои, наполненные футболом, пивом и тачками разговоры.

Впрочем, работал Зайчик не хуже других, а может, даже лучше, непостижимым образом умея находить общий язык с самыми занудными и некомфортными посетителями. Вот и сейчас, он без лишних слов набрал в грудь побольше теплого воздуха и выбежал из дверей кафе, зигзагом проскакивая те несчастные десять метров тротуара, что отделяли вход от столиков.

Вредная бабка завела моду заказывать одно и то же: чашку черного кофе с восточными пряностями. Счет требовала сразу, что, Впрочем, ничуть не мешало ей посидеть на морском ветру еще часик, при этом она шурилась, словно сытая кошка в сумеречные волны, и периодически кидала косой взгляд в недра своего таинственного блокнота.

Зайчик рационализировал процесс. Он явился к бабке сразу с чашкой пахнущего гвоздикой кофе — чтобы лишний раз по холodu не скакать. Клиентка подняла голову и заинтересованно зыркнула на официанта поверх очков:

— А, молодой человек, погодите-ка чуток!

Она какое-то время пристально его разглядывала и наконец, удовлетворенно кивнув, продолжила:

— Присядьте сюда на минуточку!

— Холодно мне, не усiju, — растерянно пискнул посиневший от ветра Зайчик и для наглядности шелкнул пару раз зубами.

Бабка усмехнулась, и вдруг отчего-то показалась намного моложе своих лет:

— Давай, приземляйся, чувак! Если замерзнешь — можешь драпать без предупреждения!

Серенький едва не поперхнулся от такой смены тона и, словно заколдованный, опустился в кресло напротив. В тот самый момент, когда его тощая корма прикоснулась к почерневшему от морских ветров плетеному сиденью, свинцовые волны аритмично стучащего по правую руку моря приобрели глубокий изумрудный цвет, по-зимнему серое небо окрасилось тяжелой лиловостью майского шторма, а яркий закат, выстрелив для забавы вверх парой-тройкой колючих лучей, подсветил червонным золотом пенные гребни и кромки клубящихся туч. Ветер с моря, несший до того лишь горькую влагу йодистых водорослей, неожиданно приобрел цветочный оттенок, а кафешный динамик хрюкнул и сменил незнакомую маловыразительную песню на любимый с детства «Отель Калифорния». Тени от крыльев кружащих над набережной чаек очертили на стеклянной столешнице подвижный сетчатый узор, а по бордюру между столиками и пляжем с веселым лаем промчалась стая энергичных приморских барбосов. Ветер и волны бились в их развевающихся гривах, словно выпелы победителей на рыцарском турнире.

Одуревший от всех этих загадочных метаморфоз Зайчик поднял голову и узрел, что вокруг бушуют поздняя весна и теплынь, а в кресле напротив восседает, небрежно закинув ногу за ногу, модная барышня с короткой рыжей стрижкой и прозрачно-зелеными ускользящими глазами. В ее затянутых в старомодные митенки руках, Серенький разглядел тот самый кожаный блокнот с золотыми петлями.

Девушка усмехнулась:

— Не холодно? — участливо осведомилась она.

— Вы кто? — едва выдохнул Заяц.

— Я — почтальон, — снова усмехнулась барышня. — Если хочешь — клерк, канцелярская крыса. Прибыла по важному делу: мне необходимо осуществить возврат.

— Возврат чего?

— Одной твоей вещи. Ты, помнится, недавно неосмотрительно решил от нее избавиться. — Она раскрыла свой таинственный блокнот ровно посередке, как раз там, где пожелтевшие страницы были заложены старой игровой картой и сунула его прямо Серенькому под нос:

«...Все знаменитые древние армии, особенно, если они некогда были разбиты, не исчезают: так и бродят где-то, на туманных границах миров, словно иголки сшивая полотно разных реальностей...» — бросились ему в глаза темно-синие, слегка расплывшиеся строчки. Заяц почему-то отметил про себя, что потеряя карта-закладка, не что иное, как шестерка трэф, а ученическая клеточка страниц совсем не соответствует имиджу дорогого блокнота. Он слишком хорошо помнил, что писал эти строчки именно на таких вот листах: в толстой школьной тетрадке за тридцать восемь копеек, сорт высший, производство Обуховской бумажной фабрики, обложка мягкая, бледно-пороссячьего цвета... Да и почерк — аккуратные округлые букашки букв — тоже без сомнения был его. Школьные друзья тогда засмеяли «роман», да и журнальный редактор, помнится, мягко дал подростку понять всю меру его безграмотности и чванства...

Костерок из тетрадных страниц на пустыре за домом сгорел ярко, но как-то нехотя...

— Твое? — осведомилась между тем девица.

— Мое... Но как?

— Видишь ли, перед определением в Лету, все сожженные рукописи проходят у нас рутинную проверку. В большинстве своем, это чистая формальность. Какой только, знаешь ли, дряни не напишут люди! Но в некоторых, особых, случаях проверяющий находит нужным передать текст на читку Независимому Эксперту. В еще более редких случаях Эксперт может решить вопрос о возврате такого произведения автору...

— Зачем?

— Да потому что оно талантливо, балда! — Барышня сделала жуткие глаза. — А уж автор сам должен понять, что со всем этим делать дальше. Но предупреждаю сразу — рукописи, сожженные повторно, ни экспертизе, ни возврату не подлежат.

Зайчик вцепился пальцами в подлокотники так сильно, как будто боялся, что его, словно Фантомаса из гоночной машины, вот-вот катапультирует из кресла.

Девица с размаху шмякнула блокнот на стол перед ним:

— На, возьми! Опус тут твой, а шикарный гроссбух — наш поощрительный подарок. Там еще половина листов чистые. В тексте я малость поковырялась: присмотришь, если сочтешь нужным.

И она демонстративно покачала из стороны в сторону своей дурацкой ручкой с крысой. Зайчик мог поклясться, что в этот момент хвостатая разбойница на колпачке шевельнула усами и хихикнула. Затем девица-бабуся резко поднялась из плетеной глубины сиденья и исчезла.

Море и небо враз приобрели свои привычные свинцово-серые тона, солнце спряталось, а ноги Серенького окутал промозглый мартовский холод. Динамик поперхнулся и неожиданно взвыл голосом Фредди Меркури: «Show must go-o o-on!»

Зайчик нервно уставился на стол: блокнот в кожаном переплете с золотыми петлями, пожелтевшими листками в клеточку и расплывшимися на них мелкими чернильными письменами был на месте. Он воровато схватил его и зачем-то прижал к носу. Тисненая кожа пахла водорослями и йодом. Точно так же, как и ветер, что вот уже почти неделю без перерыва дул на город с неуютного моря.

1–2 марта 2012, Ялта

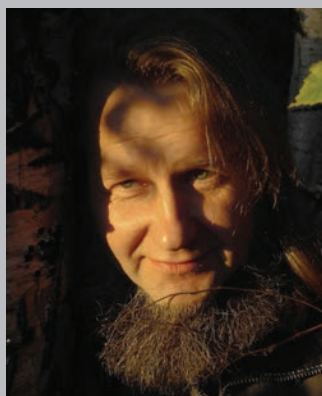
ПОЭЗИЯ



**Дмитрий
ГРИГОРЬЕВ**



Олег ЧУПРОВ



Игорь ГЕКО



Михаил ЯСТРЕБОВ



Игорь НИКОЛЬСКИЙ

Дмитрий ГРИГОРЬЕВ

ГОМЕР

...И море, и Гомер — всё движется любовью...

О. Мандельштам

Сколько стоит проезда, сколько лавра победный побег,
течёт из небес жаркий сок и слепой улыбается грек,
он видел гибель Патрокла, он трогал пяту Ахилла,
когда из любви на свет война выходила,

когда она поднималась ростками из нас,
когда она распускалась цветами из нас,
ветками взглядов торчала из наших глаз —
Троя погибла, никто никого не спас.

Грек подбирает обрывки горячих слов, потерянные в бою,
видит души чужих кораблей в корабельном раю,
лепит песчаных героев у самого края волны,
а мы проезжаем вдоль берега снова любовью полны.

ИОНА

Даже если выберешь море, всё равно вернёшься
и будешь жить, прячась под перевёрнутой лодкой,
под базаром подростков, сидящих сверху на её днище,
что пьют дешёвое вино, по очереди поднимая бутылку,
упираясь в горизонт её дном — линзой подозрной трубы,
и не видят тебя, вновь рождённого из пасти рыбы.

Они играют в волейбол, перемешивая пляжный песок,
оставляя тебе лишь игру света, проползающего сквозь щели,
обрывки слов, чужие песни, удары мяча в борт лодки,
пока твоя деревянная рыба плывёт в человеческом море,
и чешуйки масляной краски слизывает с её спины время,
пока она не выплюнула тебя на знакомый берег.

Потом будет много разных историй до очередной смерти,
засохнет дерево, выросшее за день над твоей головой,
ненависть твоя станет пустотой в сердце,
но пока оно трепещет, перемешивая песок и соль,
бьет хвостом, словно рыба, полная боли,
чтобы живым и пылающим словом однажды выйти на волю.

* * *

Я знаю, что
смерть боится
круглой коробки,
жестяной коробки из-под печенья,
похожей на маленький барабан.

Если прислонить ухо
к её голубой крышке,
можно услышать,
как шумит ветер,
как плещет море,
как ругань соседей этажом ниже
становится тише,
и многое другое.

Внутри коробки —
разная мелочь:
латунный напёрсток,
иголка, в ушко которой
не всякое пройдет слово,
катушки с цветными нитками,
и то, что было оторвано,
но можно пришить снова:

пуговицы от твоего платья,
давно ставшего тряпкой,
молния от моей куртки
с вечно дырявыми карманами
и рваными рукавами,
мелкие пуговицы,
петельки, крючки —

их можно даже не пришивать,
а просто жить-поживать,
пуговицами смотреть,
тянуть нитки взглядов:
твой — оранжевый,
мой — синий,
они переплетаются красиво
и всегда рядом.

РУДОЛЬФ II

За стеной моей тихо
живёт Тихо Браге,
За стеной моей комнат не счесть,
где каждый шаг
это знак на тайной бумаге,
и каждый выдох — благая весть.

Над городом тихо
вращается небо,
Тихо Браге втыкает трубу
в непослушный небесный свод,
уголь волос моих
тлеет серебряными огнями,
и в коридорах пустых
тихо время плывёт.

Тихо Браге на башне
ловит чужие звёзды,
что ему до сырых подвалов,
до тяжёлого золота снов,
до бессмертья, которого мало
даже в чудесной Праге,

где за стеной моей тихо,
Тихо Браге живёт.

Деревенская гроза

Из бездны ночи грянул гром.
Над горизонтом ветка молнии
порвала небо с треском,
зловеще осветила рощу за бугром.
Гроза обрушилась на Землю.

Стёкла дрожали, подоконник тёк.
Гроза вгрызалась в крышу дома:
скреблась, мяукала, шипела мертвецом,
выплёскивала сельдь на землю
из дубовой бочки.

И я под бурей чувств,
как кот чеширский мок
и бредил оглушённый в одиночку.
В моей ладони трепетал испуганный
комок — рыжий взъерошенный котёнок.

Она вбежала в дом промокая насквозь.
Её горящие глаза пронзили меня в душу.
С её опухших губ я пил брусничный сок,
с груди крыжовник хрупкий кушал...

Свеча горела. На кожу капал воск.
Гроза раскачивала дом той тёмной ночью.
Пронзительную свежесть её жгучих слёз,
её голодную любовь до гроба буду помнить!

Заря немой свидетелем через забор
заглядывала. Торчало пугало из огорода.
На волнах клеверного моря качался горизонт.
В пучине туч двурогая луна тонула.

Гроза прошла
втоптав бесят по глазки в грязь.
Светилась радуга над косогором.
С порога ласточка рванула в небеса!
Пахло сырой землёй и чёрною смородой.

Промокшая до косточек насквозь,
берёзка-девочка в струйках волос,
в коротком платице и босиком
листочками голосовала у дороги.

* * *

Чтоб в бездну бессловесную не стгнуть,
возьмусь за старое опять — в доверие
холсту вотрюсь щетиной кисти.
С палитры слизывая жареных опят.

Из тюбиков повываив
сырую жухлость листьев!

Расплёскивая жемчуг радости на стол,
налью по кромочки — и даже с горкой.
Горелой корочкой занюхаем, а стопочки
об пол! Восхвалим новый день,
помянем прошлый!

* * *

Обсели голуби мне голову и плечи.
Я в этом птичьем городке всегда навеселе.
Что я скажу, когда Его на улице
случайно встречу?

Птенцу хохлатому преподнесу поесть.
Мне подарили жизнь, чем мне ответить?

Поговори со мной на птичьем языке.
Я, как и ты, по-человечьи не умею,
мне по теченью легче течь.
Полей меня из лейки, если ты предтеча.

Я Библию читал, когда на свете не был.
Теперь сами собой листаются страницы лет.
Птенцу хохлатому преподнесу поесть.
Воркуют голуби, клюют с рук хлеб.

Мне подарили жизнь, чем мне ответить...

В мой городок затёк
вишнёвый тайный Вечер.
Что я скажу, когда Его случайно встречу?

Душа поёт! — когда её слушать умеют.
Послушным быть хочу — и верить.
Так научи меня, нахохлившийся,
Непосредственный птенец!

* * *

Реален Мир, и этот миг,
и этот летний вечер,
и шелест листиков-монет,
и даже, выплывший из зелени
на крыльях слепень.

Реален свет мерцающий
во тьме, в том склепе насекомых,
где мы с тобой укрылись на чердаке,
В сиянии луны ты свечкой теплилась,
стекали бледным воском твои плечи...

Реален человек стоящий на крыльце,
прикуривающий возбуждённо сигарету.
В сиренево-пушистой полумгле
дымится, тлеет человечек,
словно головешка.

Тень удлиняет его сутулый силуэт,
лишь подтверждая, что он предметен.
Необъяснимое, невыраженное
он затаил в себе. Всё гуще
сумерки и ближе небо...

* * *

Когда оркестр играет духовой,
Ты о родимом доме вспоминаешь.
Не слухом, а душой воспринимаешь
Всю силу этой музыки живой!

Вот вспыхнула — салютом над Невой!
Звучит труба, на битву призывает...
И вся судьба проносится, бывает,
Когда оркестр играет духовой!

Не смять эстрадно-сорною травой!
Победный марш
Звучит светло и строго!
Пусть на миг, душа взлетит до Бога,
Когда оркестр играет духовой!

* * *

Не с луны ли ты, часом, свалился?
Что — стихи, если всё кувырком!
Век сегодня как будто взбесился
И грозит — сам себе! — кулаком!

...День прошел.
Ночь тиха и безлунна.
Лист бумаги.
Свеча в полутьме.
Вся политика
нынче безумна,
Лишь поэзия —
в здравом уме!

* * *

Странно мы живем сейчас,
Как-то бестолково...

Но ведь было же у нас
Поле Куликово!
Вспомни, друг, Бородино
И на Волге битву!
Чтоб не падали на дно,
Сотвори молитву!
Путь нелегкий предстоит,
Но — по Божьей воле —
Посмотри:
Уже стоит
Ратник в чистом поле!
Понапрасну не зуди:
Дескать, путь неведом...

Не по бедам Русь суди —
По ее победам!

* * *

Новая музыка —
в новое время!
Ритмами взятое в плен,
Племя младое,
Как древнее племя,
С воплями скачет вдоль стен!
Куцые мысли
прокисли,
как тесто,
От выделения слюны.
Нагло выходит
на первое место —
Место пониже спины!
Вот и беснуется
племя младое,
Русский напев позабыв,
И отбивает бездумно ладони
Под примитивный мотив...
Мальчик попсовый
в экстазе трясется,
Зал завывает во мгле.
И ошалевшая ведьма
несется
На микрофонной метле!

* * *

Памяти Б. Т. Штоколова

Как будто бы
 вольного сокола
 Из рук выпускает в полёт —
 Ошеломляющий
 Штоколов
 О русском раздолье
 поёт!
 И зал, подпевающий
 шёпотом,
 В едином порыве
 вздохнёт,
 Когда потрясающий
 Штоколов
 Всем
 душу
 перевернёт!
 Гудит его бас,
 словно колокол,
 Сбережь
 то, что свято,
 зовёт!
 О прошлом и будущем
 Штоколов,
 Как витязь былинный,
 поёт!
 Кастраты эстрадные
 в локонах,
 На сцену
 нахлынувший сброд,
 Уймись и сгиньте!
 Сам Штоколов
 О русском страданье
 поёт...
 Он рядом, как прежде, —
 ведь Штоколов
 Поёт о великой стране!
 ...Тень
 маршала Жукова
 около
 Застыла
 на белом коне!

ИМПЕРАТОРСКИЙ ТЕАТР

Снова Невского оскал,
Снова ты, Александринка,
И привычно полон зал,
Точно охтинская крынка.

— Лучше Кукольника нет!
— Бомарше такой задира!
Императорский театр,
Комильфотные вампиры.

Императорский театр,
Может, завтра на галёрке
Хоть один не будет глух,
Хоть один найдется зоркий.

Императорский театр,
По огню всегда босая.
Ах, весёлый Бомарше,
Клевета всё потрясает.

Под властительной рукой
Быть покладистой и кроткой?
Императорский театр,
Петербургская чахотка.

Вот и кончен водевиль,
Можно плакать без суфлёра.
Императорский театр,
Как всё скоро. Ах, как скоро!

Императорский театр,
Вот и песенка допета.
Как Ленору, мчит тебя
В ночь зелёная карета.

Хутба Руми

*Высматривающий воду в пустыне — познания его
о той воде, что есть в морях, не заставят его
прекратить её поиски в пустыне, и будет
он усердствовать в поиске воды этой жизни...*

Джалал ад-дин Мухаммад Руми. «Маснави-йи манави»,
предисловие к третьему дафтару¹.

По пескам, сухим от века,
Глаз не прячущий от ветра

Путник, шедший издалёка,
Видит вдруг с горы высокой

Моря коврик ярко-синий,
Дерзко спорящий с пустыней.

Догадается отважный
Не поддаться гнёту жажды.

Станет он спиною к морю,
С миражом Шайтана споря.

Чтобы влаги зачерпнуть,
Вглубь песков направит путь,

Там отыскивать следы
Мудрых, жаждавших воды,

На тропе, что скрытно вьётся
От колодца до колодца.

СТРАННАЯ ВЕСНА

Полине и Петру

Взгляните в глаза мне,
Случайный прохожий.
Сегодня мы с вами
Случайно похожи.

¹ Перевод с арабского О. Ястребовой

Устали от слов
И от зимних обид.
Нам ли бояться
Мартовских ид!

Ах, чёрт побери,
Вот уж встреча
Так встреча!
Прошло столько лет.
Что спрошу?
Что отвечу?
Ведь это я сам, —
Но какой молодой! —
В подтаявшем марте
Встречаюсь с собой.

Сегодня впервые
Мы сходимся вместе.
Такая весна —
Всех времён перекрестье.

Ручьями текут,
С окон зиму смывая,
Литейный проспект,
Соляной,
Моховая.
Текут сквозь календы,
Сквозь ноны и иды.
И вновь продолжаются
Странные игры.

Серьёзным,
Отчаянно взрослым ребенком
К нам в марте волшебном
Подходит сестрёнка.
И странности дня
Сразу стали заметней
В ней,
Так оглушающе
Двадцатилетней.
И те же в глазах у неё
Изумруды.
И в пальцах оттаяли

Черни этюды,
И в звоне ресниц
Мы, конечно, сумели
Узнать
Недоученный танец Равеля.

Вздыхает: «Теперь
Я надолго в ответе
За хвори и смерти
Всех кукол на свете».

Всё будет опять,
Как в сегодняшнем марте:
Сейчас улыбнётся
И спросит о брате.

Мы с нею поделимся
Новостью свежей:
Он к нам,
Он навстречу,
В истоках Разъезжей,
Свечным,
Где февраль на сугробах уснул,
Как северный тропик,
Проходит весну.

Насмешлив, встревожен,
Немыслимо худ
От долгой зимы,
От любви и простуд.

И мы, улыбаясь,
Стоим вчетвером
На мартовском солнце.
Всё будет потом.

Пока всё в порядке,
Мы в самом начале,
Ещё не дожили
До главных печалей.
Они ещё только
Выходят на старт.

Их держит за плечи
Подтаявший март,
В апрель не пуская,
Не портя нам лета.

Потом полетят,
Понесут эстафету,
И мы не минуем из них
Ни одной.
Но всё это будет
Другую весной.
Не той,
Где мы трое
На карточке сняты
Весной,
В середине шестидесятых.

Но в сторону смотрит
Случайный прохожий.
Так что же мне делать с весной?
Так что же?

Игорь НИКОЛЬСКИЙ

* * *

Тамбур плацкартный. Ночь за окном бежит.
Голос вагона — лязг и спросонья вздохи.
Вот и еще один путь мной почти прожит.
Вот я опять с дорог подбираю крохи.

Скоро Москва, столичный водоворот...
Как Петербург, но яростней и наглее.
Рядом — окошка чуть приоткрытый рот.
Вместо зубов — побитые жизнью ели.

Тусклая лампа, в принципе, не нужна,
Но киловатты жизни вагонной светят.
Точно не зная, какого я здесь рожна,
Слушаю поезд. Может быть, он ответит.

Версты стремятся рельсами в горизонт...
Рельсы — вот мой характер: спрямляют горы.
Честно иду я сквозь лабиринт времен,
И за спиною рушатся коридоры...

Паспорт с билетом растягивает карман,
Пятнами света проносится поезд встречный.
Скоро сходить, впрочем, все это — лишь обман.
Только могила станет моей конечной.

Жизнь моя — поиск. Мир — как глухой чердак.
Можно найти фотографии, книги, карты.
Видимо, я всю жизнь простою вот так:
Едучи к новым далям во тьме плацкартной.

* * *

Говорили мне люди — найдешь себе только беду,
И по лестнице в небо залезть можно лишь на чердак,
Но на то мне и мозг — чтоб метаться в любовном бреду —
И горящее сердце, чтоб чувствовать — я не дурак.

Говорили сердито — оставь этот гибельный путь,
Не получишь медалей, очаг твой засыплет земля,
Но медали — не звезды, что лягут любовью на грудь,
И очаг — не теплее, чем сердце, что греет меня.

Все попытки сорвать этот бег были обречены —
Слишком сильно я верил, что здесь не могу проиграть.
Говорили вы мне — не вернешься ты с этой войны!
Но на войнах не всем суждено от любви умирать...

Говорили мне люди — не лезь, не беги, не кричи,
Все пытались заставить принять очевидный совет.
Нашептали, что Бог мне не выдаст от счастья ключи,
Но мой Бог — не вахтер, чтобы ключи отдавать или нет.

Пожелали, чтоб жизнь моя стала похожа на бред,
Но бороться с желаньями вашими я не устал.
Говорили, что я пожалею, плевали мне вслед,
Но копь в спину плюют — значит, точно я всех обогнал.

* * *

Столь знакомо мне чувство отрыва от отчего дома,
Что не вижу причин я, чтоб к ночи туда возвратиться.
Я пойду наугад по дорогам, что смутно знакомы,
И заметят меня только низколетящие птицы.

Тихим камнем скачусь, пролечу миражи-переулки...
Я не то чтобы в ссоре с женой, что опасно вернуться —
Нет, ничуть... но июльские грезы сегодня так гулки,
Что раскручен мой мозг, словно яблочко в сказке на блюде.

Вновь потянет туман, шелестнувший из-за поворота...
Я вбегаю в него, расплескав черно-белые лужи:
«Разойдись, покажи свою сущность!..» ...хихикает кто-то...
Я заметил, что улицы стали кривее и уже,

Покосились дома, и деревья как будто не прямо,
А по странной дуге тянут пальцы зеленые к небу.
Я давно этот город не видел столь дерзким и пьяным,
Размывающим собственный облик другим на потребу.

Словно целый квартал кем-то вылеплен из пластилина.
Пятилетний ребенок скрутил эти стены и башни,
Постаревших зверей и богов на замшелых лепнинах,
Чтобы я их нашел между завтрашним днем и вчерашним.

Пятилетний ребенок мизинцем прорыл здесь каналы,
Сделал мостик из спичек — хоть детям они не игрушки.
Он по небу разлил серо-синий, зеленый и алый,
И трясет их порою хлопком петропавловской пушки.

Пятилетний ребенок ведет меня дальше и дальше.
Вместе с ним в лабиринте не страшно, а даже забавно.
В тихом голосе нет всем привычной, стеснительной фальши,
И душа его всем вопреки не закрыта на ставни.

Полутемные улицы глядят подошвы шагами,
Словно бы для меня они ночью совсем опустели.
Развернув переулков запутанное оригами,
Я под утро найду себя спящим в привычной постели.

* * *

Мир изменился. Ты жаждешь его возвращения?
Он не придет. Он погиб, несмотря на приказы.
Люди на площади ждали народного мщенья,
Люди в погонах душили ипритом проказу...

Мир изменился. Основы забыты в погоне.
Там, за рекою, вдали люди ищут маршруты.
Новая жизнь родилась в несмолкающем стане,
Новая жизнь прорастает на тысячах трупов.

Мир изменился. Осколки фамильных сервизов
Вымели ветры, листая слепые страницы...
Новое время рисует нам кровью эскизы
И заставляет уехать в Берлин или в Ниццу...

Мир изменился: вчерашние тихие пешки
Нынче штурмуют вокзалы, мосты, телеграфы...

Скрипом петельным разбужены в яростной спешке —
Молча с портретов уходят картонные графы...

Рвутся года белым парусом с выгнутой реи —
Скоро рассвет, просыпайся, невинная соня!
Мир изменился!
Пойми же его поскорее.
Или ты будешь расстрелян за то, что не понял.

* * *

Наверное, мечтать опасно. Но все-таки я мечтаю —
Мечтаю о ярких звездах на башнях больной Москвы,
О том, что в рассветном солнце когда-нибудь я растаю,
О том, что мне хватит духу однажды пойти «на вы».

Наверно, мечтать опасно. Ведь сотнями погибают
На войнах и в пьяных драках мечтатели, дураки...
От берега в даль слепую их камешками кидают,
И волны бегут кругами по гладкой спине реки.

Конечно, мечты нас губят, но свеч этот покер стоит,
Ведь можно повысить ставку и выиграть на века
Бессмертие Магеллана — незыблемое, простое.
А после — лежать спокойно, как в книге лежит строка.

Вы правы: мечты нас губят. Но я не хочу иначе.
Я — камень. Я пущен к Солнцу, параболой вниз влеком.
И пусть не такой же яркий, и пусть не такой горячий,
И пусть мне лежать в палате кровавым, немым комком —

Ни разу не пожалею! Пускай очевидно все вам,
К мюнхгаузеновской пушке уже поднесен запал —
И я упаду свободным, всезнающим и веселым,
А к старости — разберемся, кто ниже из нас упал!

Посвящается Вольфгангу Борхерту

Никто не верит, кому-то смешно до слез,
И все же слушай, что я расскажу тебе...
Поверь, пожалуйста! Это со мной сбылось!
Раскрыт мой рот в бесконечной немой мольбе.

Мне страшно здесь! И — особенно — по ночам.
Проклятый холм содрогается, будто жив,
Его ладони скользят по моим плечам,
Пусть после смерти, но все-таки задушив...

Ольха корнями вползает в провалы ран,
Истлевший танк издает дребезжащий стон...
Мой гауптман (он для них — капитан),
Зарытый рядом, глядится в свой сладкий сон.

Он твердо вел нас к победе! Поверишь ли,
Его слова до сих пор для меня — закон.
Согласно плану, мы в хаос, как в лес, вошли.
Весь полк мой был этим хаосом поглощен.

И я лежу, замирая от злых чудес,
Минуту, две, а придется — бессчетный век.
Лишь воет лес, потому что он русский лес.
И снег кричит. Потому что он русский снег.

Я был убит. Над Россией плыла зима.
Дружище Вольфганг молчал надо мной навзрыд.
Меня зарыли на той стороне холма.
Никто не помнит теперь, кто и где зарыт.

Земля промерзла, и я в ней насквозь промерз —
Войной нельзя ничего никогда согреть,
И мой, завернутый в простыни, хилый торс
Мне кажется, вылез из тощей земли на треть.

А впрочем — пусть... Все равно не вернусь назад.
Не важно, был я «хороший» или «плохой» —
Я умер. Умер, как сотни других солдат,
И вот — лежу под печальной, больной ольхой.

А мой товарищ, сумевший подбить КВ,
Навек остался под брюхом его литым,
И до сих пор, относимый слегка к Москве,
Плывет над нами удушливый жирный дым...

ВЗГЛЯД



Ренэ ГЕРРА

Интервью с Ренэ Герра

Ренэ Герра, французский филолог-славист, коллекционер-собиратель русской культуры, «русский француз», «пленник русской культуры», «белогвардеец в душе»... — какими только эпитетами не награждали журналисты и писатели этого человека, внесшего неоценимый вклад в сохранение русского культурного наследия, преимущественно первой волны русской эмиграции в Париже. «Феномен российской эмиграции не имеет аналогов в мировой истории... — так охарактеризовал это трагическое время Олег Михайлов. — Расплеснувшись по всему миру — от Берлина и Парижа до Харбина и Шанхая, — эта эмиграция оказалась самодостаточной, просуществовав как нечто целое, при всей специфике каждого ареала, до начала Второй мировой войны». В эмиграции оказались писатели и журналисты, философы, ученые и политическая элита царской России, артисты, музыканты, композиторы. Они оставались верными родине, русскому языку, издавали журналы, например, «Современные записки» в Париже, создавали русские национальные культурные центры, например, «Чураевка» Г. Д. Гребенщикова в Нью-Йорке, и оставляли бесценное наследие — архивы, которые (увы!) в то время были не нужны советской стране, как, впрочем, и странам, их принявшим. Париж, Берлин, Прага, Белград, Гельсингфорс, Харбин, Нью-Йорк, Варшава, Рига, София, Рим, Константинополь — вот где остались или были уничтожены временем и войной следы и ростки эмигрантской русской культуры, не признаваемой советской страной, за редчайшими исключениями, конечно, вроде И. А. Бунина, А. И. Kupрина.

Времена изменились — изданы десятки книг и сотни статей по культуре русского зарубежья: «Русский Харбин», «Русский Париж», «Русский Нью-Йорк», «Русский Берлин», «Русские в Англии», «Диалог поверх барьеров» Ю. Азарова (М., 2005) и др.

В центре же русского зарубежья — Париже — сохранению наследия русской эмиграции посвятил свою жизнь Ренэ Герра. Его библиография впечатляет: «Жаль русский народ», М., 1992; «Они унесли с собой Россию...». «Русские эмигранты — писатели и художники во Франции: 1920 — 1970», СПб., 2003, изд. второе,

исправленное и дополненное, СПб., 2004; «Младшее поколение писателей русского зарубежья», СПб., 2009. (Избранные лекции Университета; вып. 98); «Б. К. Зайцев — последний классик русской литературы», СПб., 2009; «Семь дней в марте. Беседы об эмиграции с А. Ваксбергом», СПб, 2010; «Когда мы в Россию вернемся...» СПб., 2010. На подходе — очередная книга слависта-собиранателя, почетного члена Российской академии художеств, награжденного орденом Дружбы народов.

Ренэ Герра частый гость в России; выступал он и в Российской национальной библиотеке в рамках Культурного форума на встрече, посвященной животрепещущей теме продвижения книг читателю. После его сообщения я обратилась к нему с просьбой дать интервью журналу «Аврора». Доброжелательный, открытый в общении, он сразу и легко согласился.

Ренэ с женой Ириной приняли меня, Татьяну Лестеву, с главным редактором журнала В. В. Новичковым в квартире на Песочной набережной. Встреча началась с ознакомления с альбомом «Герраккола» — книгой отзывов и пожеланий, которую ведет Ренэ Герра.

Р. Г. Вы знаете, что у Чуковского была «Чукоккала». А когда я встречался с Ириной Одоевцевой, она мне посоветовала начать вести «Герракколу», книгу автографов людей, с которыми я встречаюсь. Вот здесь у меня автографы литераторов Белгородского университета, а вот это мне написали екатеринбуржцы. Я только что вернулся из Екатеринбурга, где читал лекции по их приглашению. Зал был полон. Что меня поразило — пришли студенты, казалось бы, далекие от литературы люди. А интересуются...

Т. Л. Что касается студенчества, то это естественно. Молодежь всегда хочет все узнать из первых уст. В одном из интервью вы сказали, что к интересу к культуре России вас привел его величество Случай — встреча с шофером такси, русским эмигрантом Чижовым. А вообще случай или судьба играют в вашей жизни определяющую роль, или вы человек целеустремленный, решающий, по словам Маяковского, «делать жизнь с кого»?

Р. Г. Я верю в предопределение и случай. Нашлись люди более полувека назад, благодаря которым я познакомился с культурой России, стал увлекаться ею, заинтересовался Советским Союзом. Вообще говоря, интересу к России я обязан Октябрьскому перевороту. Это моя личная трагедия и драма — я посвятил свою жизнь русскому языку и стране, которой уже не было. В десять лет я изучал латинский, греческий, немецкий, английский языки. Вторая половина 50-х годов, русской эмиграции уже больше тридцати лет. Кому и зачем нужен русский язык в это время? С таким же успехом я мог изучать китайский язык. А изучал русский. Это был

зов души. И поэтому я поехал в Париж, в Институт восточных языков, а в 1963 году я поступил в Сорбонну.

В. Н. Вернемся назад, к вашему детству. Мама преподает математику в гимназии. У вас — русская учительница, она дает вам уроки по русской азбуке.

Р. Г. Дама пришла к маме с просьбой позаниматься с ее дочерью математикой. Бедная эмигрантская семья, денег для оплаты уроков у них не было. И тогда взамен она предложила учить меня русскому языку. Мама согласилась. Я учил язык по азбуке.

В. Н. Сейчас бы сказали, что у вас был бартер. И в одиннадцать–двенадцать лет вы уже знали наизусть стихи Лермонтова, возможно, не всегда понимая их смысл.

Р. Г. К счастью, я изучал русский язык не в лицее. Меня интересовал быт эмигрантов, в Ницце и Каннах их было много. Это был как проходной двор. Белая эмиграция. Им в то время было лет по шестьдесят. Эти люди доживали свой век на чужой стороне. И я окунулся в их быт, полюбил русский язык. Мама даже ревновала, что я часто проводил у них время. А дальнейшее знакомство с эмиграцией продолжилось в Париже. Представьте себе, что полвека назад я общался с современниками Антона Павловича Чехова.

Т. Л. Американский славист Дж. Биллингтон определил символ России как «Икону и топор». Пожалуйста, прокомментируйте это высказывание. Насколько нам известно, этот символ имеет определенное значение среди англо-американских славистов. Хочется узнать ваше личное мнение.

Р. Г. Я не английский и не американский славист. Я вижу русскую культуру не со стороны, а в русских, изнутри. К ней у меня подход чисто литературный, художественный. Если же говорить о символах, то я за икону, а не за топор.

Т. Л. Несмотря на то, что ваша фамилия Герра, то есть, война?

Р. Г. Я вне политики.

Т. Л. Но тем не менее вам пришлось столкнуться с политикой. В беседах с А. Ваксбергом, изданных у нас отдельной книгой, вы говорили о том, что определенный «социальный пресс» давил на вас как со стороны СССР, так и со стороны Франции. Там утверждалось даже, что Миттеран и правительство рекомендовали — не надо писать об эмигрантах.

Р. Г. Не совсем так. Это важный вопрос. Скажу образно. Я тридцать лет волею судеб был на стороне побежденных. Во Франции интеллигенция была очень левой, коммунистически настроенной. У нас в то время читали и переводили кроме Горького, Маяковского, еще Шолохова «Поднятую целину», «Судьбу человека», Островского «Как закалялась сталь», Фадеева «Молодую гвардию», «Цемент» Gladкова. Бунин, Иван Шмелёв считались отщепенцами, осколками прошлого, потому что, по меткому выражению советского литературоведения, они были те, кто не понял и не принял

Великую Октябрьскую революцию. Поэтому я единственный человек из моего поколения, который посмел нарушить табу и общаться с белоэмигрантами. С кем? С Борисом Зайцевым (я был его секретарем), с Юрием Павловичем Анненковым. Это мои друзья. Никого из русской эмиграции ни разу не пригласили ни в Сорбонну, ни куда-нибудь еще. Почему не пригласили ни Шаршуна, русского художника-дадаиста, ни Одоевцеву? Они бы с удовольствием выступили бесплатно. Нет, приглашали какого-то Макашина и перед ним пресмыкались, а здесь рядом были великие люди. Когда в 1967 году я попросил профессора Сорбонны, декана факультета славистики, Рейшкафа поддержать меня (я собирался написать о Борисе Зайцеве), он сказал: «Вы с ума сошли. Его сорок пять лет уже никто не печатает. Он не то что второстепенный или третьестепенный — это ноль!» Я добился своего, декан согласился, но сказал: «Вы самоубийца, вы сделали неправильный выбор». Я тридцать лет был на стороне побежденных, и вдруг, в конце восьмидесятых годов, когда культура русской эмиграции начала получать признание, я оказался на стороне победителей. У нас говорят: горе побежденным, слава победителям. Все обалдели — «какой хитрый Герра!» А где вы были?

Во Франции нет ни архивов, ни научных исследований истории белой эмиграции — ничего нет. Я первый в 1975 году начал читать лекции о Бунине: «Окаянные дни», «Красный генерал», «Товарищ Дозорный», «Митина любовь», «Солнечный удар», «Жизнь Арсеньева», «Темные аллеи». О Шмелёве — естественно, «Солнце мертвых». И то я ограничился великими — Бунин, Зайцев, Шмелёв, Ремизов, чтобы не дразнить гусей. Некоторые коллеги меня не воспринимали, писали на меня доносы. И это во Франции, не в России! Сейчас я готовлю книгу, где все будет подробно изложено. И, конечно, когда я года два назад хотел создать во Франции исследовательский центр культуры русской эмиграции, то потерпел полный крах.

Т. Л. А здесь, в России, не пытались?

Р. Г. Я не россиянин. У меня другая цель, я выполняю свою миссию — приезжаю, читаю лекции, говорю о тех художниках и писателях, которых знал. Я был сейчас на Урале в Екатеринбурге, и там каждый день читал по две лекции. Они вызвали большой интерес, там были не только филологи, литературоведы, но и студенты из Горной академии. То, чем я занимаюсь — огромный пласт русской культуры XX века.

В. Н. Мне кажется, называть всех оказавшихся за границей писателей «белоэмигрантами» не совсем правильно; под маркой «белого движения» зачастую действовали совершенно разные течения...

Р. Г. Соглашусь с вами. Большинство эмигрировавших писателей, с которыми я общался, приветствовали революцию 1905 года и февральскую, в чем я их иногда упрекал. Они не были белыми. Они даже были западниками. Это во Франции они стали славянофилами. Шмелёв написал «Человек из ресторана», слабое произведение. Его шедевр, конечно, «Лето Го-

сподне». Без испытаний, которые выпали ему, он не написал бы эту вещь никогда.

В. Н. Еще один вопрос, он вытекает из первого: как вы считаете, какое воздействие и в какой степени — я не буду говорить о XIX «золотом веке» литературы с такими именами, как Пушкин, Достоевский и другие великие писатели, непревзойденные до сих пор — оказывала советская литература на читателей? Как вы думаете, можно говорить о «медном» веке советской литературы? В XIX веке понятно влияние французской литературы на отечественную. А потом, что стало происходить? Имела ли влияние советская культура, было ли перетекание нашей советской культуры и литературы во Францию и вообще на Запад?

Р. Г. Я француз, и буду говорить про Францию. Вообще, все неоднозначно. После войны, как вы знаете, во Франции коммунистическая партия (ФКП) играла большую роль. У коммунистов были свои издательства, и они печатали тех, о ком я уже говорил.

Кто играл определенную роль? Безусловно, Михаил Булгаков, его «Мастер и Маргарита» была издана в карманном формате, и ее читал любой мало-мальски образованный француз. Потом Пильняк, Шолохов — «Тихий Дон», потом Пастернак.

В. Н. Вы берете довоенный период, а послевоенный? У нас же был огромный пласт «лейтенантской литературы» — Бондарев, Некрасов, деревенская литература — Астафьев, Распутин. Они переводились на иностранные языки.

Р. Г. Это преувеличение. Кто читал, скажем, Бондарева и даже Некрасова? Некрасова начали читать, когда он стал эмигрантом. Он был моим соседом. Может быть, Некрасова знали по «Окопам Сталинграда».

В. Н. Но там же была еще вторая эмиграция, Аксёнов, Войнович.

Р. Г. Да, их печатали больше, чем представителей первой волны. Я говорил в свое время, что им повезло.

Т. Л. Это была уже не литература, а политика.

Р. Г. Да, была определенная конъюнктура.

В. Н. Когда настало другое время и к ним потеряли интерес, занавес открылся, они вернулись в Россию.

Р. Г. Я скажу, что они были все равно в выигрыше. Не только писатели, но и художники: Кабаков, Булатов.

Т. Л. А фамилия Любушкин вам знакома?

Р. Г. Знакома. Это уже семидесятые годы. Мои симпатии всегда были на стороне первой волны. Те уехали с любовью к России, а эти — с ненавистью к Советскому Союзу. Я их понимаю, но... Представители первой волны эмиграции были очень наивны, не от мира сего. Они жили, по выражению Надежды Тэффи, на чемоданах. Они думали, что все кончится и они вернутся.

Т. Л. Некоторые вернулись. Куприн, например.

Р. Г. Он уже был совсем болен, его возвращение устроила дочка.

Т. Л. У Бунина был советский паспорт.

Р. Г. Нет, это неправда.

В. Н. А вы случайно не знали Александра Александровича Зиновьева? Не были с ним знакомы?

Р. Г. Знал, он был моим соседом. Он мне дарил книги. Сейчас в ЖЗЛ должна выйти книга о нем, я дал в нее автопортрет Зиновьева. Вы знаете, он же был и художником. Я с ним не дружил, но был знаком. Я дружил с Аксёновым.

В. Н. Зиновьев особняком стоял и здесь, и там.

Р. Г. Это был достойный человек, его книги имели резонанс.

Т. Л. Вы работали секретарем Бориса Зайцева, являетесь хранителем его архива. Планируется ли публикация его дневников в полном объеме?

Р. Г. Дневники уже напечатаны.

Т. Л. Только частично.

Р. Г. Они будут опубликованы полностью, но этим занимаюсь не я, а другие люди.

В. Н. Вы впервые приехали в Советскую Россию в 1966 году и потом приезжали многократно.

Р. Г. Я был в Советском Союзе в шестьдесят шестом, шестьдесят восьмом и шестьдесят девятом годах, пока меня отсюда не вышвырнули за то, что я был секретарем Бориса Зайцева. Потом я официально приезжал сюда в командировку от Министерства высшего образования в восемьдесят втором, восемьдесят третьем и восемьдесят четвертом годах. Каждый раз по два месяца, в Институт русского языка имени Пушкина. В 1982 году я приехал сюда во главе делегации первый раз в рамках культурного обмена между Францией и СССР и жил на улице Плеханова, дом 6. В 1988 году, в год тысячелетия Крещения Руси, я оформил командировку во Францию, — это было просто. Но меня не пустили по определенным причинам, а именно, из-за возвращения на родину Ирины Одоевцевой. А потом, после распада Советского Союза, я впервые приехал в 1992 году за свой счет — и понял, что только так можно приезжать в страну с таким режимом. И тогда я впервые выпустил книгу «Жаль русский народ». С 1992 года я провел в России в общей сложности больше пяти лет своей жизни. Это был мой реванш, я мог свободно передвигаться по стране. Я знаю глубину лучше, чем многие россияне, живущие в Москве. Сейчас я второй раз выступал в замечательном городе Екатеринбурге, который был закрытым даже для советских граждан, я выступал несколько раз в городе Брянске, который тоже раньше был закрыт. Короче, если есть возможность, я приезжаю в частном порядке: либо за свой счет, либо по приглашению. Но я не официальное лицо. Я благодарен судьбе, что смог дожить до новых времен. В этом году я в шестой раз в России, провел здесь около двух месяцев. Здесь мои интересы — встречи с писателями и художниками, и я горжусь

тем, что на сегодняшний день у меня в России вышло восемь книг, не в переводе, а написанных по-русски.

В. Н. Вот еще о чем я хотел поговорить. Ваш жизненный лозунг — библейская фраза «спаси и сохрани». Правильно? Ну и, наверное, «возлюби ближнего». Скажите, пожалуйста, каково сегодняшнее состояние российского общества? Не зря я задаю этот вопрос. Вы ездите по России и, наверное, видите понижение планки нравственности, морали. Может быть, поэтому наш президент недавно собрал литературную и околослитературную общественность. Я ездил на это собрание в Москву и обратил внимание на его озабоченность состоянием общества.

Т. Л. Рене Герра был там же.

Р. Г. Да, по приглашению советника президента Владимира Ильича Толстого, я с ним давно знаком, еще по Ясной Поляне. В России идет глобализация, американизация. Раньше была мода на французские слова, сейчас — сплошные американизмы. Мне это неприятно. Пора России стать новой Россией — вот мой подход. Я за настоящую, не провинциальную Россию. Чем может гордиться Россия? Своими писателями, их уважают во всем мире, во Франции — Толстой, Достоевский, Чехов, Гоголь. Произведения русских классиков сейчас выходят огромными тиражами. Кто не знает Чайковского, Стравинского, Прокофьева, Бородина? Каждый день их музыку передают по радио.

В. Н. Это у вас по радио каждый день, а у нас, к сожалению, не каждый день. Об этом-то и разговор.

Р. Г. Великая страна, которая имеет великую культуру, не пропадет. Я не сторонник советской власти, как вы понимаете, но следует признать — ею многое сохранялось. Сейчас все надежды на молодое поколение: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!..» Все зависит от вас. Теперь портится русский язык — я сам это вижу, и даже ударения неправильные. Я не только здесь, но и в Париже смотрю ваши телеканалы, и не перестаю удивляться.

Т. Л. Удивляетесь или приходите в шок?

Р. Г. Шока, конечно, нет, но и немножко грустно. Хорошо, что есть канал «Культура». Нельзя сказать, что все плохо. Ваш президент сказал — следующий год будет годом культуры.

В. Н. А за ним, будем надеяться, последует год литературы.

Т. Л. В коллекции Рене Герра есть, насколько мне известно, уникальное издание поэмы Блока «Двенадцать» с иллюстрациями Юрия Анненкова. Была информация, что вы планировали выпустить в России факсимильное издание. Удалось вам это сделать?

Р. Г. У меня есть один экземпляр. В свое время были разговоры о выпуске, это был юбилейный 2003 год. Книга еще не вышла, но не по моей вине. Я считаю, что поэма Блока — уникальная вещь; рисунки моего покойного друга юности — тоже уникальная вещь. Это эпоха. Цветные иллюстрации

«Катка», «Революция», «Красногвардейцы»... Может быть, когда-нибудь удастся издать их.

Т. Л. Одна из последних ваших книг называется «Когда мы в Россию вернемся...».

Р. Г. Неспроста.

Т. Л. Писатели Серебряного века вернулись в Россию, и вы вернулись в Россию.

Р. Г. Я вернулся в постсоветское пространство. России нет. Поясню: была царская Россия, а теперь — постсоветское пространство. Выражения не мои. Это из стихотворения Георгия Адамовича «Когда мы в Россию вернемся...».

В. Н. Скажите, пожалуйста, вы, наверное, в курсе того, что происходит на Украине.

Р. Г. Понимаете, русские и украинцы — соседи. Десять лет назад я был приглашен в прекрасный университет в Белгороде. Выяснилось, что недалеко Харьков. А моя старая учительница и друг Екатерина Леонидовна Тауберг родом оттуда. На электричке я через полтора часа был в Харькове и провел в городе целый день. Там я только один раз услышал украинский язык! Меня это поразило. Как можно жить в стране, где всё на украинском языке — реклама, афиши, плакаты, — а многие говорят на русском. Харьков, извините, — второй город Украины. Для меня это был шок.

Т. Л. Ваша мечта собрать серию рисунков жесткой эротики Юрия Анненкова осуществилась. А есть ли еще нечто, что бы вы хотели иметь в своей коллекции? И более общий вопрос: существует ли предел в вашей страсти собирателя? Можете ли вы сказать: «Вот еще мне надо то-то, а потом я ставлю точку». Или это бесконечный процесс?

Р. Г. Спасибо за хороший вопрос. Целенаправленно и целеустремленно собираю культурное наследие исключительно «белой гвардии». Я в свое время мог свободно купить работы Репина, Саврасова, Айвазовского. Но не покупал. Приоритет — работы Сомова, Серебряковой, других представителей «Мира искусства». Нельзя объять необъятное. Конечно, когда попадались за копейки прижизненные издания Пушкина, я их покупал. Однако это баловство. Мне важнее иметь в коллекции Ремизова, Бунина, Шмелёва — это по моей части. Поэтому повторяю — я не коллекционер, а собиратель. Я однажды даже сказал нескромно про себя, что я Иван Калита XX века. У меня есть книги бывших советских писателей Некрасова, Зиновьева, но это уже не коллекция, а часть моей жизни. Виктор Платонович Некрасов был соседом, мы вместе выпивали. В коллекции имею книги Максимова, Синявского... Когда я был аспирантом, то дружил с Юрием Трифоновым. Ел черную икру ложкой у Корнея Ивановича Чуковского, критика Серебряного века. Люблю художников «Мира искусства», но так же ценю и Врубеля.

Т. Л. Врубель? Это и мой любимый художник.

Р. Г. Нет правил без исключения. У меня есть работы Боголюбова, например. Много картин Константина Коровина, и одну из них я купил, можно сказать, за копейки. Я продолжаю собирать русское искусство.

Т. Л. Кого читают во Франции из современных писателей России? У нас гремят Ерофеев, Пелевин. Знают у вас эти имена?

Р. Г. Чуть-чуть. Более известны Акунин, Лимонов.

Т. Л. Лимонов — это понятно, он и начал печататься во Франции.

Р. Г. Его перестали печатать, когда он стал красно-коричневым.

Т. Л. Говоря о Серебряном веке, вы не упомянули Георгия Иванова.

Р. Г. Он стал великим поэтом благодаря эмиграции. Он бы не стал таким без нее. В начале пути он был средним поэтом, а в эмиграции стал великим русским поэтом на уровне Ахматовой, Цветаевой. Георгий Иванов — фигура!

В. Н. С Ириной Одоевцевой вы общались?

Р. Г. Не только общался, я был ее близким другом, и она меня увековечила в своей книге «На берегах Сены», посвятив мне несколько страниц. Я искренне рад, что эта книга вышла уже общим тиражом полтора миллиона экземпляров.

В. Н. Георгий Иванов не был посторонним человеком для Одоевцевой. Одна наша знакомая рассказывала: когда готовился посмертный том сочинений Иванова, там появилось несколько стихотворений, не опубликованных при его жизни. Ирина Одоевцева утверждала, что эти стихотворения были написаны ее рукой.

Р. Г. Если я правильно, понял, она сама написала? Нет, это невозможно, у меня есть часть архива Георгия Иванова. Скорее всего, она что-то подправила своей рукой, но сказать, что она написала за него — нет. Я познакомился с ней у Зайцева, в 1967 году. Мы дружили двадцать лет. Это срок. Она уехала в апреле восемьдесят седьмого года. Дело было устроено одной организацией — КГБ, сейчас это доказано, так как у меня есть кое-какие документы. Когда я спросил ее про отъезд, она мне сказала: «Я хочу, чтобы меня печатали». В восемьдесят седьмом году, как вы понимаете, эмиграция уже кончилась, Одоевцева была последней из могижан.

В. Н. Ее сразу же напечатали в «Нашем современнике».

Р. Г. Считаю — она правильно сделала, что вернулась сюда, ей было уже за девяносто лет. Это было смело.

Т. Л. Для России возвращение Одоевцевой стало событием, поскольку мы получили возможность прочитать ее книги о писателях Серебряного века и о жизни их в эмиграции: «На берегах Невы» и «На берегах Сены». Воспоминания стали чуть ли не бестселлерами.

Р. Г. Это бесспорно. Я знаю, как это было сделано, и кто был замешан в ее отъезде. В моей следующей книге об этом будет сказано подробно.

Т. Л. Что же касается ее стихов в посмертной книге Георгия Иванова, то можно ли сравнивать ее уровень как поэта с уровнем стихов Иванова?

Р. Г. Она с огромным уважением относилась к творчеству Георгия Иванова. Достаточно прочитать то, что она пишет о нем. Поэтому я совершенно убежден в том, что то, что напечатано, это на 98,7% — Георгий Иванов. И Роман Борисович Гуль, сам человек талантливый, конечно, что-то мог подправить при издании, но он был не каким-то там редактором в издательстве, а относился с большим уважением к Георгию Иванову, слыл почитателем его таланта. Он относился с большим уважением к автору.

Т. Л. Скажите, Ренэ, где сейчас находится архив Мережковских? Последнее, что мы знали — он был в США у Тамары Пахмусс, но она умерла.

Р. Г. Тамара исследователь, родом из Прибалтики, русскоязычная. Она посвятила свою жизнь Мережковским. Она была одинокая, ее кумиром стала Зинаида Гиппиус. Я познакомился с ней у великого критика, историка литературы искусства Владимира Вейдле под Парижем. Пахмусс получила архив Мережковских и увезла его в Штаты. Тамара написала несколько книг и о Мережковском, и о литературе того времени.

Т. Л. Если почитать воспоминания Нины Берберовой и Ирины Одо-евцевой, они диаметрально противоположны во многих оценках. Как вы оцениваете объективность Берберовой, дамы, конечно, другого плана, чем Одоевцева.

Р. Г. Я много слышал о Берберовой и хорошего, и плохого. Но я вам скажу: ее книга «Курсив мой», когда она вышла по-французски, стала для нас откровением. Французы поняли, что прошли мимо целого пласта русской культуры, которая была здесь. И книга имела огромный успех, она вышла даже карманным изданием. Общий тираж 230 тысяч. Там много неополиткорректного, но много горькой правды. Мне было любопытно, что Берберова хорошо написала только о Борисе Зайцеве. У них была взаимная симпатия, он был неравнодушен к ней, называл ее Нинú — Ninuka по-французски. Как известно, она была лесбиянкой. Она уехала в Америку, где можно было стать профессором. Потом приехала в Ленинград и вместо того, чтобы прийти в умиление и восхищение, сказала — хорошо, что не вернулась в Советскую Россию. Она осталась верна себе. Главное в жизни, чтобы не перестать себя уважать, — это оставаться верным себе.

Т. Л. У Берберовой с Францией были сложные отношения. Насколько соответствует истине то, что она сотрудничала во время оккупации с немцами, и ее даже обрили патриоты после освобождения?

Р. Г. Это не так. Берберова не была коллаборационисткой. Она не печаталась в Париже в профашистской газете «Парижский дневник». Там печатался только Шмелёв. Он печатал там только рецензии. Конечно, это было нехорошо и по отношению к Франции, которая его приютила, и по отношению к России. Но Шмелёв всю жизнь был травмирован тем, что в Крыму во время красного террора расстреляли его сына. Однако ни Бунин, ни Зайцев, ни Берберова не печатались у Жеребкова (представитель Власова в Париже. — Т. Л.).

В. Н. Ренэ Юлианович, вы дружили с Владимиром Николаевичем Ильиным, философом, богословом, православным писателем. А вы были знакомы с Иваном Алексеевичем Ильиным?

Р. Г. Нет, не мог по возрасту.

В. Н. Давайте о Владимире Николаевиче скажем пару слов.

Р. Г. Я познакомился с Ильиным в 1962 году, когда мне было шестнадцать лет, в русском лагере СХД (союза христианских демократов. — В. Н.), где я был гостем, так как я не русский и не православный. Там оказался Владимир Николаевич. Я понял, что это уникальная фигура. Как он выступал! Оратор блестящий. Он говорил о поэзии, о прозе, о литературе, о философии. Когда я попал в Париж, то ходил на его лекции. У него после войны были большие проблемы. Его спасло то, что его жена Вера Николаевна была русской еврейкой. Иначе бы посадили. Он был за победу Гитлера. Вообще, многие эмигранты считали, что благодаря этой войне кончится большевизм, потому что война — ускоритель.

В. Н. Я хотел задать вопрос про стан эмиграции в связи с тем, что наша страна так мощно заявила о себе, выиграла в такой кровавой войне, освободила всю Европу, и в том числе, косвенно, Францию.

Т. Л. И там ненавидят немцев до сих пор.

Р. Г. Кто? Французы? Нет. Они, как ни странно, уважают немцев.

В. Н. Может быть, не столько уважают, сколько боятся.

Р. Г. Нет, не боятся, уважают. За то, что те работяги, за орднунг.

В. Н. У нас с французами много общего: безалаберность, ветреность. Так вот, не знаю теперь, как относиться к Владимиру Николаевичу, поскольку факт меня покори́бил...

Р. Г. Какой факт?

Т. Л. Антисоветизм Ильина.

В. Н. Антисоветизм, на антисемитизме замешанный.

Р. Г. Нет, его первая и верная жена была еврейкой, и это его спасло. Что касается Владимира Николаевича, то у некоторых эмигрантов были иллюзии насчет советской власти. Ильин сыграл большую роль, чтобы развеять эти иллюзии. Вообще белоэмигранты сохранили верность стране, считали, что СССР — временное явление. Они совершили настоящий подвиг, продолжая достойно служить родине своей литературой, искусством до последнего дня.

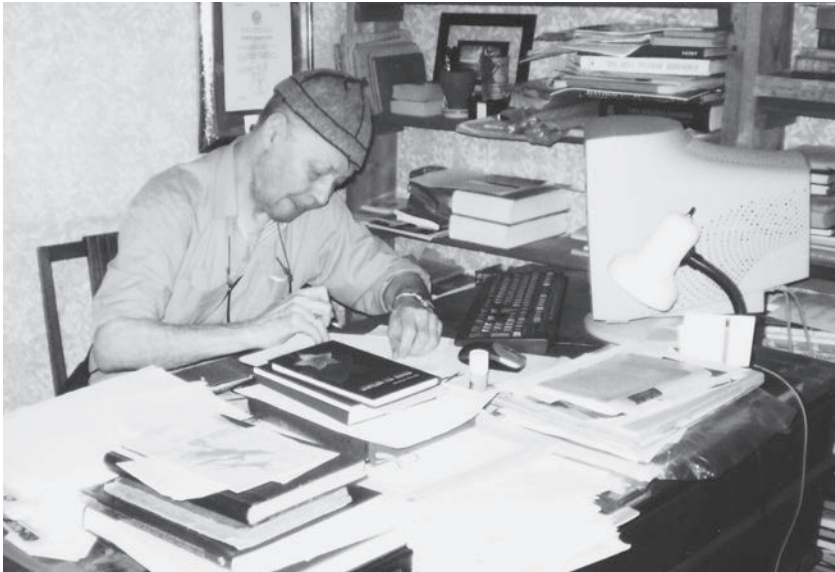
Т. Л. Большое спасибо вам за интервью! Надеюсь, что мы не раз еще встретимся!

И это всё о нем

Имя Ренэ Герра я слышал давно. О нем писали, говорили, иногда даже называли русским французом. Вырисовывалась мощная вершина, овеянная мифами. Порой казалось, что писавшие об этом человеке, не могли справиться с материалом (для некоторых масштаб личности был великоват), а потому проскальзывали домыслы, не имевшие под собой, как представлялось, реальной почвы. О профессоре-слависте, обладающем огромными фактографическими, архивными материалами по русской эмиграции первой волны, хотелось знать больше и, желательно, из первых уст. А еще я знал о дружбе Герра с Борисом Константиновичем Зайцевым, патриархом отечественной литературы в изгнании, что вызывало мой несомненный интерес.

Публикации о Р. Герра, появлявшиеся в периодической печати, стал накапливать. В этом помогали друзья-книжники, библиотекари. Однако калейдоскоп сведений о профессоре Парижского университета оставался калейдоскопом, а собирательская страсть Герра, характер, глубина убеждений прочитывались лишь в подтексте.

Петербургские книжники рассказывали, что им приходилось встречаться с Герра, слышать его выступления. Я же оставался на обочине событий.



И. Г. Мямлин. Фото 2006 г.

Стало известно, что издательство «Блиц» выпустило его книгу.

Герра Р. Они унесли с собой Россию... Русские эмигранты — писатели и художники во Франции (1920–1970). — СПб.: Блиц, 2003. — 322 [70] с.: ил.

Книга была прочитана, но в личное пользование «не давалась». Своими огорчениями поделился с Игорем Гавриловичем Мямлиным — искусствоведом, библиофилом, моим наставником в книжных делах¹. А через некоторое время, в канун нового года, получил заветную книгу с автографом на форзаце передней сторонки переплета:

Уважаемому коллеге — библиофилу А. А. Тетерину — на Новый Год — с самыми добрыми пожеланиями в жизни — работе — и книголюбстве!
СПб., 31/XII 2006 г. И. Мямлин.

На титульном листе после названия книги «Они унесли с собой Россию...» Игорь Гаврилович дописал:

...которую мы до сих пор любим, знаем и ценим (ещё больше, чем сам Ренэ Герра).

Время шло. И вдруг, совершенно неожиданно, мне передали адрес Ренэ Юлиановича.

Долгих раздумий не было — решил написать. Тем более, в дополнение ко всему, интересовали его встречи в глухие советские времена с корреспондентом газеты «Известия» Эд. Поляновским, о которых мне стало известно из книги «Венок раскаяния»².

¹ Мямлин Игорь Гаврилович (15.08.1931–14.09.2011) — историк искусства, художественный критик, педагог, библиофил. В 1953 г. закончил кафедру истории искусств исторического факультета Ленинградского государственного университета, затем сорок семь лет преподавал в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица (ранее — Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухомовой).

В 1965 г. защитил диссертацию о творчестве В. А. Фаворского. С 1988 г. — профессор кафедры истории искусств, в 1989–1995 гг. — заведующий кафедрой.

С 1996 г. — профессор-консультант кафедры искусствоведения и культурологии.

Член Союза художников России с 1959 г. В 1986 г. ему присвоено почетное звание — заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1999 г. избран действительным членом Петровской академии наук и искусств (СПб). Автор более двухсот научных работ по классическому и современному изобразительному искусству.

² Поляновский Э. Л. Венок раскаяния. — М.: Известия, 1991. — 512 с.: ил.

В книгу вошли очерки о взаимоотношениях человека и закона, о легендарном подводнике А. Маринеско, впечатления от встреч: в Магадане —

Ответ не замедлил себя ждать. Это удивило и порадовало: чрезвычайно занятый человек очень быстро ответил на все интересовавшие меня вопросы. В дополнение господин Герра выслал свой электронный адрес.

Во время переписки он сообщил, что по приглашению МИД РФ и редакции «Российской газеты» примет участие в VIII Международных Лихачевских научных чтениях, которые состоятся 22–23 мая 2008 года в Санкт-Петербурге.

Эта весть обрадовала, появилась реальная возможность встречи, но возникло беспокойство: 21 мая я должен был выехать в г. Киров на съезд Организации российских библиофилов. Однако все сложилось лучшим образом.

Герра прибыл в Санкт-Петербург 19 мая. Мы созвонились, а на следующий день в Белом зале Мемориальной библиотеки князя Г. В. Голицына (Фонтанка, 46) произошла встреча.

Доброжелательность профессора, готовность к продолжению диалога оставили приятные впечатления. Разумеется, хотелось получить автограф этого неординарного человека.

На титульном листе книги «Они унесли с собой Россию» чуть выше слов И. Г. Мямлина он надписал:

Александру Александровичу Тетерину в день знакомства после краткой переписки по электронной почте... С самыми добрыми чувствами и пожеланиями.

Ренэ Герра. СПб. 20.05.2008 г.

Появился автограф и на книге Ю. Анненкова.

Анненков Ю. П. Дневник моих встреч: Цикл трагедий / Общ. ред. проф. Р. Герра. — М.: Вагриус, 2005. — 732 с.: ил.

На титульном листе:

Дорогому коллеге Александру Александровичу Тетерину в знак уважения и симпатии.

Ренэ Герра, СПб., 20.05.2008 г.

В течение двух часов профессор читал лекцию (без какой-либо бумажки-подсказки!) «Малоизвестные страницы истории культуры Русского Зарубежья». Прекрасный русский язык, великолепное владение материалом сделали это событие незабываемым.

с певцом В. Козыным; в Париже — с представителями первой волны русской эмиграции, явлением многогранным, сложным и трагическим.

С разрешения господина Герра я записал лекцию на диктофон. (Есть все основания полагать, что это единственная полная запись выступления).

В заключение встречи была представлена книга, публикацию которой осуществила В. Кошкарян (Франция, Париж) — кандидат наук, славист.

Дина Кирова. Мой путь служения театру. Воспоминания / Отв. ред. В. Кошкарян. — Нижний Новгород: Изд-во «Дятловы горы», 2006. — 384 с.: ил.

В книге В. Кошкарян выражает искреннюю признательность за поддержку и содействие своим учителям: литературоведу и искусствоведу, профессору-слависту Ренэ Герра (Франция, Париж) и доктору филологических наук профессору Кире Анатольевне Роговой (Россия, Санкт-Петербург).

На титульном листе моего экземпляра появилась надпись:

Александру Александровичу Тетерину с дружеской симпатией от Валентины Кошкарян.

20.05.08.

На шмуцтитule:

Александру Александровичу Тетерину на добрую память.

Ренэ Герра. СПб. Фонтанка, 20.05.2008.

Здесь же: *К. Рогова. 20.05.2008.*

В книге были широко использованы архивные материалы, принадлежащие Ренэ Герра¹.

Через несколько дней, уже из Кирова, своей радостью от встречи я поделился с И. Г. Мямлиным, который сообщил, что Ренэ Юлианович посетил его как старого друга, при этом подарил книгу своего брата.

Герра А. Прогулки по русской Ницце / Пер. с фр. Р. Герра. — Париж: Альбатрос; М.: МИК, 2008. — 25 с., фото.

На титульном листе была надпись:

Игорю Гавриловичу Мямлину очень дружески.

Ренэ Герра. СПб. 25.05.2008.

¹ Дина Кирова — русская актриса, служившая в Петербурге в «Суворинском Малом театре» (с 1908 по 1917 год). В 1920 году эмигрировала в Сербию, а затем переехала во Францию. В конце 1920-х годов основала в Париже театр, ставший большим событием в культурной жизни русской эмиграции первой волны.

По приезде в Санкт-Петербург эту книгу я получил из рук Игоря Гавриловича.

«В коня корм», — добавил мой наставник и дописал на титульном листе:

Очень дружески же (и душевно!) передаю альбом А. А. Тетерину, потому как он — истинный книголюб.

28 мая 2008 г. СПб., И. Мямлин.

Переписка с Герра продолжалась, а 25 февраля 2009 года в помещении Всероссийского музея А. С. Пушкина (Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 12) произошла очередная встреча. На заседании клуба библиофилов «Бироновы конюшни» Ренэ Юлианович сообщил, что он впервые в России согласился поделиться своими воспоминаниями о последнем классике русской литературы XX века Борисе Константиновиче Зайцеве. «Делаю это не без некоторого волнения, поскольку выступаю не просто как исследователь или профессор, а как живой свидетель, младший современник Бориса Константиновича Зайцева. Встреча с живым классиком многое предопределила в моей судьбе...»

Обстоятельный и взволнованный рассказ слависта (не удивительно — речь шла о духовной составляющей) я записал на диктофон, затем перенес на бумагу. Спустя некоторое время по электронной почте обратился к господину Герра с просьбой посмотреть текст. Ответное письмо пришло быстро и... с иллюстративными материалами (!), которые он любезно разрешил использовать при подготовке самиздатовской книжечки:

Ренэ Герра. Б. К. Зайцев — последний классик русской литературы. Мои встречи и переписка / Предисл. А. Тетерина. — Тосно, 2009. — 24 с. Тираж 25 номер. экз.: ил.

Брошюра была напечатана, разослана друзьям по книжному увлечению.

Следует отметить, что отзывы о содержании поступали самые благоприятные. Но чрезвычайно ограниченный тираж не позволил удовлетворить все запросы. Интерес оказался неподдельным, поскольку в своем рассказе Герра изложил абсолютно неведомые нам факты.

«Во время встреч с Б. К. Зайцевым, — говорил Ренэ Юлианович, — я не видел у него ни одного французского слависта, даже русского происхождения, таких как Д. М. Шаховской, Н. А. Струве, В. К. Лосская, И. Сокологорская... Как же они проглядели русского классика, живущего под боком? Не понимали, что он классик?

Нет, всё прекрасно понимали, но карьера была дороже, чем „гамбургский счет“ в литературе. Общение с патриархом русской литературы в изгнании, непреклонным противником советской власти, могло — и это правда — навредить их карьере. Тогда они лишились бы поездок в Советский Союз, разных грантов и стипендий, доступа в советские архивы и, по-видимому, еще многого другого. Где уж тут думать о подлинной литературе, о долге перед изгнанниками!

Борис Константинович был человеком твердых убеждений, доброжелательным, правильным, я бы даже сказал праведным и верным избранному пути до конца. Он не был ханжой. С юмором, без прикрас и умолчаний рассказывал о славных современниках, в первую очередь об Иване Алексеевиче Бунине, которого всегда высоко ставил в литературе. Конечно, Борис Константинович до конца жизни очень переживал разрыв с ним в 1947 году. И опять же из-за Советской власти. Ведь Бунин, под воздействием своего окружения, вышел из Союза писателей, когда из него исключили тех, кто взял советский паспорт.

У Зайцева никогда не было злобы по отношению к Советской России. Он внимательно следил из Франции за событиями в родной стране. Поведение Бориса Константиновича, в отличие от некоторых, даже во время оккупации, было безупречным. И тем не менее, как многие эмигранты, все надеялся, что когда-нибудь советская власть кончится.

А французские слависты как не интересовались, так и не интересуются этим пластом русской культуры XX века. В свое время все они делали ставку на СССР, игнорировали, часто презирали, иногда открыто ненавидели «белых эмигрантов», которых, подпевая Советам, клеймили „жалкими отщепенцами“, „обломками империи“ — то есть ненавистной им царской России. Французские профессора-слависты так ни разу и не пригласили выступить перед студентами Сорбонны или Института восточных языков и цивилизации Б. К. Зайцева, Г. В. Адамовича, В. В. Вейдле, И. В. Одоевцеву, Ю. К. Терапиано, Ю. П. Анненкова, С. И. Шаршуна...

Уместно напомнить, что когда Борис Константинович скончался 28 января 1972 года, я написал некролог. Весьма показательно для того времени: ни одна французская газета не захотела его напечатать! Из этого некролога в газете „Фигаро“ взяли пять строчек под платным траурным объявлением. Комментарии излишни. Вот вам и конец патриарха русской словесности, замечательного писателя, достойнейшего человека».

«Для меня встречи с Зайцевым — великое счастье, как бы большая удача, но одновременно это оказалось и моей личной трагедией, — продолжает Ренэ Герра. — Думаю, что в этом есть закономер-

ность и знак судьбы. Я тридцать лет был на стороне побежденных, поэтому, поверьте мне, когда Бунин, как и Зайцев, Мережковский, Гиппиус, Ремизов, Шмелев, Газданов, Одоевцева, Берберова, Ходасевич, Адамович... триумфально вернулись в постсоветскую Россию, увы, посмертно, наконец я оказался на стороне победителей. Своим творческим наследием, вопреки всему, они оправдали выбор, который сделали после октябрьской революции. Все они — великие известные и великие неизвестные — оставались до конца подлинными российскими интеллигентами, доброжелательными, чистыми, наивными идеалистами — тургеневскими „лишними людьми“. И эти „лишние“ — соль земли».

...В начале октября 2009 года по электронной почте я получил от Ренэ Юлиановича письмо, в котором он сообщал, что приглашает меня на вручение ему Царскосельской художественной премии. Приглашение было приятной неожиданностью. Разумеется, с благодарностью принял его.

Из средств массовой информации было известно, что 18 октября, в канун лицейской годовщины, состоится 17-я церемония вручения Царскосельской художественной премии. Эта премия учреждена в 1993 году и присуждается за творческий вклад в развитие российской культуры и искусства, а также укрепление международных культурных связей.

Символ премии — небольшие бронзовые скульптуры Екатерины II, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама. Ее лауреатами становились широко известные деятели культуры и искусства. Назову лишь некоторые имена: Дмитрий Лихачев, Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Эрнст Неизвестный, Эльдар Рязанов, Алексей Герман, Евгений Евтушенко, Инна Чурикова, Белла Ахмадулина, Василий Аксенов.

В этот раз среди российских деятелей культуры и искусств — Н. Ургант, Д. Тухманова, С. Ямщикова (посмертно), В. Смехова, О. Митяева — премии удостоивался доктор филологических наук Парижского университета, заведующий кафедрой русского языка и литературы университета г. Ниццы Ренэ Герра («За сохранение культурного наследия первой волны русской эмиграции»).

Этой новостью я поделился с Игорем Гавриловичем Мямлиным. А через два дня — новое послание из Франции.

Многоуважаемый Александр Александрович!

Благодарю Вас за оперативный ответ. Очень рад, что Вы приняли мое приглашение (Ваша супруга, естественно, тоже приглашена). Радуюсь нашей предстоящей встрече 18 октября в Царском Селе. Передайте, пожалуйста, Игорю Гавриловичу Мямлину благодарность за добрые слова в мой адрес. С дружеским приветом из Ниццы.

Искренне Ваш Ренэ Юлианович Герра.

Встреча произошла за день до вручения премии.

По просьбе Виталия Петровича Третьякова — петербургского издателя, коллекционера, владельца картинной галереи — Р. Герра выступил перед филокартистами Санкт-Петербурга в детской библиотеке (ул. Марата, 72). Он говорил об открытках, выпущенных в Ницце, о культурных связях между нашими странами, об эмигрантах первой волны.

По окончании выступления Ренэ Юлианович подарил мне книгу:

Герра Ренэ. Младшее поколение писателей русского зарубежья. — СПб.: Изд-во СПбГУП, 2009. — 116 с. — (Избранные лекции Университета; Вып. 98).

На титульном листе:

Дорогому Александру Александровичу Тетерину в знак симпатии и благодарности.

С неизменной приязнью Ренэ Герра. 17.10.2009.

Было решено, что на другой день мы встретимся в лицейских кулуарах чуть раньше начала торжественной части. Я планировал записать на диктофон рассказ господина Герра о том, что значит для него эта премия. Ренэ Юлианович любезно согласился.

«...Это событие знаменательно для меня по многим причинам. Конечно, я рад и польщен получить эту премию. Но разве мог я мечтать двадцать лет назад, что в России буду удостоен такой премии. А для меня это не просто награда — это Царскосельская художественная премия...

Царское Село, Императорский Лицей связаны с моим родным городом Ницца, поскольку в нем жил, писал и продолжал служить русской культуре, русской поэзии лицеист и офицер Белой армии Сергей Сергеевич Бехтеев. Именно в Ницце он выпустил несколько сборников православно-патриотических стихотворений — „Царский гуслир“ (1934) и „Святая Русь“ (1949–1952). Там он и похоронен на Николаевском кладбище — единственном русском кладбище за пределами Российской империи, а теперь Российской Федерации... Это первый момент.

Второе. В Ницце лицеист А. Н. Яхонтов смог открыть в 1925 году, недалеко от Свято-Николаевского собора, школу „Александрино“ для детей русских эмигрантов, августейшим покровителем которой был великий князь Андрей Владимирович.

Третье. Я лично знал одного из последних выпускников Императорского Александровского Лицея архиепископа Иоанна Сан-Францисского (в миру Дмитрий Алексеевич Шаховской), его литературный псевдоним — Странник. Я не только его знал, но вместе мы подготовили к печати его книгу „Переписка с Кленовским“ (Париж, 1981).

С замечательным поэтом-акмеистом Дмитрием Иосифовичем Кленовским я познакомился в Германии в самом начале 70-х годов. Он был сыном художника-пейзажиста, члена Академии художеств И. Е. Крачковского, учился в Царскосельской гимназии, которую окончил в 1911 году с золотой медалью. Н. Берберова метко назвала его „последним царскоселом“. Позднее я стал его душеприказчиком и наследником, ныне весь его архив хранится у меня.

Наконец, четвертое, о здравствующем человеке. Сергей Львович Голлербах — мой большой друг (племянник Эриха Федоровича Голлербаха), замечательный художник, писатель. Родился в Детском Селе, т. е. именно здесь, в 1923 году. Впервые мы встретились летом 1975 года в Нью-Йорке. Меня направил к нему парижский художник Сергей Петрович Иванов, ученик Д. Н. Кардовского и О. Э. Браза.

Как вспоминает Сергей Львович, решению стать художником способствовала встреча с И. Я. Билибиным, вернувшимся в 1936 году из эмиграции.

Скоро Сергею Львовичу исполнится восемьдесят шесть лет. А виделись мы совсем недавно на Лазурном берегу, в Каннах. Это настоящий русский европеец, говорит на четырех языках. Для многих книг моего издательства „Альбатрос“ он безвозмездно сделал прекрасные обложки. Совершенно естественно, что в этот день я вспоминаю его добрым словом.

Пути Господни поистине неисповедимы. Как все чудесным образом перекликается...

Повторюсь, все это в высшей степени неожиданно и приятно для меня».

Здесь же Ренэ Юлианович надписал несколько своих публикаций.

Герра Р. Открытки не лгут. В поисках утраченного... // ЖУК. — 2007. — № 1. — С. 28–31.

На С. 28:

Александру Александровичу Тетерину на память о нашем содружестве.

С неизменной симпатией Ренэ Герра. Царское Село. 18.10.2009.

Герра Р. Остались не услышанными: Русская эмигрантская литература во Франции (1920–1970) // Литературная газета. — 2009. — 7–13 окт. — С. 5.

На С. 5:

Ренэ Герра. 18.10.2009.

Автограф появился и на титульном листе самиздатовской книжечки «Б. К. Зайцев — последний классик русской литературы», о которой речь шла выше.

Дорогому Александру Александровичу Тетерину в знак признательности.

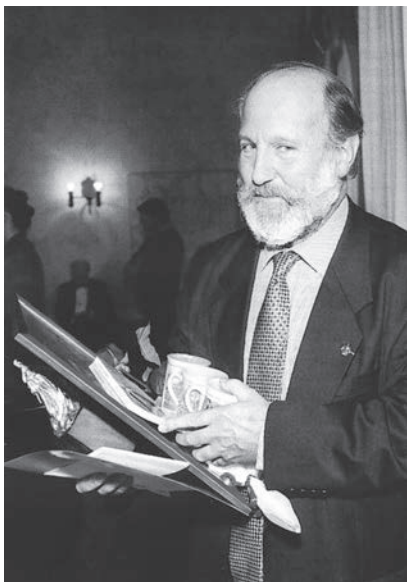
Дружески. Ренэ Герра. Царское Село. 18.10.2009.

Во время вручения премии господину Герра ведущий сказал: «Вряд ли можно найти еще одного француза, который столь тонко и подробно знает русскую литературу, любит ее, понимает душу и слово России».

Лауреат, получая награду, был лаконичен: «В этот день, особенно в этом месте, я взволнован и смущен. Кто бы мог подумать двадцать лет назад, что я смогу оказаться в этом зале, в этом здании и в этом городе... Поэтому для меня этот день знаменательный во многих отношениях. Сегодняшнее событие для меня, и это не пустые слова, — праздник души, праздник сердца. Этот день останется для меня памятным на всю жизнь. И я благодарен не только жюри, но и судьбе».

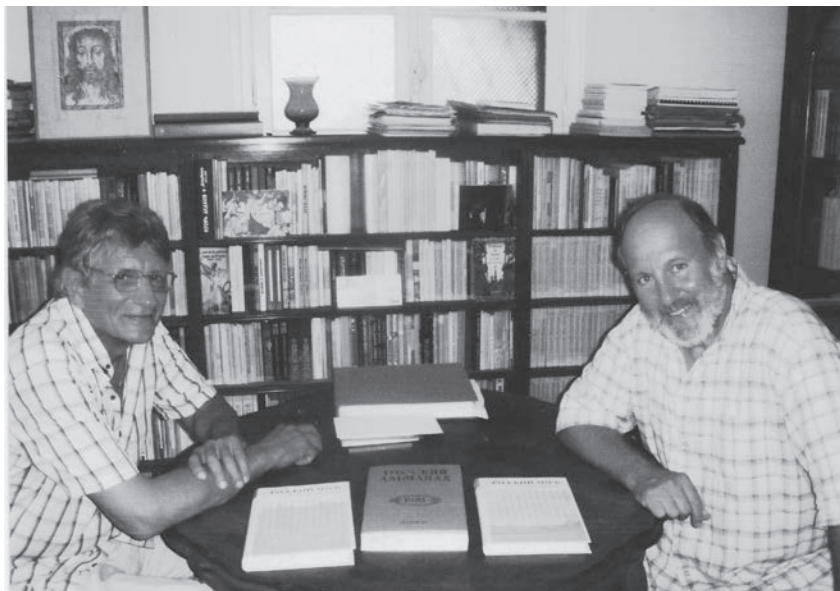
Следует добавить, что «Литературная газета» от 20–26 января 2010 г. сообщила читателям о присуждении Ренэ Герра еще одной премии — имени Антона Дельвига («За исследование литературы русского зарубежья и укрепление российско-французских культурных связей»).

...В конце марта 2010 года Ренэ Юлианович сообщил мне, что во втором выпуске альманаха «Русский мир» опубликована его статья о переписке с Б. К. Зайцевым. Это, несомненно, представляло интерес, а потому я обратился к главному редактору альманаха Д. А. Ивашинцову с просьбой о приобретении этого издания¹.



Ренэ Герра. Царскосельская премия вручена. Фото 2009 г.

¹ Ивашинцов Дмитрий Александрович — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный член Академий: РАЕН, РИА, МАНЭБ, ученый-гидроэнергетик, председатель Российского национального комитета гидравликов (МАГИ), поэт, философ и культуролог, сопредседатель-координатор Международной ассоциации «Русская культура», почетный профессор кафедры ЮНЕСКО при Санкт-



Д. А. Ивашинцов, Р. Герра. Ницца. Фото 2009 г.

Встреча состоялась. Дмитрий Александрович рассказал о становлении альманаха, его структуре, авторах, отметив при этом, что Герра не только публикует в нем свои работы, но является активным членом редакционного совета.

Считаю уместным привести здесь слова Д. А. Ивашинцова, высказанные по поводу направленности альманаха: «...В то же время, мы солидарны с теми, кто подчеркивает специфические особенности нашей культуры, кто говорит об ее исторических корнях, кого беспокоит сохранение и развитие русской культуры, как одной из признанных мировых культур».

Два первых выпуска альманаха Дмитрий Александрович любезно подарил мне.

Во втором томе я нашел статью Р. Герра, о которой шла речь, а чуть позднее, уже в новом, третьем выпуске, появилась его большая работа под названием «Репатрианты».

Петербургском отделении Российского института культурологи, главный редактор альманаха «Русский мир».

Его супруга — Алла Анатольевна Ивашинцова — поэтесса и художник, член редакционного совета альманаха.

Альманах «Русский мир», по мнению главного редактора, — «площадка диалога, место, где каждый может внести свой вклад в сохранение и развитие русской культуры, словесности, философии, в пробуждение столь присущих русскому характеру совестливости, пытливости ума, стремления найти ответы на самые сокровенные вопросы бытия».

Июль 2010 года выдался знойным, однако прохладиться не пришлось — призвали неотложные дела. Именно в это время Герра приехал из Москвы в Санкт-Петербург. Предстояла его встреча с Д. А. Ивашинцовым для завершения работы над выпуском книги «Семь дней в марте. Беседы об эмиграции», точнее, двух книг.. Таким образом, напряженный график его пребывания в Санкт-Петербурге на дружеские встречи времени не оставлял, а это значило — примечательные издания, появившиеся у меня в последнее время, могли остаться без автографов Ренэ Юлиановича.

Позвонил Дмитрию Александровичу, рассказал о сложившихся обстоятельствах, а затем, с его любезного согласия, привез эти книги.

...Вечером 27 июля в моей квартире раздался телефонный звонок. Ренэ Юлианович сообщил, что просьбу об автографах на книгах С. Л. Голлербаха (в одной Герра — как издатель, в другой — как автор статьи о Сергее Львовиче) исполнил. При этом буднично заметил, что Голлербах несколько дней находился в Петербурге и надписал для меня свою книгу (!).

Голлербах С. Л. Свет прямой и отраженный: Воспоминания, проза, статьи / Сост. Е. А. Голлербах, И. А. Трофимова. — СПб.: ООО ИНАПРЕСС, 2003. — 872 с.

На титульном листе:

*Александру Александровичу Тетерину на добрую память от автора.
Сергей Голлербах. 24-го июля 2010.*

На с. 859 этого сборника перед статьей Герра «Музы большого города» имелась не менее приятная надпись:

*Александру Александровичу Тетерину в знак симпатии.
Сердечно Ренэ Герра. 28.07.2010.*

Что касается автографов на второй книге, здесь необходимы некоторые пояснения. Дело в том, что известный петербургский художник Анатолий Захариевич Давыдов одну из своих книг-воспоминаний «Острова былого», увидевшую свет в 1991 году, подарил С. Л. Голлербаху, с которым в молодости учился в Средней художественной школе при Академии художеств, а в 1996 году получил от него ответный подарок:

Голлербах С. Мой дом: Воспоминания и эссе. — Париж: Альбатрос, 1994. — 200 с.

Книга вышла в издательстве Р. Герра «Альбатрос», на контртитule которой воспроизведена издательская марка, выполненная С. Л. Голлербахом.

Здесь же надпись:

Дорогому Анатолию Давыдову коллеге-сехашиатнику с любовью, благодарностью за книгу «Острова былого» и самыми наилучшими пожеланиями.

*Сергей Голлербах.
16-го июня 1996 г. СПб.*

В апреле 2010 года Людмила Витальевна Давыдова — жена Анатолия Захариевича — передала мне эту книгу в память о своем муже.



С. Л. Голлербах за работой

На титульном листе появилась надпись:

Уважаемому Тетерину Александру Александровичу в память об Анатолии Давыдове — сокашнике, друге Сергея Голлербаха. С уважением Людмила Давыдова.

Санкт-Петербург. 25 апр. 2010.

Однако этим надписи не ограничиваются. На с. 4:

Дорогому коллеге Александру Александровичу Тетерину с библиофильским приветом от издателя Ренэ Герра. СПб. 22.07.2010.

Все получилось благопристойно, а осенью 2010 года неутомимый Герра уже представлял петербургской общественности две новые книги, подготовленные с тщанием и любовью.

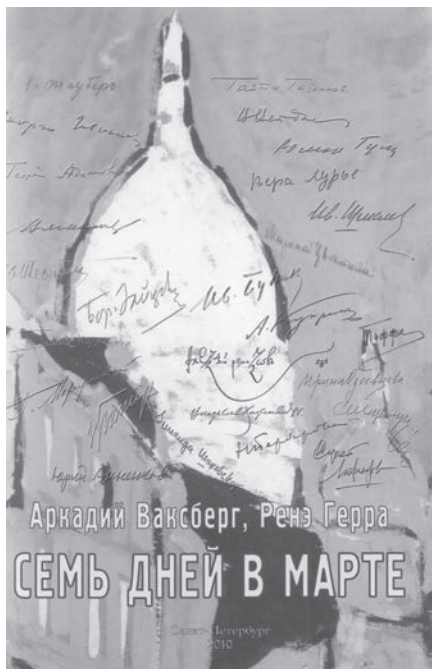
Автор отмечает: «Я рад, что книги вышли в Санкт-Петербурге. Это, видимо, судьба, поскольку в Москве Г. В. Пряхин, казалось бы, уважаемый издатель Худлита, долго морочил мне голову, дело не двигалось с места. Как говорят французы „пора ему на незаслуженный отдых“. В Санкт-Петербурге все сложилось иначе...»

Ваксберг А., Герра Р. Семь дней в марте: Беседы об эмиграции. — СПб.: «Русская культура», 2010. — 492 с.: 236 л. ил.

Это не совсем обычная книга. Первоначально был задуман документальный сериал для телевизионного канала «Культура» — своеобразная «лирическая сага о писателях и художниках первой волны эмиграции, где главным рассказчиком выступал Ренэ Герра, а изобразительным материалом являлись бесценные сокровища его коллекции». Однако телевизионный замысел оказался воплощенным лишь наполовину, что подвигло творческий тандем — Аркадия Ваксберга¹ и Ренэ Герра — на подготовку книги. «Эта книга и есть запись наших бесед, — говорит во вступительном слове А. Ваксберг, — длившихся от рассвета и до темна все семь дней моего мартовского пребывания в гостях у Ренэ Герра».

Размышления слависта

о представителях первой волны русской эмиграции во Франции, яркие характеристики людей, с кем доводилось встречаться, беседовать, изложение интересных, не известных российскому читателю фактов, представление огромного фактографического материала — все это воспринимается целостной и завершенной идеей книги. Но автор добавляет: «Главная ее идея — это реванш русской эмигрантской культуры». Здесь же напоминает, что еще в 1924 году советская печать, отмечая конференцию русских писателей-эмигрантов, проходившую во Франции, писала об этом событии как о «маскараде мертвецов». Реваншем Герра называет тот расцвет интереса к эмигрантской литературе в России, который обозначился с 90-х годов XX столетия: «...И не удивительно, поскольку на чужбине оказались такие знаковые писатели и поэты, как Бунин, Реми-



Передняя сторона переплета книги
«Семь дней в марте»

¹ Аркадий Иосифович Ваксберг (11.11.1927–08.05.2011) — прозаик, драматург, историк, эссеист, юрист. Автор нескольких монографий по авторскому праву. Им написано более 40 книг в разных жанрах. Многие его произведения переведены на основные языки мира. Он автор нескольких пьес для театра, сценариев документальных, художественных и телевизионных фильмов. Четверть века находился в штате редакции «Литературной газеты». Его судебные очерки имели большую популярность у читателей. Последнее время являлся спецкором газеты во Франции.

зов, Набоков, Цветаева, Мережковский, Гиппиус, Газданов, Поплавский, Ходасевич, Бальмонт...»

Справедливости ради отмечается, что советская литература 20–30-х годов сохраняла высокий уровень. Достаточно назвать имена М. А. Булгакова, А. П. Платонова, Н. А. Заболоцкого. Однако и Булгаков, и Платонов лучшие свои произведения не смогли опубликовать при жизни. Советская литература, казалось бы, достигла больших высот в послевоенные годы, но авторы «Семи дней в марте» сожалеют, что многие, весьма одаренные писатели, поэты, сегодня уже забыты.

Представители первой волны эмиграции, несомненно, любили свою родину, но нарастающий деспотизм, отсутствие свободы, и, прежде всего, свободы творчества, не давали возможности жить и творить при таком режиме. Советское партийное руководство рассматривало искусство и литературу как средство формирования человека социалистической эпохи, а все, что мешало такому формированию, — уничтожалось.

В то же время Герра отмечает, что 1930-е годы действительно являлись годами расцвета эмигрантской культуры в Париже: клубы, издательства, собрания писателей, газеты, журналы были многочисленными и интересными. Совершенно по-другому жизнь складывалась после войны. В связи с победой Советского Союза у многих эмигрантов появилась надежда на смягчение режима, а затем — на возвращение на родину. Однако надежды оказались призрачными.

Авторы касаются и такой темы, как отношения Марины Цветаевой и Владимира Маяковского. В книге детально описана их встреча в Париже в 1929 году. Известно, что большинство русских эмигрантов негативно относились к Маяковскому, но Цветаева понимала его и высоко ценила, отмечая при этом внутреннее противостояние Маяковского-поэта и Маяковского-гражданина. Самое удивительное то, что поэт белого движения находила взаимопонимание с певцом мировой революции.

Подобных, чрезвычайно интересных фактов в книге много, но при всем разнообразии описываемых событий она сохраняет целостную структуру, без каких-либо излишеств и случайностей. Воспроизведение в тексте большого количества литературных источников, автографов, в дополнение к этому 236 листов цветных иллюстраций (!), делают издание чрезвычайно привлекательным. Глубоко продумано оформление переплета, на передней сторонке которого воспроизведена знаменитая работа С. Полякова «Сакре Кёр», написанная художником в 1941 году¹. Здесь же воспроизведены автографы Ив. Бунина,

¹ Серж Поляков (1900–1969). Французский художник русского происхождения. События революции вынудили его покинуть Россию. Жил в разных европейских странах. В 1923 г. прибыл в Париж, но лишь в 1931 г. впервые выставил свои работы. С 1935 по 1937 годы учился живописи в Англии. Его творческую судьбу определила встреча с В. Кандинским в 1937 г. В 1945 г.

Б. Зайцева, Г. Адамовича, Ю. Анненкова, Г. Газданова, С. Шаршуна, Е. Таубер, И. Одоевцевой и многих других ярких представителей первой волны эмиграции.

Неизменным остается одно — все уникальные материалы, наполняющие издание, находятся в коллекции Ренэ Герра.

Однако собиратель, исследователь, ученый не останавливается на достигнутом. В Санкт-Петербурге выходит объемный том в 668 страниц (!):

Герра Р. «Когда мы в Россию вернемся...». — СПб.: «Росток», 2010. — 668 с.

Книга вобрала новые, не известные российскому читателю, материалы из коллекции автора, относящиеся к жизни и творчеству Ивана Бунина, Бориса Зайцева, Алексея Ремизова, Ивана Шмелева, Владимира Набокова, Георгия Адамовича, Альберта Бенуа, Сергея Шаршуна, Сергея Чехонина...



Передняя сторона переплета книги
Герра Р. «Когда мы в Россию
вернемся...»

Издание поражает информационной насыщенностью, объемом проделанной работы. Возникает желание услышать самого Ренэ Юлиановича о столь впечатляющем издании. Такая возможность есть, благо современные средства связи позволяют это сделать без каких-либо затруднений.

«Эта книга, — говорит автор, — дань памяти тем, кто, находясь в изгнании, и несмотря ни на что, продолжал за рубежом служить русской культуре. Это книга не просто исследователя, а свидетеля эпохи, тех замечательных представителей российской культуры, с которыми я, к счастью, был знаком. Я рад, что, благодаря моему собирательству, до людей теперь дошла хотя бы малая часть правды об этом времени, о великих „невидимках“, хотя она и сегодня лишь верхушка айсберга,

всплывающего из неведомых глубин Атлантиды».

состоялась первая персональная выставка, а в 1947 г. был удостоен премии Кандинского. В послевоенный период Поляков стал одним из самых видных художников абстракционизма.

Сегодня мы знаем, что многие представители изгнаннической культуры были в дружеских отношениях с Ренэ Герра. Подтверждением тому служат высокие оценки его деятельности со стороны Б. Зайцева, Г. Адамовича, Р. Гуля, Ю. Анненкова, Г. Кузнецовой, Н. Берберовой... Даже не очень щедрая на комплименты И. Одоевцева с восхищением пишет о «русском французе» в своей книге «На берегах Сены».

Ныне диву даешься, что Герра называли «махровым антисоветчиком», а он собирал то, что Советской России было не нужно. И во Франции не понимали — «какие-то русские бумажки собирает».

«Я один собирал все, что касалось эмигрантов первой волны. Уже в то время был уверен, что рано или поздно это будет востребовано, поскольку является важной частью российской культуры. Меня не понимали, не принимали, — говорит Ренэ Юлианович. — Это сейчас как бы все просто. А тогда за встречи с белоэмигрантами (приходилось слышать и более резкие, унижительные слова в адрес русской эмиграции) преследовали даже в родной Франции. Тому есть документальные подтверждения...

А что сказать о большой группе французских писателей, чьи имена были известны любому советскому читателю: Анри Барбюс, Ромен Роллан, Жюль Ромен, Андре Жид, Андре Мальро, Луи Арагон, Эльза Триоле... В Советском Союзе эти авторы считались классиками современной литературы, а их книги, переведенные на русский язык, можно было найти в любой советской библиотеке и на домашних книжных полках. Разве не слышали они о голоде 1930-х годов, об арестах, пытках и судах, о ссылках и казнях в Советском Союзе? Трудно предположить, что они не были осведомлены, не допускали мысли о репрессивном, преступном режиме. Но хуже всего то, что они находили ему оправдание, оказывали ему помощь своими именами, защищали его в собственной стране!

В одном из стихотворений Георгия Адамовича есть такая строчка: „Когда мы в Россию вернемся...“. Ее решил сделать названием книги. Это, конечно, тоже не случайно.

„Мы“ — не только русская эмиграция первой волны. Думаю, что обращение относится ко всем нам, и в этом всеобщий ужас разыгравшейся трагедии, плоды которой продолжаем пожинать.

Не случайно и оформление передней сторонки переплета, на которой воспроизведена картина К. А. Коровина (1861–1939) „Площадь Бастилии“.

В центре площади — Июльская колонна — память о революции 1830 года. На ее вершине позолоченный „Гений свободы“ работы Огюста Дюмона. Но куда он стремится? Куда летит? Может быть, в этом символе скрыта безысходность?..

Первая волна эмиграции — это, прежде всего, душевная боль, доходящая до физического страдания. Страдание порождало высо-

чайшее напряжение интеллектуальной мысли, создававшей новые литературно-художественные произведения, многие из которых со временем стали классическими.

Думаю, книга получилась. Она стала не просто сборником-исследованием с многочисленными иллюстративными материалами, а вылилась в реальные усилия по созданию памятника русской культуре, ее ярким представителям.

Радует то, что книга вышла в Петербурге. Это дар судьбы. Тираж хорошо расходуется. Значит, книга востребована. Подтверждаются мои размышления о правильности выбранного пути.

Останавливаться не намерен, материала много, поэтому надо работать. Сейчас пишу „Черную книгу красной французской славистики“...»

На этом можно поставить точку, однако вполне уместно привести слова искусствоведа И. Г. Мямлина, сказанные в адрес Ренэ Гёрра:

«Бессмысленно даже задавать вопрос о стоимости этой коллекции: это вопрос уже второстепенный. Ибо первое, что надо сказать, коллекция бесценна как явление культуры, как живой организм, созданный Историей, которая избрала своим орудием француза с русской душой и веление которой он исполняет неукоснительно. А об этом будут судить будущие поколения — и русских, и французов, и американцев. Важно, чтобы они сохранили ее с той же любовью, уважением и духовной наполненностью, с какими ее собрал и продолжает собирать этот удивительный человек.

Бог ему в помощь!»¹.

¹ Мямлин И. Г. Пушкину вослед... // Невский библиофил. — Вып. 7. — СПб.: Сударыня, 2002. — С. 7–14.

ВЕРНИСАЖ



Павел ТЫЧИНИН

ПАВЕЛ ТЫЧИНИН И ЕГО ЖИВОПИСЬ

Рождение художника является великим таинством. Заглянуть в неведомое, понять эту тайну на протяжении долгих лет пытались многие. Однако это явление и поныне остается самым загадочным в мире творчества. Каждый художник индивидуален и не похож на тех, кто был до него. Но у всех есть общее: их творчество — это жизнь, и если у них отнять право творить, они погибнут.

Для Павла Борисовича Тычинина живописная кисть — это продолжение его руки, инструмент, помогающий передать бие-ние пульса, его нерв. Художественный процесс живет в нем постоянно, не прерываясь ни на минуту, все его мысли и помыслы отданы любимому виду искусства — живописи. С детских лет он не расставался с мыслью о том, что будет художником. Да и могло ли быть иначе? «Выбор профессии художника? На протяжении веков выбор часто бывал основан на традиции: профессия передавалась от отца к сыну. Ребенок с детства привыкал к запаху клея и скипидара; обучение происходило в семье, и первая мастерская была домашней».

Павел Борисович Тычинин родился 5 января 1963 года и вырос в художественно одаренной семье. Отец, Борис Александрович Тычинин — художник и педагог, воспитавший в Новосибирском педагогическом училище № 2 многих талантливых людей. Мама, Людмила Павловна Тычинина (Аршинова) — также преподаватель, обучавшая изобразительному искусству и черчению в школе. Старший брат, Борис Борисович Тычинин — художник. Атмосфера в семье была творческой: постоянные разговоры об искусстве, живописи, литературе. Борис Александрович старался создать дома библиотеку из книг по изобразительному искусству и лучшей художественной классики, как русской, так и зарубежной. Павел очень рано начал читать, и все домашние книги были им необычайно внимательно изучены. Одновременно он начал рисовать и пробовал писать масляными красками, внимательно наблюдая за тем, как это делают отец и старший брат. Зарисовки членов семьи и знакомых, предметов быта и пейзажи, упорное овладение техникой акварели и масляной живописи — таков процесс развития молодого художника.

Уже в тринадцать лет он ведет большую подготовительную работу по созданию картины «Прометей» (1979–1981). Изучение сюжета, создание композиции, натурные этюды. И долгая и мучительная борьба с красками. Освоение техники письма, стремление найти нужное колористическое решение. А главное — передать романтизм и реальность происходящего в далеком античном сюжете. Позируют близкие — брат, мама, двоюродный брат, одноклассница. Как важно и необходимо погрузить их в тот неведомый, мифический мир, но такой реальный в его воображении. Для правильного композиционного решения Павел вылепил из пластилина каждую фигуру, добивался их нужной связи в пространстве, создавал необходимое освещение.

Вот оно — первое большое живописное полотно в его жизни, он его автор, создатель. Все происходящее погружено в таинственный полумрак, преобладает золотисто-коричневая колористическая гамма. Крупная фигура Прометея летит на нас, держа в руке огонь. А ниже — те, для кого он его добывал. Люди и их реакция на свершившееся. Молодой художник и его осмысление вечного мифа, великой темы жертвенности. Эта первая его картина была показана на персональной выставке в Новосибирском художественном училище, где он начал свое обучение на графическом отделении. Взрослые и учащиеся с большим интересом и вниманием рассматривали картину «Прометей», пейзажи и портреты молодого художника. Первый, самый трудный этап был пройден, а впереди — новые постижения и открытия, мучительные поиски и раздумья.

В 1982 году Павел работал над дипломом, посвященным пейзажам Алтая. Этому предшествовали поездки на Телецкое озеро, в поселок Чемал, в Белокуриху, в Саяны и Красноярский край. В основу картины-триптиха «Алтай» легли многочисленные натурные этюды, написанные масляными красками в самых красивых уголках Алтая. Павел пользовался советами новосибирского художника Г. В. Леонтьева. По его словам, эти встречи «помогли понять различие работы над натурным этюдом и пейзажем-картиной».

Природа завораживает Павла и вдохновляет на новые работы. Именно на Алтае зародилось стремление к передаче многоцветности пейзажа, его гармонии. Особый интерес вызывает постижение техники живописного письма, появляется уверенный, сильный мазок, передается фактура предметов, скал, воды, деревьев. Художник начинает использовать мастихин, позволяющий наносить краску плотно, густо, фактурно. С чувства восторга перед алтайскими пейзажами начинается постоянная, внимательная ра-

бота с натуры. Пейзаж становится одной из главных составляющих его творчества. Неоднократно Тычинин обращается к алтайским мотивам, пишет многочисленные варианты, что отражает его стремление обобщить увиденное. Погружение в мир природы умиротворяет и дает новые силы, новые сюжеты и мотивы для его работ. Ежегодные поездки в Новосибирск позволяли дополнять цикл пейзажей, посвященных Сибири и Алтаю. В Петербурге написана целая серия пейзажей Лесотехнической академии и соседствующего с ней парка. Особое внимание уделил художник изображению прудов. В разное время года, в разную погоду он передает особенности цветовой гаммы, разнообразие колорита и освещения. Во всех этих работах сквозит поэтическое настроение, нежная любовь к русской природе.

После поездки в 1989 году на Валаам и Кижы, под сильным впечатлением от красоты этих мест, по памяти, был написан пейзаж «Кижы». За несколько лет художник выполнил много натуральных живописных этюдов, изображающих реки Оредеж и Вуоксу. Отметим, что Тычинин любит писать и Петербург. Пейзажи с видами исторических мест города были приобретены в частное собрание в США. Написанный в 1989 году с натуры пейзаж «Аничков мост» был приобретен в частную коллекцию в Германию.

Значительное место в творчестве Павла Тычинина занимает жанр портрета. Сначала ему позировали родственники. Со временем круг портретируемых стал расширяться. Он пишет портреты друзей, знакомых, коллег по работе. Обратим внимание на то, что Тычинин постоянно обращается к автопортретам, как бы следуя философскому завету Сократа — «познай самого себя». Проходят годы, и на нас внимательно смотрит изменившийся художник. Вот он еще совсем подросток, с пристальным взглядом широко открытых глаз, — «Автопортрет. 1978 — 1979». Динамичная, нервная манера письма придает еще большую эмоциональность юному образу. В «Автопортрете. 1982» перед нами погруженный в себя юноша, отстраненный от зрителя, в момент большого испытания — впереди трудные годы армейской жизни. Вот тот же образ, что и на автопортрете 1978 года, но прошло почти десять лет, и наступил 1987 год. Сколько скорби и печали в лице, взгляд стал суровее. Изменилась и техника письма — мазок стал более уверенный, ровный и гладкий. В «Автопортрете. 1992» он изобразил себя сидящим на фоне резной спинки стула. Композиция построена так, будто сам художник кому-то позирует. Свой меняющийся с годами облик он внимательно изучает и переносит на холст, находя другие композиционные решения, изменяя формат, предпо-

читая иной колорит. Главное — передать зрителю свое душевное состояние.

С 1986 года Тычинин живет и работает в Ленинграде — Петербурге. В 1986 году были написаны портреты жены художника — Елены Евгеньевны Тычиной (Шапиловой) и ее отца — Евгения Дмитриевича Шапилова. Почти одновременно шла работа над большим портретом Игоря Глушакова (1987). Певец и композитор изображен в военной форме, он — участник войны в Афганистане. Глушаков представлен в момент исполнения своих песен, с гитарой в руках, его фигура дана чуть меньше натуральной величины. «В его портрете я стремился создать образ современника», — рассказывает художник. В портрете Марины Филиповой все внимание сконцентрировано на лице. Портрет был отобран комиссией членов Союза художников, и экспонировался в 1986 году в Центральном выставочном зале Ленинграда на осенней выставке «Наш современник». Этот факт свидетельствовал о профессиональном признании. В том же году он совместно с Борисом Тычиным, художником-керамистом Андреем Челышевым и художником-мультипликатором Натальей Баскаковой участвовал в подготовке экспозиции выставки «Молодые художники» в ленинградском Доме офицеров. В 1987 году произведения этих художников были вновь показаны на выставке в клубе «Водоканал».

В 1988 году во время приезда в Новосибирск был написан портрет мамы — Людмилы Павловны Тычиной. Важно отметить и портрет сына Алексея (1988), являющийся первым опытом многослойного письма. Небольшой размер, композиционно приближенная к зрителю и ярко выделенная на темном фоне детская фигурка способствуют созданию трогательного образа ребенка.

Жанру портрета Тычинин постоянно уделяет большое внимание. В 1992 году написан заказной портрет Е. Орловой, а для кафедры Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта выполнен портрет ученого Г. О. Графтио. В последующие годы написаны портреты сына Алексея (1995), и Е. Д. Шапилова (1995). Два больших портрета: Н. Ю. Колташовой (1999, темпера) и Е. Б. Доррер (2000, масло). Обе работы имеют близкое композиционное решение, первоначально найденное художником в портрете Е. В. Душкиной (1988). Трехфигурный «Семейный портрет в интерьере» (1999) имеет сложное композиционное и пространственное построение. Большой формат холста и сложный фон, на котором четко выделяются фигуры жены, сына и самого художника. Задача создания портретной работы была

соединена с выполнением своеобразной живописной кулисы — копии фрагмента старинного полотна. Художник создает особый тип портрета — картины, где реально позирующие члены семьи совместились с живописными персонажами, запечатленными в XVII веке.

Еще в юности серьезное влияние на формирование Тычинина, как художника, оказали постоянные поездки из Новосибирска в Москву и Ленинград. Посещение крупнейших музеев — Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственного Эрмитажа — стало естественной потребностью, возможностью знакомства с шедеврами русского и мирового искусства.

Для Тычинина не достаточно визуального изучения произведения, ему необходимо было пройти школу копирования, постижения техники известного мастера, изучить и постичь то, как написано живописное полотно. В этом отношении большую роль играет работа художника-реставратора, восстанавливающего пострадавшие от времени живописные полотна, производящего их консервацию, укрепление и расчистку от поверхностных загрязнений. В результате реставрации картинам возвращается их подлинный колорит. С 1990 года Тычинин работает художником-реставратором Центрального музея железнодорожного транспорта МПС РФ.

15 февраля 2014 года в библиотеке «Книга во времени», расположенной на проспекте Пархоменко, 18, состоялось открытие выставки его живописи. Это вторая выставка Павла Тычинина в данной библиотеке. Год тому назад здесь была представлена экспозиция пейзажных работ художника, приуроченная к его 50-летию. В отличие от той экспозиции на нынешней выставке показан широкий спектр живописных произведений: портрет и пейзаж, картины на исторические темы.

Посетители экспозиции в библиотеке «Книга во времени» имеют возможность увидеть пейзажные работы Павла Тычинина, отличающиеся своеобразным техническим решением и тонким колоритом. Все они написаны с натуры и посвящены разным временам года: «Весна. Пробуждение» (2013), «Осень. Березы» (2012), «Лето. Оредеж. Лодки» (2002). Художник использует натурные этюды, отбирает наиболее выразительные мотивы и состояния природы, превращая их в своих картинах в одухотворенные и проникновенные произведения. Сам художник так делится своими размышлениями: «Пейзаж занимает важное место в моей живописи. На мой взгляд, это самый

прекрасный жанр, где можно проявить свои способности в передаче колорита и живописной фактуры. Для меня это стихия цвета и эмоций».

На выставке также экспонируются «Автопортрет» (1992) и «Портрет брата Бориса Борисовича Тычинина» (1983), где найдены не только разные композиционные построения, но и выражено стремление глубоко постичь натуру. Три женских портрета: «Жены художника Е. Е. Тычиной» (1989), «Н. Ю. Колташовой» (1999), «Е. Б. Доррер» (2000) предоставлены на выставку из частных собраний. Эти работы передают проникновенное общение художника с моделью, когда все внимание сосредоточено на постижении образа, сущности портретируемого, передаче его сосредоточенности и характерности. Все три работы отличаются разным колористическим решением, подчеркивающим и выявляющим особую индивидуальность. Как отмечает автор, для него жанр портрета является самым сложным. «Здесь необходимо сохранить сходство и „не засушить“ живопись, и главная цель — создание собирательного образа». В 2014 году был написан портрет сына художника «А. П. Тычинина», законченный непосредственно перед открытием выставки. Романтический образ юноши обратил на себя внимание многих посетителей.

На протяжении многих лет Тычинин работает над историческими темами. Неоднократно он обращался к сюжету из жизни Древней Руси, в частности, к царствованию Ивана Васильевича Грозного, что отражено в композиции «Опричники» (1988). Напряженный колорит и контрастность цвета, жесткий рисунок и многофигурная композиция передают трагизм эпохи.

Центральное место в экспозиции занимает «Тайная вечеря» (1990). Это полотно продолжает всемирно известную тему, популярную у многочисленных западноевропейских и российских живописцев. Необходимо особо отметить оригинальность и своеобразие в передаче этого сюжета автором. Мы видим Иисуса Христа изображенным со спины, он обращен лицом к собравшимся перед ним художникам: Микеланджело, Тициану, Н. Н. Ге, А. А. Иванову, Леонардо да Винчи, И. Н. Крамскому, Эль Греко, Тинторетто, В. Д. Polenovu, П. П. Рубенсу, А. Дюреру, Сальвадору Дали. «Однажды в моей голове появилась мысль: „Каким мы представляем Христа?“ Мы видим его глазами великих художников. Поэтому в картине он стоит лицом к художникам, которые размышляют о его судьбе и предназначении. Все изображенные мастера бывали в Риме, что их объединяет, и потому купол собора святого Петра парит над ними», — объясняет Павел Тычинин свою главную идею.

Во время открытия выставки состоялась презентация сайта, посвященного творчеству П. Б. Тычинина, разработанного художником совместно с дизайнером Еленой Борисовной Доррер. Работа над сайтом продолжалась в течение года и велась планомерно и обстоятельно, что дало возможность охватить весь жизненный путь и творчество живописца. В настоящее время с персональным сайтом можно ознакомиться по адресу: PAVELTYCHININ.RU.

Ольга Кривдина,
член Союза художников России,
кандидат искусствоведения, профессор

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ Международного сообщества писательских союзов



Александр ТОРОПЦЕВ



Мадина ХУРШИЛОВА



Юрий ПАХОМОВ

Читать или не читать

Коротко о системе координат

Прежде чем сформулировать некоторые мысли о проблеме чтения, в том числе и детского чтения, я должен сделать важные оговорки. Речь ниже пойдёт только о литературе, а не о книжной продукции, заполонившей прилавки современных магазинов. О книжной продукции пусть говорят бизнесмены и люди, которые напрямую отвечают за укрепление государственного иммунитета Российской Федерации. Предметы книжной продукции никакого отношения к литературе не имеют. Их даже нельзя назвать «литературным ширпотребом».

Мы хотим вернуть себе «звание» самой читающей страны в мире. Мы хотим, чтобы наши дети читали больше и чаще. Цель благородная и благодарная. Но при этом мы забываем, что «хрущевские пятиэтажки», выполнившие свою роль, приютившие и обогревшие миллионы советских людей, не являлись произведениями архитектурного или градостроительного искусства. Да, их надо было строить. Но это не значит, что сейчас, когда интерес к литературе заметно снизился, когда России грозит, в том числе, и интеллектуальная катастрофа, мы должны пичкать наших детей дешевой, прости Господи, книжной продукцией, только потому, что юным читателям это нравится и им надо больше читать.

Сейчас в жизнь идут те молодые люди, которые пять—десять лет назад запоем читали многотомник английской дамы, а также её продажных подражателей, и нам хорошо известно, как мало познали в школе дети, выросшие на фэнтэзи. Между прочим, читали они много (!), гораздо больше, чем читали дети 1950—1970-х годов, если брать по валу. Но даже средние выпускники школ пятидесятилетней давности знали и понимали, и чувствовали красоту литературного слова куда лучше современных молодых людей.

Одной из причин этой разинтеллектуализации молодежи является, по моему мнению, тот факт, что родители (и общество, и государство в целом) дали своим детям (а государство своим будущим гражданам) полную свободу в выборе игр, забав, чтения. Что нравится, то и читай. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не мешало.

Грубейшая ошибка взрослых, которые, осознав её, в настоящее время принялись искать пути из создавшегося тягостного положения. И уже это хорошо.

И еще одна важная оговорка. Мне нравится литература самая разная и по жанрам, и по адресату, и по художественным средствам, и по писательскому почерку. Лишь бы это была литература, лишь бы произведение было написано талантливым, сознающим меру ответственности своего таланта перед согражданами, лишь бы произведение укрепляло государственный иммунитет.

ЧАСТЬ I. ЧЕГО МЫ НЕ ЗНАЕМ

Глава 1. Знаменитый «метод тыка»

У меня есть большие сомнения в том, что эту, важнейшую, задачу — приучения детей к чтению — мы будем решать мудро, да простят меня все, кто болеет душой за это дело, кто обязан его выполнять в силу своего служебного положения. И причиной моих личных сомнений является тяготение россиян к очень хорошо известному в разных деловых и научных кругах «методу тыка»: сначала сделаем, а потом будем думать, почему всё так получилось. Так даже атомную бомбу создавали. Пронесло. Цепная реакция не распространилась на всё и вся. Вдохнули ученые с облегчением и продолжили свою работу.

Но дети, но чтение — это даже не водородная бомба. С древнейших времен дошли до нас мысли величайших мудрецов, пытавшихся понять и оценить ребенка. Не получилось! Мысли-то были замечательные, да поэтической строкой написанные, но никто за предыдущие пять тысяч лет так и не смог создать теорию детства и написать формулы, используя которые мы могли бы принимать решения и претворять их в жизнь.

А если нет теории детства и формулы ребенка (как, впрочем, и человека взрослого), то имеем ли мы право внедряться в столь сложные и тонкие духовные, душевные, физические, физиологические пространства?

Чтобы убедить читателя в обоснованности этого вопроса, в том числе и в обоснованности своих сомнений, я обязан перечислить то, чего мы не знаем о человеке незрелого возраста, о человеке вообще.

Глава 2. Кривая творческого роста

Мы не создали Теорию творческого роста и не написали формулу Кривой творческого роста.

Мне не раз приходилось слышать от девушек и женщин, дочек писателей и других интеллектуалов, о том, как много они прочитали уже к двенадцатилетнему возрасту, особенно на дачах. А сам-то я, например, активно читать начал в этом самом возрасте, получив в шко-

ле знаменитую «Историю Древнего мира» для пятого класса. Взахлеб я прочитал учебник. Учебник, подчеркиваю.

И стал завсегдатаем Жилпоселовской библиотеки и других библиотек города Домодедово. Да, меня больше интересовали исторические герои и события. Влюбился я в историю, первая и, как позже оказалось, самая настоящая любовь.

Но, как ни любил я историю, а о главных мальчишеских делах не забывал: речка Рожайка, леса, поля, стога, пруды и прудики, постоянные мальчишеские игры, разборки, а потом еще и девчонки... конечно же, всё это мешало мне читать.

А может быть, помогало? Помогало мне развиваться не спеша, не насилуя себя? Мне кажется, что помогало. Да-да, я не могу похвалиться великими достижениями, но, между прочим, те девушки, о которых я выше говорил, сделали еще меньше меня. А некоторые из них читать совсем перестали.

Глава 3. Три типа мышления

В каждом человеке, племени, народе, государстве сосуществуют в динамичной взаимосвязи три типа мышления: А. Образно-интуитивное; Б. Прагматическое; В. Системное. Обычно какое-то из этих трёх типов мышления превалирует, гораздо реже, доминирует.

Ни одно из этих типов мышления нельзя назвать хорошим или плохим, как, например, нельзя назвать плохим или хорошим синий цвет глаз, или зеленый, или коричневый в крапинку и так далее. Плохо может быть только одно: отсутствие любого из этих типов мышления, либо гипертрофированное преобладание любого из них над двумя остальными. Хорошо, когда они дополняют друг друга, помогают друг другу, украшают внутренний мир человека.

Суть обозначенной проблемы заключается, во-первых, в определении преобладающего типа мышления в каждом конкретном ребенке, а также (и это ни в коем случае нельзя забывать!) — в том государстве, в котором ребенку предстоит жить и реализовываться; а также в определении качества времени.

К сожалению, родители в редчайших случаях угадывают превалирующий тип мышления ребенка. А гораздо чаще они не обращают на это никакого внимания. «Надо приучать ребенка к литературе, надо делать его читающим человеком».

Глава 4. Каждому времени — свой человек

Любое государство периодически, в каждые 80–120 лет, проходит через следующие этапы: А. Генерация государственной идеи;

Б. Реализация государственной идеи; В. Накопление богатств; Г. Потребление. На этапе потребления рождается новая государственная идея. Стержневой опорой ее может быть духовная составляющая, социальная, военная (экономика военных походов у гуннов, готов, викингов...), экономическая, «природная» (разработка полезных ископаемых) и так далее. Так утро является генерацией идеи, день — реализацией, вечер — накоплением богатства, а ночь — потреблением. Весна, лето, осень, зима.

Каждый родитель должен (в идеале, естественно), с одной стороны, тонко чувствовать внутренний мир своего ребенка, его тип мышления, а с другой стороны, знать качественные особенности времени, то есть того этапа, в котором ребенку повзрослевшему предстоит совершить главные его дела, производственные, либо творческие, а также семейные, житейские. Естественно, и этот фактор должен определять «круг чтения» ребенка.

Глава 5. Потенциальные возможности

«Нельзя требовать от человеческого рассудка больше того, чем ему дано». (Демосфен. Речи. В трех томах. Т. 2. М., 1994. С. 353).

Человек ограничен не только в пространстве и во времени, но и в своих психических, психологических, душевных, духовных, физических, умственных возможностях. Об этом вроде бы знают все мамы и папы, бабушки и дедушки, воспитатели и педагоги, руководители и организаторы, но, удивительно, все они очень редко выбирают точный путь между желаниями и возможностями ребенка, между желаниями взрослых и возможностями ребенка на разных этапах его взросления.

Человечество накопило огромный рюкзак знаний, упаковав его в разного рода источники (книги, электроника, телевидение, радио). Проблема точного выбора между желаниями и возможностями стала, пожалуй, самой актуальной проблемой в воспитательном и образовательном процессах.

Грубо говоря, нужно выбирать между двумя полюсами: перегрузить или недогрузить. И то и другое плохо.

Глава 6. Скорость прочтения и освоения

Никто пока не написал, да и вряд ли это будет сделано, формулу, по которой каждый родитель сможет составить Кривую скорости прочтения и освоения разного рода литературного материала в зависимости от совершенно разных обстоятельств — аргументов (возраст и типы мышления, физические и другие способности и возможности конкретного человека, время суток и т. д., и т. д.). В конце концов,

некоторым людям просто вредно много читать! Увлечение чтением может стать своего рода наркотиком. Приведу личный пример. Моя дочь, еще до поступления на журфак МГУ, увлеклась Лермонтовым. Она читала мне наизусть поэмы великого поэта, и я был счастлив. Читала она всё и по программе журфака, и другие книги. Физически крепкая, она не заметила, как «перетренировалась», и теперь каждая книга дается ей с трудом — голова болит. Да, есть в этом и моя вина. Но как я мог остановить дочь, запретить ей читать много и быстро? Кто ответит на этот вопрос? Да никто.

Глава 7. Бог чтения

Я внимательно просмотрел двухтомник «Мифы народов мира» и, удивительно, ни у одного племени или народа я не нашёл бога или богини чтения. Даже великие греки, по сути разработавшие теорию Муз, не дали людям Музу чтения. Столь же великие обитатели Индостана даровали людям Сарасвати, супругу Брахмы, творца, богиню всех наук, связанных с творчеством. Она покровительствует музыке и поэзии. Её еще называют богиней мудрости, знания, искусства, красоты и красноречия. Но не чтения, будто бы читать совсем уж легко. Вэнь-чан, китайский бог литературы, покровительствует всем литературным делам, вплоть до сдачи писателями государственных экзаменов, после которых успешно преодолевшие этот барьер получали право занять чиновничий пост, даже самый высокий. Некоторые ученые считают, что культ Вэнь-чана появился в XIII—X вв. до н. э. в провинции Сычуань и вскоре быстро распространился по всей Поднебесной. С тех пор прошло уже три тысячи лет, а китайцам почему-то так и не понадобился бог чтения.

И другим народам тоже. И это обидно. Был бы у людей бог, отвечающий конкретно за чтение, и никаких вопросов бы не возникало.

Глава 8. Чтение — для всех?

«Фалес — Ферекиду. «Дошло до меня, что ты первым среди ионян вознамерился явить эллинам сочинение твое о божественных предметах. Пожалуй, ты и прав, что думаешь сделать писанное тобою общим достоянием, а не обращаешь его без всякой пользы к избранным лицам...» (Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». М., 1986. С. 61).

Фалес, один из семи греческих мудрецов, знал, о чём говорит. Читать, конечно же, нужно всем. Но что читать каждому конкретному человеку — вот вопрос вопросов. Вот о чём не думали даже лучшие умы человечества.

ЧАСТЬ II. КНИГИ НА ПРИЛАВКАХ МАГАЗИНОВ

Глава 1. Что читать, зачем и почему?

А теперь попытаемся перевоплотиться в тридцатипятилетнего человека, прочитавшего Введение и Часть I и пожелавшего пополнить библиотеку для своих десяти—пятнадцатилетних детей книгами, продающимися в московских, самых крупных и престижных магазинах.

Этот человек уже знает, что один его ребенок обладает интуитивным мышлением, другой — прагматическим, третий — системным.

Глава 2. Где взять книги для интуиста?

Он также знает, что в России преобладает (если не доминирует) интуитивный способ мышления. Что русская литература издревле развивала, поддерживала и поощряла именно этот тип мышления. Что у всех великих российских и советских ученых и инженеров, врачей и учителей были собраны роскошные гуманитарные библиотеки. Что российская и советская интеллигенция читала, знала, чувствовала, любила мировую и русскую литературу, черпала в ней то творческое вдохновение, которое явилось своего рода взлетной полосой для всех открытий, для реализации самых дерзких планов во всех областях творчества. Он, в конце концов, знает, что в Космос русский человек впервые взлетел на строках Лермонтова...

Приходит этот умный человек в книжный магазин и диву дается: прилавки от разноцветного товара ломятся, дух «свежей книги» витает, молодые и старые покупатели медленно переступают от одного прилавка к другому, причмокивают, умно задумываются, названия книг прочитав, выбирают товар на цвет, на запах и на вкус и к кассе с товаром, почти уже своим, идут не спеша. И хорошо, и радостно на душе у каждого, и «по сердцу эта картина всем любящим русский народ».

Но почему-то человека нашего тридцатипятилетнего не шибко радует эта умирительная картина.

А что же он может купить, например, для ребенка с преобладающим образно-интуитивным мышлением?

Русскую и мировую классику. Бориса Шергина. Степана Писахова. Юрия Коваля. Даниила Хармса, Гофмана, Бажова, Братьев Гримм, Шарля Перро...

Не мало, надо сказать. Но придирчивый человек уже обратил внимание на то, что среди перечисленных авторов нет (либо очень мало), например, Радия Погодина, Аркадия Гайдара, Сергея Иванова, Геннадия Снегирева, Андрея Платонова, других писателей, для которых ре-

бенок являлся не примитивным объектом обучения и воспитания, но объектом литературного, образно-интуитивного осмысления мира. И уж совсем мало на прилавках книг современных прозаиков и поэтов. Может быть, их и в природе не существует, может быть, исписались российские, да и зарубежные авторы? По поводу зарубежных авторов я говорить не берусь, но наши-то есть, наши-то современные писатели пишут для детей.

Но их упрямо не печатают! И умный родитель, почуявший, понявший, что его ребенок обладает родным нашим, российским образно-интуитивным мышлением, вернется домой, позвонит своим родителям и попросит у них те книги, к которым они его приучали. Свидетельствую: так происходит, и не редко. Слава Богу, что далеко не все наши дедушки и бабушки вынесли свои роскошные библиотеки в мусорные баки.

Глава 4. А для ребенка с ярко выраженным системным мышлением?

Там же, у бабушек и дедушек, есть Игорь Акимушкин (многотомная серия «Мир животных»), непревзойденные книги Я. И. Перельмана, «Элементарная алгебра» Туманова, там, в кладовых бабушек и дедушек, можно найти «Науку и жизнь», «Химию и жизнь» — журналы, за которыми родители будущих ученых в очередях стояли. Между прочим, всем современным родителям неплохо бы одолеть на досуге великолепную статью Я. И. Перельмана «Что такое занимательная наука».

И более того, родителям, обреченным иметь детей-ученых, просто необходимо вспомнить многое из того, что их прабабушки и бабушки, прадедушки и дедушки прошли, воспитывая своих детей, в 1920—1960-е гг., то есть в годы реализации государственной идеи XX века в нашей стране, да и в других странах тоже: Земной шар един. Это важно сделать еще и потому, что приблизительно в 2020—2025 гг. в России начнется реализация очередной государственной идеи. Как то постоянно происходило в начале 20-годов пяти предыдущих столетий.

Да, конечно же, системщикам интересны детективы, если в основе сюжета в них есть шахматная партия, а не хаотичное нагромождение сюжетных завлекалок. И, конечно же, им интересна и полезна научная фантастика, если это действительно научная фантастика, а не бред абсолютно необразованных писак. Историческая художественная литература им тоже полезна, хотя в этом жанре совсем уж мало серьезных работ. И причиной тому стали труды гениальных отца и сына Дюма, которых по-крупному не интересовала её величество История, которую можно представить себе в виде каната, туго

скрученного из разных нитей бытия и жития. Безответственных два автора даже думать не думали о том, что этот «канат жизни» продвигается в пространственно-временном поле по математически строгим законам. Они, мягко говоря, использовали героев и антигероев истории в личных целях, плетя интриги, бросаясь с героями своих романов в романтические приключения, увлекая за собой читателей, по наивности уверенных в том, что, читая эти книги, они еще и познают историю.

И сейчас совсем хороших художественных работ по истории чрезвычайно мало. Зато к 2013 году ученые нашей страны перевели на русский язык громадное число шедевров мировой литературы, философии, истории.

Глава 5. А что же читать прагматикам, они ведь тоже люди хорошие?

А прагматическая книжная продукция у нас есть. Ею на 90% заполнены прилавки книжных магазинов. Какая странная диспропорция: людей с преобладающим прагматическим мышлением у нас, максимум, 10–15%, а книг для них издают от общего числа до 90%. Зачем?

Глава 6. Термоядерные бомбы не нужны

Для того, чтобы завоевать любую страну, необходимо и достаточно изменить веками формировавшийся в этой стране преобладающий (или доминирующий) тип мышления. Никаких термоядерных бомб. Никакого секретного оружия. Очень, кстати, гуманный способ завоевания.

Есть и еще несколько таких, гуманных, способов, но нам сейчас куда важнее ответить на вопрос: «Как же приучить ребенка к регулярному чтению литературы, полезной для него, для его будущего и полезной для государства в целом?»

ЧАСТЬ III. ОБРАТИМСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ДРЕВНИМ

Чтобы объемно оценить заявленную проблему, лучше всего обратиться за помощью к древним народам. Очень часто перед ними стояли схожие с нашей задачи по воспитанию и обучению подрастающего поколения, а также по укреплению и повышению государственного иммунитета. Наши предки искали свои пути, свои методы и средства для того, чтобы увлечь своих соотечественников высокими мыслями и идеями, литературой и искусством, укрепляющими государственный иммунитет.

Глава 1. Древнеегипетские жрецы

Ежегодно, в определенные храмовые праздники, из Фив отправлялась в плавание по Нилу барка бога Амона Карнакского, Владыки тронов Обеих земель, со жрецами очень высокого ранга. Называлось богатое судно Усер-хат-Амон. Нос и корма барки были украшены изображениями головы барана. Материал для Усер-хат-Амона фараоны закупали за большие деньги в Ливане, либо в Финикии, так как строительного леса в Египте не было.

Помимо праздничных ритуалов, которые проводились в селениях и городах, расположенных на берегах Нила, жрецы решались в этих плаваниях и еще одну важную задачу.

По особым предназначениям, известным жрецам самого высокого ранга, барка останавливалась у какого-либо селения, и на берег выходили самый главный жрец, его ближайшие помощники, очень опытные люди. Они выбирали из рожденных в том году детей тех, кто, по их мнению, мог осилить сложнейшую программу обучения в Фиванской школе жрецов. А то и одного лишь ребенка выбирали они и уводили на Усер-хат-Амон. В селении по этому случаю устраивался праздник. Семья ребенка приобретала огромный авторитет в селении и за его пределами.

По подсчетам некоторых ученых (Хорхе Анхель Ливрага Рицци, например) в Египте в III—I тыс. до н. э. могло проживать до 12 млн человек. Они жили в многочисленных уютных городах и селениях. Но далеко не каждый город, не каждое селение могло похвалиться такой удачей, а тем более — далеко не каждая египетская семья.

Детей привозили в Фивы. Здесь их ожидало суровое, долголетнее обучение, состоявшее из нескольких этапов, каждый из которых завершался отбором лучших, способных продолжать учебу на более высоком уровне. Таких детей с каждым последующим этапом становилось все меньше. До самых вершин египетского образования доходили единицы. Большинство же учеников попадало на службу в храмы, во дворцы знатных людей и во дворец фараона. После первого этапа часть учеников отправлялась в учебное заведение, готовившее для страны врачей, писцов, архивариусов, полководцев, зодчих, стражников и других специалистов. Самые талантливые отправлялись в Школу Амона, где они могли постигнуть тайны высших знаний, которыми обладали жрецы Древнего Египта.

Метод поиска жрецами талантливых, обучаемых, творчески освоенных свыше детей до годовалого возраста может вызвать улыбку у атеистически настроенных мыслителей, но не будем уподобляться скептикам, не дадим их улыбкам ввести себя в заблуждение.

Вспомним, что этот метод успешно функционировал около трех тысяч лет. А это значит, что жрецы Страны Нила действительно обладали важными познаниями, навыками, а то и чувствованиями (почему бы и нет?), с помощью которых они почти всегда точно угадывали интеллектуальные и творческие возможности крохотного человека. Выбирая младенца, жрецы должны были угадать в совокупности:

- 1) интеллектуальные возможности младенца,
- 2) физическое здоровье,
- 3) душевную стойкость,
- 4) духовную силу.
- 5) преданность делу и стране,
- 6) способность много работать и не роптать при этом,
- 7) способность творить в рамках «египетской идеи»,
- 8) невзрывоопасность,
- 9) предрасположенность к творческой работе.

Если бы у нас были такие мудрые люди, то и статью писать не было бы надобности. Провели бы всеобщий осмотр детей, и дали бы родителям точные установки по воспитанию и обучению их чад, и дело с концом.

Глава 2. Чтение есть действие

Биант (около 590—около 530 гг. до н. э.), греческий мыслитель, один из Семерых мудрецов. Родился в Приене. Одно время служил судьей и прослыл среди греков человеком острого ума, справедливым, гуманным судьей. Это он сказал: «Думаю, а затем действую».

А книга, следует напомнить, является и хорошим собеседником, и кладом информации, необходимым для обдумывания того или иного действия, и, что очень важно, самим действием! Людям, ответственным за укрепление государственного иммунитета, нужно крепко подумать над тем, какие книги читать юным и молодым соотечественникам и, главное, как настроить их на высокую литературную волну.

Глава 3. Суд над Софоклом

В глубокой старости Софокл отправился в суд. Его сыновья решили, что отец лишился ума, целыми днями что-то пишет, не занимается домашним хозяйством. Суровое для греков тех времен обвинение. Признав Софокла безумным, судьи могли отстранить его от владения домашним имуществом, а в этом случае сыновья имели право сделать с великим драматургом все, что угодно. Даже выгнать из дома.

С тяжелым чувством шел Софокл в суд. В руках он держал новую трагедию «Эдип в Колоне». Сыновья были уверены в победе: что хорошего может сочинить выживший из ума старик?!

Софокл выслушал обвинение и вместо оправданий попросил судей послушать его сочинение. Судьи не смогли отказать великому соотечественнику. Он прочитал пьесу и спросил: «Разве такое сочинение может принадлежать безумцу»? Судьи «встали перед таким поэтом, принесли ему высшие похвалы за остроумие в защите, великолепие трагедии и ушли не раньше, чем обвинив в слабоумии самого обвинителя», приняв единогласное решение освободить старца от обвинения.

Глава 4. Музы греков

В эпоху эллинизма грекам помогали творить девять муз:

Эрато — муза лирической поэзии — изображалась с лирой в руках.

Эвтерпа — муза лирической песни — с флейтой в руках.

Каллиопа — муза эпической поэзии и знания — со свитком и палочкой для письма.

Клио — муза истории — со свитком и палочкой для письма.

Мельпомена — муза трагедии — с трагической маской и венком из плюща.

Полигимния — муза серьезной гимнической поэзии — со свитком в руках.

Терпсихора — муза танца — с лирой и плектром.

Талия — муза комедии — с комической маской.

Уrania — муза астрономии — с небесным сводом и циркулем.

Здесь следует заметить, что, хотя и грекам не понадобилась специальная богиня чтения, но литературному труду они уделяли огромное внимание: Эрато, Эвтерпа, Каллиопа, Клио, Мельпомена, Полигимния и даже Талия отвечали не только за исполнение чтецами, актерами или певцами произведений, но и за написание текстов, то есть за литературу.

Глава 5. Метод Антисфена

На вопрос, почему он так суров с учениками, Антисфен ответил: «Врачи тоже суровы с больными». (Диоген Лаэртский. «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». М., 1986. С. 216).

«Начало образования состоит в исследовании слов». (Антология кинизма. Антисфен, Диоген, Кратет, Керкид, Дион. Фрагменты сочинений кинических мыслителей. М., 1984. С. 105).

«Здравомыслящие люди не должны изучать литературу, чтобы не подвергаться чужому влиянию». (Там же. С. 105).

«Тому, кто хочет стать добродетельным человеком, следует укреплять тело гимнастическими упражнениями, а душу — образованием и воспитанием». (Там же. С. 116–117).

«Когда какой-то человек спросил Антисфена, чему надо учить сына, он ответил: „Если он собирается общаться с богами, то философии, если же с людьми, то риторике“». (Там же. С. 117).

Глава 6. Подведем черту

Мысли и идеи крупнейших мыслителей зависели от качественных характеристик того пространственно-временного интервала, в котором им посчастливилось жить, думать, работать в той или иной сфере. Но, конечно же, определяющим в этих мыслях и идеях было личное отношение к тому или иному предмету обсуждения. Вспомним, что, например, в VIII–III вв. до н. э. в крупнейших цивилизационных центрах Земного шара рождались противоположные по сути своей этическо-социальные учения, мысли о человеке, обществе, государстве, в том числе мысли и о таких атрибутах жития, как чтение, литература, искусство, воспитание, обучение.

А всё вышесказанное и процитированное говорит, прежде всего, о сложности задачи. Казалось бы, она на вид проста: надо приучить (или приручить?) молодых и юных сограждан к чтению и осмыслению шедевров мировой и, особенно, отечественной литературы. Но как это сделать? Как всё учесть — в конкретном человеке, в его окружении, в обществе, в государстве?

Учесть всё просто невозможно. А значит, чтобы не навредить хотя бы одному конкретному человеку, нужно... забыть об этой важнейшей задаче? Пустить всё на самотёк (вспомним известную мысль древних китайских мыслителей: «недеяние есть тоже деяние», или «вода течёт туда, где ниже и в этом её добродетель»), или что-то еще в этом роде?

Лично я против такого подхода к проблеме повышения активного интереса наших соотечественников к литературе.

Я считаю, что из создавшегося положения есть один выход, наименее безболезненный, гуманный, даже веселый. Это — Всероссийские Литературные Олимпиады.

ЧАСТЬ IV. ЛИТЕРАТУРНАЯ ОЛИМПИАДА

Для того, чтобы пробудить у россиян былой интерес к чтению и осмыслению литературы, необходимо и достаточно учредить Всероссийскую Литературную Олимпиаду (далее ВЛО).

ВЛО окажет неоценимую помощь в возрождении читательского интереса юных и молодых граждан России к трём главным богатствам

нашего государства: русскому языку, народам России и российской земле. Она же сыграет важную роль в воспитании и образовании юных и молодых граждан России, поможет преподавателям школ и ВУЗов, всем работникам сферы культуры, в частности, библиотекарям, а также родителям, а значит, будет способствовать укреплению и повышению государственного иммунитета Российского государства.

Состязательность является одной из субстанциональных качеств человека. Этим качеством нужно пользоваться так, как то делали древние греки, а также в IV–XVII вв. обитатели Индостана и Китая, Японии и Кореи, Великой степи и Центральной Азии, Ближнего Востока и Средиземноморья, Центральной, Северной, Западной и Островной Европы, а также других цивилизационных центров планеты Земля.

При умелой организации этого действия оно может принести государственную пользу в исторически кратчайшие сроки: достаточно будет провести хотя бы две Литературные Олимпиады, чтобы возжечь в душах юных и молодых людей активный интерес к русскому языку, к русской литературе, как основе всего русского.

Кроме того, ВЛО может стать хорошим вложением капитала для бизнесменов и других заинтересованных лиц.

ПОЛОНЯНКА

Волосы — чёрный ночной дурман,
Гладкостью тонкой атласной кожи,
Взорами пьян, поцелуями пьян,
Князь распростёрся на пышном ложе.

Странно — во сне не узнать лица,
Стало оно и чужим, и юным,
Смотрит она на рубин кольца
Взглядом замороженно-лунным.

Князь, ты не видишь — в моей руке
Смерть твоя — длинное острое жало,
Видишь, как блики горят на клинке,
Чувствуешь прикосновение кинжала?

Жалости нет, да о чём жалеть?
Кто я — наложница, полонянка...
Солнце ночное, луна, мне ответь,
Чем полонянка — не лучше ль беглянка?

Тихо вздохнул, улыбнулся во сне
Князь ясноглазый мой, светловолосый,
И не ко времени вспомнилось мне,
Как целовал он душевные косы.

Сколько придумывал нежных имён,
Вправду любил ли, лгал ли безбожно...
Нет, не хочу, не нарушу сон,
С ним — не могу, без него — невозможно.

Женская слабость... Стекла слеза,
Вспыхнула, будто алмаз, на кинжале...
Вздрыгнул, проснулся он — и глаза
Злыми и рысьими сразу стали.

...С чистого всё начинают листа,
Прошное вспомнить — дурная примета.
Так вот закончилась жизнь моя та,
Верно, не лучше закончится эта.

* * *

Покой придёт, но лишь тогда,
Когда не будет слёз во сне,
Когда падучая звезда
В ладонь опустится ко мне.

Прости меня за встречи с ним,
За то, что писем не сожгла,
За то, что именем чужим
Тебя сегодня назвала.

ШЕСТЬ ПОРТРЕТОВ

(фрагменты)

1

Здесь явью стало сновиденье,
Одной подвластное мечте,
Здесь остановлено мгновенье
Волшебной кистью на холсте.

Зелёный луг и вечер летний,
На облаках горит закат,
И нежно гладит луч последний
Кудрей змеящихся каскад.

Улыбка — нет, лишь тень улыбки,
Изящных пальцев белизна...
И здесь не может быть ошибки —
Да, это, как всегда, она.

Вот-вот — и небо станет чёрным,
И алый догорит пожар,
А рядом с ней лежит покорно
Пятнистый сильный ягуар.

Художник, что это — причуда?
Опасный хищник... Для чего?
Молчит, но страстно жаждут чуда
Глаза зелёные его.

2

Лжец и игрок с белозубой улыбкой,
Шпагу свою называвший сестрой,
Был ты для многих бедой и ошибкой,
Вечный разбойник — и вечный герой.

Кубок тяжёлый — в нём топишь заботы,
Теплятся свечи в каменных колец...
Имя забыто, но знаю я, кто ты —
Завоеватель, губитель сердец.

Чем ты так дорог им? Смуглостью этой,
Или бесовскою зеленью глаз,
Или беспечной душою поэта,
Что будет петь даже в смертный свой час?..

Время летит за игрой и пирами,
Звёзды помянут — пускаешься в путь...
Знаю, как страшно тебе вечерами
В мутную бездну зеркал заглянуть.

4

В глазах его ясных — холодная просинь,
Пейзаж за спиною — багряная осень.
Серьёзен и сдержан, и будто спокоен,
Не сын он, не брат, не любимый, а Воин.

Такие не знают сомнений и страха,
Таким от рожденья обещана плаха,
Закутанный пламенем — алым плащом —
Склонялся на плаху — и был палачом.

Он божий избранник — и проклятый богом,
Судья, осуждённый, орудие рока,
Всё — с именем бога, во имя любви,
А ночи бессонны и руки в крови.

Всегда и повсюду — за правое дело,
А мир его странен — лишь чёрное с белым,
По разные стороны зло и добро,
И тускло горит на клинке серебро.

Но есть ещё красный — цвет огненной страсти,
Над нею ни смертный, ни вечный не властен,
Он тоже изведает ласковый плен
И тоже склонится у чьих-то колен.

6

Византийские строгие очи улыбки не знают,
Он молчит, лишь углы тонких губ приподняты слегка,
И рассеянны длинные пальцы страницы листают,
И как будто бы светится бледная эта рука.

Что он видит, свой пристальный взор устремив
в бесконечность,
И какую отраду он в скорбном молчанье открыл?
За спиной его тень и небес серебристая млечность,
И не плащ, а тяжёлое бремя изломанных крыл.

Крылья чистые, белые стали от пыли темнее,
И ясней на челе его скорби вселенской печать,
В небесах было просто, а здесь же крылатым сложнее...
В падшем ангеле ангела светлого трудно узнать.

* * *

А было всё так, как не будет с другими...
Он странно моё выговаривал имя —

Как будто молитву, как будто признание,
Как будто на память читал заклинанье.

А взор его светлый, таинственно-лунный,
Был грустный, весёлый, и мудрый, и юный.

Но кто он? Скажу — чародей и безбожник,
Жестокий мечтатель, поэт и художник,

Владеющий равно и словом, и кистью...
А в роще берёзовой падали листья

И тихо по травам осенним шуршали
И даже как будто бы нас утешали,

А осень по листьям опавшим бродила
И раны забытые вновь бередила,

Жестоко смеясь надо мной, над тобою —
Не бывший, не ставший моею судьбою.

* * *

Мне снились ножи и алмазы изящной огранки,
Костры над рекой и дождливость российской весны,
И Разина бешеный взгляд, и глаза персиянки,
И в них — отражение бьющейся в лодку волны.

Я вышла из дома. Над городом плыли туманы
И рубищем серым ложились на плечи домов.
Скелеты чудовищ — застыли портовые краны,
Пронзившие грузную толщу седых облаков.

А северный ветер донёс мне последние всплески
Столетия назад волновавшейся волжской воды,
И было не жалко, что вовсе не нужно и не с кем
Делиться цветами печали и чашей беды.

Тоскливо звучат корабельных гудков отголоски,
Сама — не сама, но мне кажется, что упаду,
Чтоб кануть в прибой, где размокшие чёрные доски,
Со старого пирса, снесённого в прошлом году.

* * *

Если б сломанные крылья
Не болели,
Как узнать, что крылья были
В самом деле?

И в тебе душа поэта,
Мой крылатый,
Но за это, но за это
Есть расплата:

Слабы руки у крылатых,
Сила — в крыльях,
А в руке любое золото
Станет пылью.

* * *

Мы слишком схожи,
Как ночь и вьюга,
И что же можем
Мы дать друг другу?

Воспоминанья
О лунных муках,
О несвиданьях
И неразлуках,

Печать печали,
Бессилье боли...
Вино в бокале,
А привкус соли,

И цвет багряный,
И стали запах,
Восток туманный,
Зажёгся запад,

И встреча эта —
Преддверье сказки
С больным сюжетом,
Где нет развязки.

КОШКА

Девять жизней у кошки —
У тебя лишь одна,
Ты пригубишь немножко,
Я допью все до дна.
Улыбнешься устало,
Истомленный луной,
Я начну все сначала,
Только стану иной.
Мне не страшно — послушай! —
Ни чудить, ни любить,
Драгоценную душу
По частям раздарить,
Оттого-то иначе
Я и жить не могу,

Все до капли растрачу,
А тебя сберегу.
Ты поймешь запоздало,
Что всему есть цена...
Девять жизней — немало,
Но и смерть не одна.

* * *

Тайна и Вечность — мои имена,
Ныне и присно — всегда я одна,
Вьюга поет — я пою вместе с вьюгой,
Быть я могу самой верной подругой,
Ласковой, словно сестра или дочь,
Только друзья мои — ветер и ночь.

Кто-то идет сквозь стремительный снег,
С вьюгой один на один человек,
Кто-то такой же, как я, одинокий,
И для него я не буду жестокой,
Стоит лишь мне прикоснуться рукой —
Сгинут печали, настанет покой.

Голос мой нежен и мягок мой взгляд,
Ночью метельной ты разве не рад
Встретить мечту свою — девушку в белом?
Он улыбнулся так странно, несмело...
В снежную эту шагнув круговерть,
Ласково-ласково вымолвил: «Смерть...»
Снова иду, как и прежде, одна,
Тайна и Вечность — мои имена.

Одинокие сны

Когда я говорю молодым врачам, что слушал лекции академика Воячека, на меня смотрят, как на ископаемое. А я не только слышал голос Владимира Игнатьевича, но и ощутил на себе прикосновение его рук, тонких, сухих и легких, как крылья бабочки.

На втором курсе, зимой, нас, курсантов, частенько выгоняли на мороз скалывать лед на тротуарах улицы Рузовской. В результате я простудился и с воспалением пазух носа угодил в академическую клинику отоларингологии, что и по сей день размещается в здании на улице Клинической. Сначала меня обследовал личный врач Сталина профессор Засосов. Огромного роста генерал, за одну ночь посевший в тюрьме во время знаменитого «дела врачей», гулким голосом спросил: «Ну, что, морячок, будем долбить пазухи? Что морщишься?» А еще через день меня осматривал седенький старичок с ласковыми глазами и манерами земского доктора. Я и понятия не имел, что это знаменитый академик, сделавший в области болезней уха, горла и носа столько, что последующим поколениям специалистов осталось лишь усовершенствовать его идеи. «Давайте с операцией повременим, уважаемый коллега, — сказал он мне, девятнадцатилетнему мальчишке, — сначала сделаем проколы, проведем консервативное лечение, а там посмотрим...»

В начале семьдесят первого года на улице Клинической можно еще было встретить старичка в поношенной шинели с погонами генерал-лейтенанта. Слегка пришаркивая мальчишковыми ботиночками, он медленно направлялся к зданию клиники, доставал из кармана ключ и открывал дверь парадного входа. Уже много лет этим входом пользовался он один. Персонал клиники ходил через гардероб, так было удобнее.

В кабинете Владимира Игнатьевича стоял его бронзовый бюст и, когда академик усаживался за письменный стол напротив своего изваяния, сразу было видно, что бронзовое подобие значительно проигрывает подлиннику. У Воячека после того, как ему перевалило за девяносто, в лице появились черты, отмеченные тем духовным совершенством, которые можно было увидеть разве что у последних Оптинских Старцев.

Как-то утром я шел по Клинической улице и увидел Воячека у подъезда клиники, он, видно, никак не мог открыть дверь. Я подошел и предложил помощь.

Старик сконфуженно глянул на меня:

— Что-то ключ заедает... А может, сил нет.

Я нажал на старинную бронзовую ручку, легко повернул ключ — замок солидно щелкнул, и дверь отворилась.

— Спасибо, дружок. Как ловко у вас получилось. Вы слушатель факультета усовершенствования врачей?

— Так точно.

— И кто по специальности?

— Эпидемиолог.

Воячек удивленно посмотрел на меня:

— Как странно... Я ведь тоже чуть было не стал эпидемиологом. И этой ночью как раз думал об этом.

Когда тебе за девяносто, сны кажутся реальной жизни. В них странным образом сохраняется прошлое: лица, события, краски, звуки и даже запахи канувшей в Лету эпохи. Лет пять назад, кажется, в канун девятнадцатого столетия, он попросил молодого адъюнкта отвести его в Мариинку, — нет, опера или балет ему уже были не по силам, — а просто постоять в фойе. Лучше бы он не ездил. Все здесь было так, как и прежде, десятилетия назад, когда знаменитый театр был его вторым домом, но изменился запах, словно просторное фойе, коридоры, замысловатые переходы обработали дезодорантом, а потом долго проветривали. Вместе с запахами театр покинули и тени прошлого. Все это, конечно же, была чепуха, старческая блажь. Но этой же ночью он увидел сон, настолько отчетливый, настолько ясный, что, проснувшись, долго лежал во тьме, ощущая на щеках слезы. Он видел свой дом неподалеку от Театральной площади, отца, профессора Петербургской консерватории и капельмейстера Мариинского театра, — они стояли вдвоем у распахнутого окна, внизу, в сквере, цвела, благоухала сирень, а за спиной, в глубине квартиры сестра София исполняла скерцо номер два Шопена. Во сне не было обычной зыбкости, когда видения уплывают, раздваиваются, смещается сюжет. Была, пожалуй, только одна несообразность: он выглядел старше отца. Отец, поправляя на груди накрахмаленную манишку, спросил: «Ты в самом деле доволен жизнью?» — «О да, я счастливый человек, отец», — ответил он. Отец с укоризной глянул на него: «Занятия музыкой забросил?» — «В профессиональном смысле — да. Но играю... Скрипка, виолончель... Недавно сочинил „Вестибулярный вальс“». — «Какое странное название...»

Этот сон стал началом целого цикла сновидений, И Владимир Игнатьевич уже без страха ожидал очередную ночь, загадывая, что же посетит его на сей раз. Иногда это были развернутые картины, — он называл их «полотна» и пробовал даже записывать, иногда небольшие фрагменты. Как в минувшую субботу: Пасха, ветреный апрельский денек, голуби в ясном небе, перезвон колоколов, он, слушатель академии, и его учитель профессор-биолог Холодковский стоят на набережной Невы. Лед сошел, но изредка проплывают мимо рыхлые, изъеденные солнцем льдины. «Как поживает ваш батюшка?» — спросил профессор. «Здоров, слава Богу. Намедни спрашивал, над какой частью „Фауста“ вы работаете...»

Иногда Владимир Игнатьевич думал: сны ли это? Или наполненные красками и звуками воспоминания. Мозг, привыкший работать с максимальной отдачей, отмирая, выплескивал напоследок потоки энергии, и они вспыхивали в сознании. Что-то вроде телевизионного эффекта. Когда живешь почти век, уже ничему не удивляешься. Он помнил конку на Литейном, помнил выезд Государя императора Александра Александровича... А вот уже Гагарин в космосе и американцы на Луне. Майор, что помог ему сегодня утром открыть дверь, напомнил, что в его, профессора Воячека, жизни, в которой, казалось, все выверено до последней детали, все же определенную роль сыграл случай. Было это, правда, давно, страшно подумать, в прошлом веке.

29 декабря 1899 года военный министр Куропаткин вручил выпускникам Военно-медицинской академии врачебные дипломы. Прощай, академия! Увязший в снегу лазарет 199-го Сибирского пехотного полка, лай собак по ночам, сиплый звук трубы, треск барабанов на утрамбованном плацу, серые тени солдат, ядреный запах казармы и нескончаемый ручеек больных на приемах.

Офицеры считали его, доктора Воячека, «военной косточкой» — строен, красив, подтянут, на коне сидит не хуже полкового командира, хоть сейчас назначай ротным — не оскандалится на маневрах. А то, что Владимир Игнатьевич водки не пьет, так это даже оригинально, другие младшие врачи не просыхают, на прием придешь, так тут же и закусить хочется. Непьющий лекарь такая же диковина, как силач из второй роты унтер Агатов или полковой священник отец Иоанн, умеющий вещать чревом. А Владимир Игнатьевич к тому же музыкант, на скрипке играет.

С приходом Воячека в полк в офицерском собрании появились накрахмаленные скатерти, и денщики обрели образ Божий, перестали даже совать пальцы в тарелки со щами, подавая господам офицерам. «А ведь эдак, господа, мы и к культуре приобщимся, — сказал поручик Ракитин. — А культура, как известно, приводит к вольнодумству. Вы, любезнейший Владимир Игнатьевич, случаем, не бунтарь?» — «Был, господа, честно признаюсь. Добился, чтобы академия наша перестала выписывать черносотенную газету „Новое время“».

И вот надо же, заштатный полк посетил инспектор Главного военно-медицинского управления министерства обороны профессор Иван Федорович Рачевский. О Рачевском младший врач полка Воячек знал: крупный эпидемиолог, бактериолог, строг, суховат, но справедлив. После осмотра полка столичный инспектор пригласил Воячека к себе. В комнате было жарко натоплено. Рачевский был по-домашнему, без сюртука, предложил молодому врачу сесть, сказал:

— Наслышан о вас от профессора Симановского, знаю, увлекаетесь отолярингологией. Так-с? А бактериологией заняться не хотите? В на-

шем управлении создана бактериологическая лаборатория. И есть вакансия врача. Ежели согласитесь, постараюсь побыстрее оформить ваш перевод. Сразу же оговорюсь: врачу-бактериологу не возбраняется заниматься болезнями уха, горла и носа. Не упустите возможность, коллега, вернуться к научным занятиям. Когда-то еще такой случай представится?

Воячек согласился. Через месяц пришел приказ о его переводе в Петербург.

Бактериологическая лаборатория помещалась в бельэтаже мрачного здания Главного военно-медицинского управления на Караванной улице. Сладковатый запах агар-агара, из которого готовили питательные среды для выращивания микробов, сухое потрескивание спиртовых горелок, в углу стол профессора Рачевского, на стене статистические графики, цифровые выкладки. В те времена это единственный всероссийский эпидемиологический центр, сюда стекались данные об инфекционной заболеваемости в различных военных округах и губерниях обширной империи, отсюда отправлялись вакцины и сыворотки. Магия цифр Владимира Игнатьевича не увлекала, его тянуло в клинику, к больным...

А то как-то приснился Кисловодск. Да так отчетливо. 1910 год, двугорбый Машук в голубой дымке, в недавно открывшемся павильоне «Храм воздуха» отдыхающие пьют кофе. Пестрые шляпки дам, канотье мужчин, гуляние в парке и у игрушечного вокзала, слух, что вот-вот приедет Шалапин, а окраинные, карабкающиеся в горы улочки, хранят память о поручике Тенгинского полка. Так и кажется, затрещат кусты шиповника и возникнет всадник на черкесской лошади. Праздные люди толпятся у странного сооружения: горы белого кирпича, изогнутые трубы, невиданные аппараты.

- Господа, что это такое строят?
- Какой-то ингаляторий, будут лечить людей сухим туманом.
- От чего лечить?
- От похмелья, милейший.

Стройкой руководит приват-доцент Военно-медицинской академии Владимир Воячек. Странно видеть себя со стороны. Кто же ему помогал тогда? Студент Борис Чунин, весельчак и прекрасный организатор. Борис умер в восемнадцатом году от тифа...

Иногда его терзали сны о войнах: Русско-японская, Первая мировая, Финская, Великая Отечественная. Изуродованные лица, вырванные гортани, глухие, немые... Мертвенный свет софитов над операционным столом и жуткое ощущение, что многим ты не в силах помочь, а значит, твоя жизнь бессмысленна. В такие дни, по утрам Владимир Игнатьевич был хмур, неразговорчив, сердился на экономку Наталью, ухаживающую за ним — опять прикасалась к письменному столу! — а укладываясь

спать, мечтал увидеть, скажем, Давос — маленький городок на северо-востоке Швейцарии, где довелось ему побывать в 1912 году, или Вену, клинику профессора Полицера и хорошенькую медицинскую сестру... Господи, как же ее звали? Но опять снились война и эта жуткая эвакуация в Среднюю Азию, где он потерял жену. Тени, тени... Нет, человек не должен жить так долго, не должен переживать свое время.

На работе видения оставляли его, в клинике все было привычно: обходы больных, практические занятия со слушателями, подготовка к операциям. Он уже давно не оперировал, но обстановка в операционной создавала иллюзию его участия. Наконец, можно было укрыться в своем кабинете. Воячек любил свой кабинет, где десятилетиями ничего не менялось, каждая вещь лежала на своем, обжитом месте, где все было под рукой, а это важно, когда начинает сдавать память, и где, казалось, ничто не подвластно времени. Смушал, пожалуй, бронзовый бюст, предназначенный изображать хозяина кабинета, но, по сути, — бездушный идол, символизирующий эпоху вождя, страдающего гигантоманией. Когда Воячек увидел фотографию макета Дворца Советов, который собирались поставить на месте взорванного Храма Христа Спасителя, у него впервые случился сердечный приступ. Если это капище дьявола утвердится в центре Москвы — России конец. И когда бредовая идея отпала, и на месте котлована устроили бассейн, Владимир Игнатьевич, бывая в столице, обязательно сворачивал к этому сооружению. В бассейне, среди желтоватого, пропитанного хлором тумана возились черные, напоминающие мелкие картофелины в котле, люди, и он не без злорадства думал, что вот также в аду будут вечно кипеть грешники, виновные в содеянном святотатстве.

Журналисты, слава Богу, перестали его беспокоить, а тогда, в девяностолетний юбилей, от них не было никакого спасения. Одна девица с крашеными хной волосами, настойчиво добивалась ответа на свой вопрос: «Назовите самое значительное событие в вашей жизни». Он задумался. Таких событий за девяносто лет произошло немало. Но «самое?»

...Может, тот вечер, когда они с профессором Тонковым сидели у «буржуйки» в кабинете, ожидая звонка от наркома Семашко? Решалась судьба академии. Печка дымила, и пламя толстой церковной свечи колебалось от сквозняка. За окном постреливали. Дрова Воячек добыл на вмерзшей в Неву барже и, добираясь до заснеженной Пироговской набережной, едва не угодил в полынью...

...Или день, когда он узнал, что его назначили начальником академии? Пустое. К власти он никогда не стремился, новая должность только добавила забот. И он вздохнул, когда освободился от этого бремени...

И вдруг вспомнил.

...1903 год, май, холодный ветер с залива. Самая большая в академии аудитория кафедры химии — та самая, где читали лекции «дедушка рус-

ской химии» Николай Николаевич Зинин и профессор Александр Порфирьевич Бородин — заполнена полностью. Профессора, врачи, студенты. Стоят даже в проходах. С минуты на минуту должна состояться публичная защита докторской диссертации. Но не имя скромного соискателя вызвало такой ажиотаж. Главный цензор диссертации — профессор Иван Петрович Павлов, он и выступит с оппонентской речью, а его выступления всегда неожиданны.

Учитель Воячека Симановский сказал накануне о Павлове: «Учтите, голубчик, он любознателен до въедливости и прям до резкости». С Павловым соискателю уже приходилось встречаться. Несколько месяцев назад Владимир Игнатьевич обратился в Общество русских врачей с просьбой разрешить ему сделать доклад на одном из заседаний, сообщить о результатах произведенных им исследований вестибулярного аппарата человека с помощью сконструированной им центрифуги. Председатель Общества профессор Павлов обещал подумать и на другой день неожиданно сам явился в мастерскую при клинике.

— Вот что, любезный коллега, покажите-ка мне вашу штуковину в действии, — сказал лауреат Нобелевской премии и стал снимать сюртук.

— Иван Петрович, ведь здесь не прибрано, испачкается.

— Полноте, полноте. Нам ли, физиологам, грязи бояться. Прокатите на этом чертовом колесе?

— Как пожелаете.

— Пожелаю. А как иначе пойму?

Профессор встал на колени и принялся рассматривать станину центрифуги, осматривал дотошно, приборматывая: «Так-с, понятно. Умно, ничего не скажешь...»

Встал, вытер руки ветошью:

— Неужто сами смастерили?

— Отдельные узлы заказывал. По моим чертежам рабочие делали. Опытный образец, оттого и нескладна карусель.

Павлов вцепился в бороду, хмыкнул:

— Станину я бы укрепил. А так — прекрасно. Редкий, знаете ли, случай, когда врач с техникой управляется. Кстати, откуда у вас такая необычная фамилия — Воячек?

— Отец — чех.

— Понятно. Так вот, я думаю, вы еще не до конца оценили огромную значимость вашего изобретения. Авиация развивается, а главным в авиации, как ни крутите, все же человек остается, с его вестибулярным аппаратом. Что ж, как говорили древние: «Через тернии — к звездам!» Ждем вашего доклада на ближайшем заседании Общества...

...Свою речь на защите диссертации Воячек не запомнил, от волнения периодически начинало звенеть в голове, как перед обмороком.

А вот заключение Павлова запомнилось на всю жизнь: «Главная ценность рассматриваемой диссертации — в ее соответствии понятиям современной научной физиологии. А это, господа, огромный шаг вперед!»

По-видимому, Владимир Игнатьевич на мгновение уснул, потому как ему открылся простор аудитории, сотни глаз устремлено на него, а за окном — гранит набережной, отсекающий вороненую сталь Невы. Голос корреспондентки пробился сквозь немоту: «Простите, вам нехорошо?» А рядом встревоженное лицо ученика, профессора Константина Львовича Хилова.

Воячек тихо рассмеялся:

— Самое главное в моей жизни, уважаемая, ученики. Да! И знаете, сколько их? Взвод докторов наук и, как минимум, два взвода кандидатов. Вполне боеспособное стрелковое подразделение.

Воячек скончался на моем дежурстве. Еще в пять часов вечера, заступив помощником дежурного по академии, я видел старика, а где-то в начале четвертого утра позвонила его экономка. Дежурный отдыхал, потому трубку взял я: тихий, увядший голос сообщил о горестном известии. Сделав необходимые распоряжения, я разбудил дежурного, сказал ему о кончине академика и что нужно доложить начальнику академии.

Дежурный, подполковник с кафедры фармакологии, испуганно моргал глазами:

— Вы с ума сошли? Сейчас четыре утра, генерал еще спит.

— Полагаете, что будет лучше, если Николай Геннадьевич узнает о случившемся из других источников? Сомневаюсь

Я учился на командно-медицинском отделении факультета усовершенствования врачей, сам собирался стать начальником, и нрав начальства мне был известен.

— Как хотите, но я звонить не буду. Боюсь.

Я набрал нужный номер и тотчас услышал знакомый голос, генерал, похоже, уже не спал. Выслушав меня, хмуро спросил:

— А где дежурный?

— Проверяет караулы. — Я подмигнул протирающему очки подполковнику.

— Хорошо, что вы мне позвонили. Спасибо. Нужна моя помощь?

— Основные распоряжения сделаны, товарищ генерал-полковник. Остальное — до утра терпит.

— Всего доброго, до встречи.

Начальник академии положил трубку, а у меня перед глазами возникла легкая, как бы уже лишенная плоти, фигура старого академика, постепенно растаявшая в сумраке, затопившем Клиническую улицу.

100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ



Сергей МОИСЕЕВ



Евгений АНТАШКЕВИЧ

В память об исторических событиях столетней давности журнал «Аврора» публикует уникальное интервью с участником Первой мировой войны *Сергеем Игнатьевичем Моисеевым (1895–1994)*.

Сергей Игнатьевич прожил долгую жизнь, воевал в Великую Отечественную войну в чине подполковника, являлся бойцом внутренней разведки группы СМЕРШ. Магнитофонная запись его воспоминаний была сделана петербуржцем Юрием Сергеевичем Поповым в 1989 году в Белоруссии и до настоящего времени бережно хранится в домашнем архиве историка-энтузиаста. Фрагменты интервью уже публиковались в сборнике «Ветеран» № 4 за 1990 год, но Юрий Сергеевич продолжал работать над этой темой и поделился с нами своими историческими открытиями.



Юрий Сергеевич Попов и Сергей Игнатьевич Моисеев

Отправляюсь на фронт

Перед началом Первой мировой войны я (Сергей Игнатьевич Моисеев) работал в Москве на заводе Гужона нормировщиком. В месяц получал двадцать пять рублей, из которых пять рублей уходило на оплату жилья, десять-двенадцать — на питание и примерно восемь рублей у меня оставалось на различные нужды. Прежде всего, я копил деньги для отправки в деревню — матери, а остальные средства уходили на образование. Я подписался на комплект учебников из пятнадцати томов издательства «Благо» «Гимназия на дому» и с удовольствием погрузился в процесс самообразования, отдавая предпочтение точным наукам — математике и физике. Впрочем, процесс самообразования длился недолго: шла война, к которой Россия не была готова, в чем я очень скоро убедился на собственном опыте.

В середине августа 1915 года я получил «Казённый пакет», в котором мне предписывалось явиться 28 августа в одну из школ по указанному адресу. В назначенный срок я, вместе с другими призывниками, предстал перед комиссией. Оформление необходимых документов происходило быстро. Далее призывники попадали в руки врачей. Осмотр проходил, как мне показалось, формально. Жалобы призывников на здоровье в расчет не принимались. Ответ на них был один: «В армии учтут ваши недуги и используют не в строю, а в тыловых структурах».

После осмотра нам было объявлено, что отправка в воинские части начнётся с 11 сентября, о явке будет сообщено дополнительно.

Стрелой пролетели две недели неожиданного отпуска, и вот я уже в Учебном полку 192-й стрелковой дивизии.

Обмундирование нам выдали какое-то странное, совершенно не похожее на военную форму русской армии. Гимнастерка и брюки какого-то неопределённого грязно-серого цвета, плохо выстиранные, местами прохудившиеся; под стать им брезентовые поясные ремни. Шинели тоже странные из хлопчатобумажной ткани, вроде «чёртовой кожи» и тоже выдававшие виды, некоторые шинели — с заплатками. Головные уборы — непонятно какого срока носки и какой формы. Нарядившись во всё это, мы были похожи не на солдат, а на бродяг. Но на этом наши злоключения не закончились. На следующий день, когда мы приступили к занятиям по учебному плану, нас стали знакомить с оружием, которое в европейских странах можно было увидеть только в музеях.

Нашему взводу, например, выдали для изучения старинные гладкоствольные, однозарядные ружья системы «Бердан». Другому взводу выдали такие же древние ружья системы «Гра». Кроме того, выдавались старые японские ружья и американские винтовки системы «Винчестер». Последние были очень капризны, особенно при сборке. Все эти ружья нас учили разбирать и собирать, требовали запоминать название всех деталей, их назначение и взаимосвязь. В дальнейшем мы никогда с этим оружием не сталкивались. Мы рассчитывали, что на фронте нас вооружат отечественными винтовками системы Мосина, но этого не случилось. На фронте нам выдали трофейные австрийские винтовки.

Нас не знакомили с устройством пулемёта и тактикой его применения в бою, зато усердно учили тактике встречного боя с широким использованием практики штыковой атаки, сопровождаемой громогласным «ура». Мы ни разу не держали в руках боевых гранат, никогда их не видели и не знали их устройства, правда, макеты гранат бросали во время учений в окопы предполагаемого противника. Следует заметить, что занятия по строевой и тактической подготовкам сопровождались рукоприкладством.

Незаметно пролетели недели и месяцы пребывания в учебном полку. И вот утром 29 марта нам объявили, что с очередной 67-й маршевой ротой мы должны отправиться на фронт. С одиннадцати часов дня началась выдача денежного довольствия на месяц из расчета семьдесят пять копеек в день. К вечеру нас отправили на железнодорожную станцию, где у эшелона новобранцев встречал командир батальона. Он подошёл к нескольким солдатам с одним вопросом: какое у тебя настроение. Услышав удовлетворительный ответ, он тут же уехал.

С наступлением темноты поезд тронулся в путь... Шепетовка, Здолбунов, Ровно... Темнота. Мы разгрузились на какой-то небольшой станции. Здание вокзала и прилегающие постройки были разрушены. После нескольких минут ожидания поступает приказ вновь занять свои места в вагонах. Состав трогается, но вскоре вновь останавливается у разъезда Рудочка. Это был конечный пункт нашего маршрута.

Не останавливаясь на деталях фронтовой жизни, хочу рассказать о малоизвестной истории. 9 мая перед строем нам объявили, что из каждой роты необходимо выделить по два человека для формирования экспедиционного корпуса, который будет переброшен во Францию для оказания помощи союзнику. Выделенные солдаты в тот же день были отправлены в тыл. Об их дальнейшей судьбе мне ничего не известно.

Брусилов и его тактика

Первое впечатление от пребывания на фронте было под стать тому, которое сложилось еще в запасном полку, когда мы изучали «музейные» образцы оружия. Впрочем, это впечатление стало меняться, когда вместо генерала Иванова в командование Юго-Западным фронтом вступил генерал Брусилов. Он начал тщательнейшим образом готовиться к наступлению. Для этого при каждой дивизии Брусилов организовал учебные полки для основательной подготовки солдат к предстоящим боям. На ряде участков фронта он создал узлы связи, чего до него не было. Особое внимание было уделено артиллерийскому обеспечению. Было организовано круглосуточное наблюдение за огневыми точками противника, в результате чего была составлена подробная карта расположения вражеских батарей артиллерии, пулемётных и миномётных точек. Всё это дало возможность в дальнейшем обстреливать вражеские позиции не по площадям, а по конкретным целям.

По распоряжению генерала Брусилова, в 12–15 точках фронта, которые занимали части, определённые для прорыва, были созданы укрепления в непосредственной близости от переднего края обороны противника, перед проволочными заграждениями. Сначала эти наши позиции подвергались ожесточенному артобстрелу, и мы несли немалые потери. Однако постепенно противник привык к этим новым по-

зициям русских войск, расценивая их как чудачество. А «чудаки» между тем достаточно точно определили расположение узлов сопротивления и огневых средств противника, и в один прекрасный день — 22 мая 1916 года (ст. ст.) — обрушили на врага шквал артиллерийского огня. Налёт продолжался примерно час, затем стало тихо, и неприятель приготовился к отражению атаки русских, выведя из укрытий орудия и солдат. Однако вместо атаки был вновь произведён мощный артоналёт, проделавший немало брешей в обороне противника. И так продолжалось раз пять или шесть, что существенно ослабило оборону австрийцев, после чего русские войска с минимальными потерями осуществили прорыв первой линии обороны и стали успешно развивать наступление вглубь территории, занятой неприятельскими войсками.

Представители союзников России, сразу после прорыва появившиеся в районе дислокации наших войск, высоко оценили этот военный успех на Восточном фронте.

Наш 406-й Щигровский полк 102-й стрелковой дивизии 8-й армии, преодолевая слабое сопротивление австрийцев, продолжал своё победное продвижение на запад. Под ободряющие возгласы ротного Жидкова, полного Георгиевского кавалера, мы стремительно освобождали один населённый пункт за другим, и на восток потянулись многочисленные колонны пленных.

Однако вскоре наше продвижение на запад стало замедляться, а кое-где и вообще прекратилось; непрерывные дожди превратили болотистую местность в непроходимые топи. Пополнения полк давно не получал, и его боеспособность падала с каждым днём.

В один из дней мы достигли небольшой деревушки Бабино, вблизи которой окопались и стали обстреливать неприятельские укрепления и наблюдательные посты. Прибывшие на фронт в помощь своему союзнику немцы в это же самое время нащупали уязвимое место в нашей обороне, на стыке двух полков, прорвали здесь наши позиции и вышли нам в тыл. В итоге, часть нашего полка оказалась в западне. Боеприпасы были на исходе, управление боем нарушилось. И несколько десятков солдат, и я в их числе, оказались в безвыходном положении — попали в плен. Наш ротный Жидков, всегда находившийся впереди наступающих, тоже попал в группу окруженных. Убедившись в безысходности создавшегося положения, он застрелился.

Плен

Разоружив нас, немцы погнали остатки нашей и соседних рот в деревню Бабино, которую мы только что обстреливали. На окраине деревни, удалённой от переднего края, собралось около полусотни пленных, в том числе около десятка раненых. Здесь, после небольшой заминки, нас построили в колонну и под конвоем двух

конников повели в тыл. По пути к нашей небольшой колонне добавилось еще две-три партии пленных, человек сто пятьдесят. Мы шли на запад, а навстречу нам сплошной массой двигались немецкие войска, спешившие закрыть образовавшуюся в ходе нашего наступления брешь.

В наступивших потёмках наша колонна достигла какой-то деревушки, где и заночевали. Пленные буквально валились с ног от усталости. Утром мы отправились дальше и к вечеру достигли небольшой железнодорожной станции, где нас погрузили в товарные вагоны и повезли на запад. К исходу следующего дня наш состав прибыл на станцию Калиш. Здесь нас всех наголо остригли и побрили, мы единственный раз в плену вымылись в душе с мылом.

Неподалёку от Калиша, близ местечка Скальмержище, располагался лагерь для военнопленных, построенный русскими пленными еще в 1914 году после поражения в августе армии генерала Самсонова. После обеда, устроенного Русско-Польским комитетом Красного Креста, нас развели по баракам, по сорок человек в каждый, и выдали небольшие кусочки материи с номерами, которые надлежало пришить к мундиру или гимнастёрке с левой стороны груди. Мне достался номер 38145.

Начались лагерные будни. Еда была отвратительная, свирепствовали болезни. Через некоторое время нас перевели в лагерь Стрелково, где кроме русских находились пленные французы, быт которых был организован намного лучше, нежели наш, так как им помогал французский Красный Крест.

Пройдя несколько лагерей, расположенных на территории Германии, мы оказались на станции Ромбах, западнее которой уже начиналась Франция. Здесь нам предстояло работать на шахте. После того, как нам присвоили новые лагерные номера, нас повели на погрузку вагонеток. Куски железной руды лежали вдоль путей, и нам приходилось в быстром темпе кидать их в вагонетки. Конвойные непрерывно контролировали каждый наш шаг. То и дело в ход шли приклады и угрозы расстрела.

Известие о Февральской революции в России дошло до нас с большим опозданием. Мы узнали о ней сначала от французов, работавших в шахте в качестве вольнонаёмных, а позднее из газеты «Русский вестник», выходившей в Германии для пленных два раза в неделю. Октябрьская революция 1917 года была встречена нами с восторгом, хотя первоначально не принесла нам никакого облегчения, нас продолжали нещадно эксплуатировать и истязать. Однако спустя некоторое время, мы стали замечать ослабление железной немецкой дисциплины. В первых числах ноября 1918 года до нас стали доходить слухи, что в ряде городов Германии рабочие начали бастовать.



Провозглашение манифеста о начале войны 20 июля 1914 года



Приезд Николая II в Барановичи. Апрель 1915



Генерал А. А. Брусилов на станции Ровно. Октябрь 1915



Полковой священник в лазарете



Переезд на Южный фронт. Июль 1916



Санитары и пехотинцы в противогазах иностранного производства

И в один прекрасный день, в воскресенье 14 ноября 1918 года, встав утром, как обычно, мы с изумлением обнаружили, что здание комендатуры, стоявшее у ворот, опустело. Исчезли и все часовые и надзиратели, водившие нас на работу. Это произошло через три дня после заключения перемирия между Германией и Антантой. Пленные стали выходить за ворота лагеря и разбредаться кто куда, в поисках пропитания. Через несколько дней в лагере появились французские офицеры и сообщили нам о том, что французское правительство берёт на себя заботу о нас.

20 июля 1920 года начался наш путь на Родину. Без подсчета и конвоя наша колонна, руководимая лишь двумя или тремя французскими офицерами, двинулась в направлении железнодорожной станции Аппефлей, где нас ожидал небольшой состав. После погрузки поезд двинулся на Марсель. По пути к нашему составу были присоединены вагоны с бывшими пленными из фортов Сальберт, Де ла Жустик и других. В Марселе нас ожидали суда «Николай I» и «Александр III» под русскими флагами, а также «Батавия» и «Алегри» под флагами Бразилии. Мы, как внеклассные пассажиры, заняли места в трюме, и 28 июля благополучно прибыли в Константинополь. Здесь нас пересадили на болгарский пароход «Царь Фердинанд» и турецкий «Кацуя Ерна». Во время плавания по Чёрному морю, кораблям пришлось пережить шторм, и лишь 31 июля, напряженно всматриваясь вдаль, мы увидели полоску родной земли. Люди кричали «ура», обнимались, целовались, многие не могли сдержать слёз. На наших пароходах взвились белые флаги, под которыми мы и приблизились к Одессе.

Так для меня закончилась Первая мировая война.

Литературная запись Ю. С. Попова

Драгуны¹ 1915 год

Роман

Документы и письма

*Дорогая, многоуважаемая
Татьяна Ивановна!*

Вот такие они дороги войны — не знаешь, где найдешь, где потеряешь! Наша встреча была столь неожиданной, что я долго не мог прийти в себя.

А счет у нас, если на манер английской игры «football», все же в пользу немцев, или как говорят наши драгуны — «германцев»: 3:2. 8-го февраля немцы окружили и практически полностью уничтожили и взяли в плен двадцатый корпус генерала Булакова. До меня донесли сведения, что спаслись два или три полка. Они вырвались из окружения и ушли в крепость Гродно.

А наш полк успешно избежал бомбардировки крепости Осовец, мы вышли оттуда за день или два. Сама крепость вроде уцелела.

Но уже 18-го февраля немцы начали наступление на Прасныш, это примерно в ста верстах от Варшавы на север и примерно на таком же расстоянии на запад от Ломжи. Наш полк в этом сражении не участвовал, нас отправили из Ломжи на север, на крайний правый фланг нашей двенадцатой армии на разведку и вместе с Третьим Кавказским корпусом удержание этого фланга. Под Праснышем досталось первой армии старика генерала Литвинова. Он ждал удара юго-восточнее, на левом фланге, а германец ударил в центре, прямо по первому Туркестанскому корпусу, хотел в Прасныше закрепиться, чтобы дальше развивать наступление на запад на Гродно. Не получилось.

Сейчас нами командует генерал Плевэ Павел Адамович. Таких бы побольше. Он не ждет, а сам бьет! Вот это правильно. Он отправил в помощь 1-му корпусу армии Литвинова свой 2-й и они «дали немцу». Так говорят наши драгуны. 22-го или 23-го февраля все закончилось. Прасныш снова наш. Я был в нем до войны, когда ездил в Германию на воды. Уютный польский городишко. Что-то от него сейчас осталось? Любопытны польские паненки! Но Вы об этом никогда не узнаете, и у меня пусть это останется только в памяти. Вообще, война, как железная метла, все сметая на своем пути, оставляет руины и мертвых. Это ужасно. И не-

¹ Окончание. Начало см. «Аврора» № 1/2014.

которые судьбы. Есть у нас один вахмистр. Жутко сказать, откуда его забросила судьба, аж с самого Байкала. Под Осовцом он совершил какой-то героический подвиг, чуть ли не взорвал две самые большие немецкие мортиры, они называются «Толстушка Берта». Пушка сеет смерть, а ее называют смешным и одновременно ласковым женским именем. Странные они люди — эти человеки. Об этом подвиге в полк из крепости Осовец прислали короткую телеграмму. А пакет от коменданта крепости этот вахмистр то ли потерял, то ли еще чего, да только не довез. Так никто и не понял. И остался вахмистр без награды.

Мы стоим в Ломже уже две недели. Наши эскадроны несут разведывательную службу на север и на запад. Бывают стычки, есть раненые и убитые, но немного, так что работы у меня мало и, слава Богу. Жалко их, и драгун и пехоту. Оторвали крестьянина от его сельского дела и перемалывают в грязь. Но это ладно, все же есть за что биться, не Россия объявила войну Германии, а наоборот. Однако не все это понимают и говорят, что уже появились недовольные. Спортивный дух войны у солдата основательно выветрился. Жалко убитых, но они этого даже не узнали, а сколько покалеченных — без рук и без ног? Как там мой крестник полковник Розен? Выжил ли? У него вполне могла развиться газовая гангрена.

Тешу себя надеждой, что Ваш дядюшка исполнил обещанное Вашей мамушке, и Вы служите в тыловых госпиталях.

Сегодня уже 28 февраля. Не високосный год. И кажется, что чем короче месяцы, тем скорее кончится война. Бред какой-то, разве война зависит от длины месяца? Тогда пусть были бы по одному дню — двенадцать дней, а не месяцев, и год войны прошел. Однако это я уже выпил семь рюмок разведенного.

Пора спать, и Вам спокойной ночи. Завтра проснусь и все лишнее вычеркну. Не переписывать же!

Как сказано в Библии: не погибнем, но изменимся!

Всегда Ваш, Алексей Курашвили «Гирьевич», как говорят наши драгуны.
28 февраля 1915 года от Рождества Христова.

Март

«1 марта 15 г., воскресенье.

Пришли со службы. Отстояла тяжело. Буду отдыхать. Тетушка спросила, что буду есть — заказать кухарке. Ничего не хочется. Жоржик просится на улицу. Дальше двора просила не ходить, но куда там».

«2 марта, понедельник.

Утром проводила Жоржика в корпус. Все же жаль его, лучше бы учился в гимназии, все был бы при мне, а так, отпускают только в вос-

кресенье, а других детей, если кто плохо себя ведет, и вовсе не отпускают, а ко мне проявляют благосклонность, я ведь в положении».

«4 марта, четверг.

Утром писать не было сил. Сильно толкается малыш. Или малышка. Лучше бы малышка! Малыш уже есть, хотя и вырос, 12 лет, а ростом уже ко мне подбирается. Скорее всего, высоким не будет — не в отца, скорее в меня, но крепкий. Но не написать не могу. Жоржик прибежал домой совершенно неожиданно, их отпустили до вечера из корпуса в честь победы под Осовцом, мол, наши не сдали крепость. Принес переписанную из какой-то газеты статью, прямо в школьной тетради, чуть ли не по Закону Божию (ох, и влетит ему), и принялся мне читать. Было интересно, и слушать его и смотреть на него. Статью написал какой-то военный журналист, судя по фамилии, поляк, очевидец осады этой крепости. Написал, что смотреть на эту осаду и обстрел со стороны было страшно. А как, интересно, ему удалось смотреть со стороны? Это с какой? Но Жоржик об этом, конечно, не задумывается, и читал громко, как стихи, когда был маленьким со стула, с табуретки. Мол, Осовец, это русский Верден! А что такое Верден, он, конечно, знает. Они в корпусе следят по газетам, их проносят тайно, так он мне все и рассказывает. Я его слушала, а сама вспоминала, как в детстве с родителями мы проехали всю провинцию Шампань, а Верден был где-то на севере. Мы, когда возвращались в Бельгию, помню, проезжали какое-то место с похожим названием. Верден. Осовец. А где-то сейчас Аркадий? Не там ли? Не в Осовце ли? Тетушка хорошо помнит эти места. Говорит, что они с дядюшкой там служили: Гродно, Ковно, тогда Осовец только начинали строить.

Надо покормить Жоржика и отправить его с дворником, а то уже почти темно. Это ж сколько будет упреков и неудовольствия! Страшно подумать. Но отпускать его одного уже боюсь, что-то происходит в городе. Спаси, Господи!»

«8 марта, воскресенье.

Только вернулись с тетушкой с прогулки. Погоды стоят чудесные. На Венце только дует, так там всегда так! Март дружный, уже в парке поют птицы. И шевеление воздуха теплое.

Надо писать с «Ё», всё же здесь её, букву, произвели. Надо бы памятник ей поставить, или ему. Кто придумал. А то ведь привыкнут и забудут, лет через сто! Карамзин, что ли?

Да только вот дело не в ней. Не в букве.

Гуляли с тетушкой после обеда. Мне тяжело, но надо. Солнышко уже припекает, уже, где нет тени, снег подточен и стал серый. Всё было

спокойно, прогуливавшихся немного, меня уже знают и здороваются. Милые они люди — симбирцы. Радужные. Скромные.

Потом на Венец пришла конная полиция и целая демонстрация! С флагами и какими-то лозунгами. Мы отошли в сторону. Демонстрация праздновала, а может, не праздновала день 8 марта. Я сначала не поняла, что это за праздник? Спросили урядника, он тоже не знает, сказал, какой-то «силидарности». Наверное, «солидарности». Кого? С кем? Мы стали прислушиваться. Какой-то мужчина встал ногами прямо на лавочку и стал что-то говорить о «солидарности между трудящимися женщинами всего мира». Мы так ничего не поняли. Стала болеть спина, и мы ушли.

Что это такое? В Питере такого не было. 9-е января было, а 8 марта не было. 8 марта в календаре, конечно, есть, а праздника не было. И что за праздники во время войны?»

«10 марта, вторник.

Удивительно, но загулял дворник. Такой тихий мужичок, никогда слова не скажет, все только: «Как есть, барыня!», «Будет исполнено, барыня!», «Не извольте беспокоиться, барыня!» А тут...

Даже не знаю, как такое доверить бумаге, это же навсегда...

Напился! С утра! И весь день ходил по двору с метлой и бормотал невнятное. Кухарка, было, хотела его усовестить, но он ей такое сказал, что до сих пор сидит у печки и плачет, а мы с тетушкой не можем добиться, что же он ей сказал, она только утирает слезы и отмахивается, срамно, говорит. Однако мы своего добились: «Дворник, — говорит, — ждет революции... тогда всем барам будет конец, и по всем усадьбам пустят красного петуха...» Дальше она что-то говорила про какого-то «тутошнего», который «главный революционер и, что он в России всем и заправляет...» Это нам было совсем непонятно. Что тетушка, что кухарка Софья, местные, здесь родились и всю жизнь прожили. Потом, правда, тетушка вспомнила, что, когда дядюшка служил в Варшаве, сына местного попечителя училищ казнили за попытку или покушение на царя, но остальные его дети вполне порядочные. Мне другое непонятно, газету, любую, что петроградскую, что московскую, что местную, нельзя взять в руки, столько там злобы и желчи по поводу наших военных, а в чем они виноваты, не они же объявили войну, они только на ней воюют, получают увечья, ранения. Спаси, Господи, и пронеси! Кстати, сколько вижу тут господ в военных мундирах, а почему они тут, а не там? Говорят, открыли еще один госпиталь, тех, что есть, уже не хватает, уже кладбища не хватает, так вроде собираются отвести землю под новое, специально для военных. И переполненные рестораны. Жоржик как-то спросил меня ни с того ни с сего, мол, а мы пойдем в ресторан? Тетушка еле

успела прикрыться платком, благо в руках был, чтобы не рассмеяться. И я обомлела. Потом выяснилось, что в корпусе учатся несколько мальчиков из купеческих семей и для них ресторан не есть слово незнакомое. Я хитренько потом у Жоржика выпросила, а знает ли он, что это такое. Он долго думал и сказал, что знает: «это где цыгане кушают, играют и танцуют». Тогда я его спросила, а, мол, ты что там будешь делать? Жоржик так и не ответил. Вот что значит: слышал звон, да не знаю, где он, и когда в приличное общество попадают из других сословий.

А рестораны полны, и цыгане в них, говорят, озолотились, так много появилось откупщиков, которые зарабатывают на военных поставках.

Кому война, а кому мать родна».

«17 марта, вторник.

Не писала неделю, недомогала, ходила сонная и голова кружилась, потому писать было нечего. В воскресенье тетушка ходила на рынок с кухаркой. Скоро Пасха, осталось пять дней. В этом году она ранняя. Мне, как беременной, можно есть и скоромное, но совсем не хочется, а вот подумала, чем будем разговляться, и так всего захотелось! Скоро кончится Пост. Я много всего передумала, много молилась. К тетушке приходит отец Бенедикт, странное имя для православного батюшки. Старенький, седенький, умильный. И пахнет от него сладким. Очень хочется назвать его Зосимой, как в «Братьях Карамазовых», я его себе таким и представляла. Молится, слов не слышно, а душевность от него исходит... духовность. Так хочется спросить, кто у меня будет, но боязно. Детки — дело земное все-таки! И обидеть боюсь, знаю, что скажет, мол, кого Бог пошлет, того и роди и люби. Еще ходит доктор и акушерка. Это другие люди, земные. Доктор говорит, что будет девочка, а акушерка шепчет — мальчик. А сама я чувствую, что... нет, не доверю этого бумаге. Только чувствую, что хватит солдат».

«18 марта, среда.

Вчера ко мне пришла кухарка. У нее сын моряк на Балтийском флоте, матрос. Кухарка рыдает, мол, давно от сына не было весточки. Тетушка этого мальчика хорошо знает, кухарка Софья много лет служит в доме, и они вдвоем, когда дядюшка почил, провожали его в армию. Так она ко мне с просьбой, мол, вы люди военные и всё знаете, как бы мне, это она просит, разузнать, что там с моим сыночком. А тетушка, я это слышала, а потом догадалась, в это время под дверью стояла и слушала. Иногда они мне кажутся, как сестры, если Софью приодеть. И возраста почти одного, и в одном доме живут уже

не один десяток лет. Милая она. И вкусная, готовит — пальчики оближешь. И у меня мелькнула мысль, но не знаю, как приступить. Его зовут Андрей Пантелеймонович Сойкин. Тут странное дело, надо бы Аркадию написать, все забывала, про нашего соседа с Садовой Илью Ивановича Стрельцова. Вот сейчас запишу и тогда не забуду. Перед самым отъездом сюда я встретила Илью Ивановича, и было странно, что он был одет в морскую форму. Было мало времени и некогда долго разговаривать, только он обмолвился, что по делам службы переводится в Ревель и будет там служить по морскому ведомству. Как это так получается, я не понимаю, да и мое ли это дело? Может быть, Аркадий сможет его разыскать, и поможем Софьюшке разыскать сына. Дело-то благое, а какие еще дела делать в Пост Великий, только благие. Сегодня уже не буду, а завтра или на днях Аркадию напишу, да и от него уже долго писем нет, однако и в списках тоже нет. Дай-то Бог!»

«19 марта, Чистый четверг.

Вчера дворник ходил виноватый, а предыдущие дни, как напился, так старался не показываться на глаза. Знает ведь, напиваться в Великий Пост грех. Однако — бобыль, в руках никто не держит, вот он, видимо, и дал себе слабину. А тут с полночи принялся под Чистый четверг для тетушки баню топить. Она встала до света и меня подняла. Я пошла, так они с Софьей такого пару развели, что я чуть не задохнулась. В парную звали, но не пошла, а просто умылась с серебра. А уборку все вместе производили, и вот счастье, говорят же, что если убираться в Чистый четверг, можно найти то, что казалось давно утерянным. Мне было ужасно жалко потерять мамин гребень сандаловый. Ей бабушка подарила, и сколько ему уже лет, а все еще запах не выветрился, терпкий такой, пряный, если им расчесать влажные волосы, они до вечера сандалом пахнут, духов не надо. Я стала перебирать вещи, а дворник отодвинул шкаф, и горничная выметала оттуда пыль и вымела гребень. Как же я обрадовалась! Это хорошая примета, не понимаю только, как он туда попал. Я только пришла из бани, скинула с волос полотенце и вот он — гребень. Обмыла его, хотя комнатная пыль — что в ней? Вот волосы у меня сейчас и пахнут. Буду беречь его как зеницу ока. А вдруг родится девочка, тогда от меня ей перейдет. Это и есть счастье! Софья сейчас соль жарит и радуется, что не трещит и не шипит, соль. Значит, нет сглазу, и дай Бог!»

«20 марта. Страстная пятница.

Всегда боялась этого дня, с детства. Это же сколько Спаситель всего перенес за грехи наши. Тетушка ходит во всем черном. Ничего не

ем, как можно? И голода совсем не испытываю. Завтра должны Жоржика отпустить».

«21 марта. Великая суббота.

Слава Богу, Жоржика отпустили. Похудел. В корпусе Пост держат строго. Это ничего, надо привыкать, он уже большой. Пристал ко мне, когда поедем в Иерусалим, ему хочется посмотреть, как нисходит Благодатный огонь, меня спрашивал, любопытный. А как нисходит? Так и нисходит, потому что Благодатный.

И смертью смерть поправ! Сохрани нам всем жизнь, Господи!
Пора собираться ко Всенощной!»

«22 марта. Пасха.

Отстояла Всенощную до 3-х ночи, как будто бы парила! Так легко было на душе! Такое счастье испытала, и Жоржик был рядом. Это — счастье. Нет только Аркадия.

Разговелись.

Софья наготовила. Я всегда удивлялась, как кухарки и повара, которые начинают готовить, когда Пост еще не кончился, как им удается все приготовить и ничего скоромного не попробовать. Это какое ангельское терпение надо иметь. А Жоржик вокруг стола извелся, но тетушка строго присматривала, чтобы не хватал кусков, как она говорит — «не кусошничал». А уж когда сели... Пересказать мочи нет, так все показалось вкусным. Расстаралась Софьюшка: и гусь печеный, и борщ с чесночными пампушками, и пол свиной головы в винном соусе и... Хоть снова садись за стол, а Жоржик набрал пирожков с яйцом и рубленным мясом и пошел угощать, кого, даже не знаю. И пусть его, мальчик растет добрый. И все к моему животу присматривается и молчит. Характер! Мужчина! Странно, но весь Великий Пост спала без снов. Или не запомнила ни одного. А во время Всенощной мое дитя внутри меня, будто тоже молилось, вело себя так спокойно. Не знаю, какими надо быть людьми, чтобы не веровать в Бога. Они — безбожники! Одно слово!»

«23—25 марта.

Визиты! Тетушку знает весь Симбирск, и тетушка знает весь Симбирск. Это не Питер! Сколько же у нас перебивало народу, и к нам, и мы. К нам в понедельник только полицейские не зашли. И то, у ворот околоточный стоял, так Софья и тетушка и поднесли ему и с собой дали! Славные люди. И начальник корпуса, и все преподаватели, и из гимназии и городского управления, и земские и предводитель, и даже губернский жандармский начальник. Как там его прелестная жена? Тоже беременная, только ей еще июля ждать. Славно! Я во вторник

много визитов не сделала, а тетушка, та затемно пришла и, по-моему, даже выпила! Ну и хорошо! И я бы выпила!»

«26–28 марта.

Мое дитя взбунтовалось. И ножками и ручками. Дотерпело бы до срока, до конца мая. И я взбунтовалась, то радостно до небес, то на мир смотреть не хочется, поэтому не писала, старалась спать. И сильно болела спина. Сейчас пишу и тоже сплю. Надо подсказать Жоржик, что пора думать о переходных экзаменах, а то в воскресенье было домой не позвать. Весна!»

«29 марта, воскресенье.

Сегодня было такое, что не записать не могу, хотя и прихварываю.

Сегодня мы гуляли с Жоржиком. Тетушка тоже прихварывает — мигрень, погода нахмурилась и набухла тучами, как бы не со снегом. Но мы с Жоржиком все же пошли. Софьюшка собиралась, но я попросила ее остаться с тетушкой, чтобы не одна. На Венце, как говорят, еще до войны положили асфальтовую дорожку, прямо вдоль обрыва, и поставили красивую чугунную решетку вместо старой ограды. Снег на черном асфальте растаял и тает каждый раз, когда выпадет, поэтому гулять не скользко. От нашей Большой Саратовской это недалеко, только немного вверх до пересечения с Дворцовой, и сейчас тоже не скользко. Над левым берегом Волги стоял туман, но берег видно. Волга еще во льду, но лед уже серый и как будто бы дышит. Но это так кажется, потому что с Венца этого, конечно, не видно, слишком высоко и далеко. Мы с Жоржиком шли по дорожке. Прогуливавшихся было мало. Жоржик все бегал туда-сюда, а я шла прямо, искала, где можно присесть отдохнуть. Тут Жоржик подбегает ко мне и показывает рукою вперед. Я посмотрела. Мы уже подходили к самому высокому месту Венца, и будто памятник — на белом, как снег, жеребце сидит всадник и смотрит через Волгу. Издалека было не видно, кто это такой. Мы пошли к нему, Жоржик ухватился за мою руку. Подошли ближе, на белом арабском жеребце сидел полковник. Только когда мы подошли совсем близко, жеребец стал переступать, тогда полковник поворотил его, и я увидела, что левый рукав у него пустой и заправлен в карман шинели. Я его не знаю, и об этом полковнике никогда не было речи. На жеребце он был высоко, и я не разобрала, какого он полка. Надо расспросить тетушку про этого полковника. Явно он с войны и после ранения. Удивительная фигура, символическая, действительно, как памятник. Такие памятники я видела за границей и в Питере памятник Николаю Первому. Однако те из бронзы. А этот — живой. Никогда не забуду этой картины».

«30 марта, понедельник.

Сегодня радость — пришло письмо от Аркадия!!! Жаль, что Жоржика нет дома. Тем более в его день рождения! Уже больше не буду звать его Жоржиком, он Жорж, Георгий. Георгий Вяземский. Про письмо писать ничего не стану, только то, что цензура вычеркнула, а прочитать можно. Это счастье знать, что любимый человек, отец моих детей — жив, хотя оно подписано 8-м февраля. Видимо, сильно загружена почта. Прочитали несколько раз, и я и тетушка. Она за своего племянника радуется не меньше, чем я. Как же это горько, когда нету своих деток. Однако это не моя история — есть, и, Бог даст, еще будут. Вот так действует война и разлука. Буду рожать, сколько будет. Сейчас буду писать Аркадию. В этом месяце это будет уже четвертое письмо».

Апрель

В маленькой комнате при свете стеариновой свечи Вяземский писал представления к наградам. Рядом сидел и попыхивал папиросой ротмистр Дрок. Другие командиры эскадронов по очереди оставили свои рапортички и ушли в ожидании обеда. Дрок постучал пальцем по лежавшей поверх других бумаге, побряхтел, поднялся и стал прохаживаться по комнате, в которой еле-еле разместился штаб полка.

— А с Розеном, Аркадий Иванович, неувязка получается...

Вяземский отвлекся от своего дела и откинулся на спинку крепкого самодельного стула, позаимствованного у хозяина хутора:

— Ваша правда, Евгений Ильич, до этого нелепого случая полковник, насколько мне известно, нигде не дал промашку или слабину, а тут... Прямо как черт попутал, уважаемого Константина Федоровича... я ведь просил его тогда, не расстреливать этого немца...

— Немец-то, можно сказать, спас нас под Могилевицами, и черт бы с ним, отправили бы в тыл... Что на Розена нашло?

Вяземский нащупал в нагрудном кармане письма от жены.

— А Константин Федорович, слава Богу, жив и уже добрался домой, супруга пишет.

— Они знакомы?

— Нет. Она описала случай, когда в Симбирске увидела на белом жеребце кавалерийского полковника без левой руки, и я понял, что, скорее всего, это он.

— Не подошла? — Дрок остановился около стола и взял несколько бумаг.

— Нет, и я не очень этого хочу.

— Почему?

— Она в положении. Ей сейчас общаться с любым человеком, получившим на войне увечье... кто его знает, как оно отзовется на ее

здоровье. Это не простой вопрос — женское здоровье, да еще в таком положении, я за нее волнуюсь.

— Известное дело, — сказал Дрок, положил бумаги, и в комнату вошел ротмистр фон Мекк.

— Присаживайтесь, Василий Карлович, — пригласил его Вяземский.

Мекк сел.

— Вот мы тут рассуждаем, надо ли настаивать перед дивизией о награждении Константина Федоровича?

Мекк ответил эмоционально:

— Настаивать, Аркадий Иванович! Именно настаивать! А то что получается, наградами боевых офицеров распоряжаются двор и штабы, а нам что, и слово нельзя высказать? Ну и что, что Розен приказал расстрелять этого немца? Конечно, он был, мягко скажем, не прав, но он-то судил чисто по-рыцарски... Тот штабной писарь, что вы думаете, он нас спасал? Он шкуру свою спасал! У меня нет сомнений. Я с Константином Федоровичем уже сколько лет... войну вместе начинали... и мы должны отдаться на волю штабных?.. И написать надобно так, чтобы и в дивизии и выше никто не мог усомниться, перестраховщики, мать их... Прошу прощения, господи!

— Я согласен! — твердо сказал Вяземский, и Дрок кивнул. — Тогда посмотрите, чтобы я что-нибудь не упустил, я к полку все-таки позже присоединился... Я потом перепишу, нечего писарям совать нос в офицерские дела. Теперь вахмистры.

— Четвертаков — серебряную с бантом! — сказал Дрок.

— Согласен! — произнес фон Мекк.

— Непонятная история, господи, как из одного пакета ориентировка не потерялась, а наградная бумага от Шульмана, если верить его же телеграмме, потерялась. Пакет нам передал Введенский уже вскрытым?

Оба ротмистра кивнули.

— Времени не было, но тут, думается, надо разбираться с Введенским...

— Да-а! — протянул Дрок. — Та еще фигура. Константин Федорович хотел избавиться от него...

— Помню, господи, видно я зря вмешался...

Дрок и фон Мекк промолчали.

— Думаю, исправим положение. Даже в учебной команде за него всю работу ведет Жамин. Кстати, что будем решать с Жаминным? — Вяземский посмотрел на офицеров.

— А что тут решать? Новобранцев он муштрует отменно, тем более — гниловатый народец, а то, что мордобойничает, так им же потом легче в бою...

— Тяжело в ученье... — задумчиво дополнил Дрок. — А знаете, как они поют?

Вяземский и фон Мекк с любопытством посмотрели на ротмистра.

— «А ученье, знать — мученье, между прочим чижало»! Грамотеи! Надо дать ему взбучку, Жамину, а так... вахмистр он исправный! Слуша-жака! Я вот что думаю, господа...

Вяземский и Мекк слушали.

— Думаю, как собирались еще при Розене, надо составить отдельный разведывательный взвод и присматривать из нижних чинов, кто по своим умениям более всего подходит, чтобы пополнять убыль.

— Поручить?..

— Четвертакову!

— В составе 1-го эскадрона, под вашу команду, Евгений Ильич!

Довольный Дрок кивнул.

— Хорошо, так и сделаем. А сейчас, обедать. Господа офицеры заждались! Да, запамятовал, рапортчики с убитыми?..

— У Шербакова.

— Надо отправить кого-нибудь с ними в штаб дивизии... кого?

— Вот Введенского и отправим, может, зацепится!

Палатка офицерского собрания была разбита на опушке небольшой роши, примыкавшей вплотную к хутору. Офицеры ели, стоя, денщики таскали еду от эскадронного котла, этот порядок ввел Вяземский, чтобы есть с драгунами из одного котла. Среди офицеров были недовольные, но понимали, что на войне это справедливо, и молчали. В постоянных боях первой половины апреля, догоняя непрерывно перемещающийся полк, отставали обозы, довольствоваться приходилось местными возможностями, однако полковой денежный ящик не был пуст. Клешня сновал с бачками и раскладывал пищу по купленным новым тарелкам и кружкам. За хрустальный стакан Вяземский устроил ему приличный нагоняй и велел пить из него самому. Для Клешни это было обидно, и он думал, кому бы отдать, а потом придумал, что пройдет время и Вяземский смягчится.

Когда денщики разлили чай и удалились, Вяземский объявил, что в дивизию с документами поедет Введенский. Тот вздрогнул.

— Господин подполковник, а мне позволено будет съездить по моим делам в дивизию? — неожиданно спросил отец Илларион.

Взоры офицеров обратились к нему.

— Мне надо попросить кое-что, чтобы привезли из тыла.

— И охрана у вас будет вполне приличная, — вдруг съязвил поручик Рейнгардт. Это была явная дерзость, направленная против Введенского. Тот побледнел и поставил кружку на стол.

Вяземский бросил строгий взгляд на Рейнгардта и во избежание конфликта, произнес:

— Охрана будет вполне приличная. С вами, — он посмотрел на Введенского и на отца Иллариона, — пойдут два вестовых: Доброконь и... — он обратился к фон Мекку: — придумайте кого-нибудь...

Мекк кивнул.

— А как поедете, батюшка? Добираться, как будете? — вопрос прозвучал от офицеров и был явно с подковыркою. Батюшка сделал вид, что не заметил подковырки, пожал плечами и ни на кого не глядя ответил:

— Обычно! В седле!

— Может быть, возьмете вот это? — Дрок вынул из кобуры револьвер, но отец Илларион посмотрел так, что ротмистр только пожал плечами и убрал револьвер в кобуру.

Ситуация с батюшкой разрешилась споро. Ему на выбор подвели трех лошадей, он взял самую горячую и сел в седло, едва дотронувшись до стремени. Потому, как он держал плетку, поводья и каких дал шенкелей, свидетелям сцены стало понятно, что батюшка опытный наездник.

Отношения между поручиком Рейнгардтом и корнетом Введенским давно и открыто переходили в конфликт. Вяземскому, только-только принявшему полк, конфликт был не нужен. Рейнгардт был офицер отменной храбрости и дерзости и никому не спускал. Офицерское собрание, несомненно, утвердило бы поединок, если бы с чьей бы-то ни было стороны, прозвучало оскорбление. Но потом бы начались разбирательства в бригаде, дивизии, в корпусе и в армии, и это вместо того, чтобы воевать. Вяземский уже давно понял, что победа на этой войне если и будет, то далеко впереди, и где смерть подкарауливает каждого, было неизвестно. А Рейнгардт точно подстрелил бы Введенского. Если бы захотел. Аркадий Иванович жалел, что своим мнением помешал Розену отправить корнета под благовидным предлогом из полка, чтобы тот нашел себе место. Сейчас такой случай представился, и грех было им не воспользоваться.

* * *

Оседлали на рассвете. Жеребец по имени Биток гарцевал под отцом Илларионом. Введенский был хмурым, будто не выспался. От Евдокима Доброконя в полк с быстротою молнии разнеслась весть, что отец Илларион ни дать ни взять, заправский кавалерист, и кто мог, собрались на дороге проводить батюшку.

Полк стоял в шести хуторах. Хутора располагались друг от друга близко, и почти по кругу, в центре был хутор со штабом полка и 1-м эскадроном. Офицеры, сами заинтригованные такой батюшкиной

сноровкой, не препятствовали нижним чинам собраться на проводы. На Введенского тоже обратили внимание, он это чувствовал и был недоволен и жалел, что батюшка едет с ним. Без батюшки он бы просто уехал.

Отец Илларион натянул поглубже похожий на ямщицкий цилиндр с низкой тульей и ждал, когда вестовые выедут вперед. Те выехали. Драгуны, пешие, но при пиках, с шашками и карабинами через плечо стояли по обочине дороги длинной шеренгой и провожали батюшку, как коронованную особу. Потому что не было команды, они не кричали ура, и на караул команды не было; отец Илларион смущался и старался ехать быстрее, но мешали вестовые, как бы нарочно, они шли впереди и шагом.

«Кланяться, что ли, и благодарственную петь?» — недовольно думал отец Илларион, и вдруг Биток заплясал и, не дожидаясь посылы, рванул вперед. Батюшка пригнулся и хлестнул ему плеткой под пах. Через секунду вестовые и Введенский остались позади, и тут отец Илларион услышал хохот и одобрительные возгласы.

«Вот я вам, черти!» — с улыбкой подумал он и почувствовал, что вестовые и Введенский его догоняют.

Под копытами хрустела стеклянная грязь. Уже потеплело, но ночью еще ложился мороз и растаявшая под апрельским дневным солнцем дорога замерзала.

Биток оказался отличным конем — резвым, но послушным. Отец Илларион заметил его сразу и не случайно: сказался опыт, приобретенный на военной службе и в Китайском походе. Китайская крепость Дагу, от которой открывалась дорога на Тяньцзинь и Пекин, была взята союзными войсками 3 июня 1900 года. Первой в крепость ворвалась рота 12-го Сибирского полка под командой поручика Станкевича, батюшка Илларион, тогда прапорщик Алабин, командовал охотниками. Этот поход оказался слишком кровопролитным, резня была со всех сторон, восставшие китайцы резали иностранцев и своих же китайцев, принявших христианскую веру, а союзные войска резали восставших китайцев. Особенной жестокостью выделялись немецкие подразделения союзных войск. Торчащие на колах срубленные головы над обезглавленными телами, растерзанные штыками старики и дети, женщины, разорванные снарядами и руками...

Отец Илларион тряхнул головой, отбрасывая воспоминания. Он окончил поход, как многие: с ранением и наградами, но зарекся служить кому бы то ни было, кроме Господа Бога. И с той поры не брал в руки оружия и не сидел в седле.

Дорога от хуторов под прямым углом выходила на другую, большую, связывавшую Ломжу и Граево. По этой дороге в Граево и дальше на север двигались войска закончившей или почти закончившей

формирование 12-й армии генерала от кавалерии Павла Адамовича Плеве. Штаб дивизии располагался в Ломже.

Эта дорога тоже раскисла, и пехотные батальоны и роты не могли идти, как положено строем. Особо загромождали дорогу артиллерийские парки, но их было мало, и они везли снаряды по большей части для легкой полевой артиллерии, и это вызывало тревогу. Немцы подавляли своей артиллерией самых крупных калибров.

Двигавшееся войско, судя по одежде, в основном было из новобранцев и ополчения, тех сразу выдавала черная форма и устаревшие берданки, вместо мосинских трехлинеек. Завидев батюшку верхом на коне, солдаты и ополченцы крестились, некоторые радостно улыбались, несколько попросили благословения. Это задерживало.

Ехавшие впереди вестовые, как могли, оттесняли войско, стараясь дать проход для батюшки и Введенского.

Глядя на множество людей в сером и черном — шинелях, папахах — и с серыми лицами, отец Илларион посуровел. Он с некоторой жалостью и даже тоской вспоминал спокойную жизнь в далеком сибирском приходе, где после Китайского похода служил пресвитером и не думал, что когда-нибудь снова окажется на войне. Однако он сам решил, когда узнал, что Германия объявила войну России, что пора со спокойной жизнью прощаться, и написал прошение протопресвитеру военного и морского духовенства отцу Георгию Шавельскому о переводе. Местный клир таким решением отца Иллариона остался недоволен, именно потому, что его приход был самый дальний и глухой, и видимо, вслед батюшке что-то высказал. И слыл отец Илларион своемыслящим, в особенности, по поводу «грязного мужика» Григория Новых, при этом ведая о креатурах Распутина в Tobольской епархии, но за дальностью пребывания в сибирской пустоши и болотах ему это прощали. А тут — не простили.

Отец Илларион встряхнулся и увидел, что Доброконь идет от него справа и чуть впереди, отгораживая от двигавшегося навстречу войска. Он хотел сделать замечание вестовому, но понял, что тот делает правильно и всего лишь выполняет свою задачу: надо добраться до Ломжи и вернуться в полк сегодня же. Доброконь вел свою лошадь правым боком и не подпускал к отцу Иллариону солдат, которые искали благословения.

«Ну, что ж, это, конечно, нехорошо, лишать человека того, что ему необходимо. Но ведь в каждом полку есть священник. Да и Доброконь, такой же нижний чин и знает их нужды. Так значит, раз он...» — думал отец Илларион, и в какой-то момент оглянулся на Введенского. Введенский отставал на корпус, он смотрел на отца Иллариона и на Доброконя, и на его лице была нехорошая ухмылка. Эта ухмылка почему-то разозлила отца Иллариона, он отвернулся от корнета,

поднял над головой наперсный крест на длинной цепи, послал Битка вперед, тот ударил мордой по ноге Доброконя, Доброконь сдал вправо, отец Илларион обогнал его и пошел вплотную к войску. Солдаты сами уступали ему дорогу.

Введенский очень хотел добраться до штаба дивизии как можно скорее. За него хлопотали из дома, и он хотел узнать результат. Поэтому батюшка, замедлявший движение, был совсем некстати. Он уперся взглядом в спину отца Иллариона: «Да-а, батюшка, — думал он. — Геройский поп, сидел бы ты в обозе и не лез не в свои дела. Будто бы не прислали тебе елею и святого масла. Или складень у тебя сломался? Чинить везешь! Занимался бы своим делом! Тоже мне, Жанна Д'Арк с колоколами!»

Отец Илларион, привстав в стременах, ехал с крестом в руке. «Эх, солдатушки, bravo-ребятушки, — думал он, стараясь забыть об ухмылке Введенского. — Не зря я вам перегораживаю дорогу, торопиться, конечно, надо — война, и никуда от нее не уйдешь, но и спешить, если на то нет приказа — не следует». Он ехал, смотрел на улыбавшихся ему солдат и теснил в голове думы о тех, кого отпел за прошедшие девять месяцев войны. А отпел уже многих, много душ отпустил и сопровождал напутственным словом пастыря. О Введенском думать не хотел, но мысли сами лезли в голову: «А как же? Я тоже испугался, когда сюда попал. Кто же знал, что будет такая война? Знаю, что надо мной посмеиваются, знаю! Кто же смерти не боится! Все бояться. И самые смелые бояться, да только виду не подают. Тот же Дрок! И я в Китае боялся, а надо было идти наперекор не столько даже смерти, сколько позору...»

Введенский буровил укоризненным взглядом спину отца Иллариона: «Хорошо смотрите, батюшка! Да только в тылу, на тыловой дороге, тут пули не свистят. А попробовали бы вы, когда они свистят! Не хочу умирать! Вон Дрок! Ему не страшно! Грубому мужлану! Или этим серым. Что им? Ни книг не знают, ни театра. Не хочу!..»

«А вы, господин, Введенский, — отец Илларион не мог отделаться от мыслей о корнете, — подали бы рапорт, и не смущали бы никого. Иногда надо быть честным и поступать по совести! Кому вы тут нужны? Прячетесь за спинами, а как же честь офицера? За вами должны нижние чины идти, а не перед вами...»

Группа во главе с батюшкой пошла быстрее, Введенский тоже наддал, второй вестовой шел за ним.

«И что это такое, взять и умереть, а что потом? Меликова нет, и что? Каждому ли удастся, как под Аустерлицем, поглядеть в бездонное небо? Что изменилось? Кто победил? Что дала смерть? Кому радость? — тут Введенский запнулся, он понимал, что радость-то на самом деле немцу, что одним врагом стало меньше — А при чем тут

я? Я немцу не враг! Сколько немцев живет на свете... что, все враги? Или тот немец, который рассказал, что будут бомбить зажигательными снарядами... разве он был враг? Если бы не он...»

Отец Илларион, проскакав с полверсты, с непривычки утомился и сел в седле: «Да, нехорошие дела... как говорится — взялся за гуж... Это понятно, что умирать не хочется...» — он не успел додумать и услышал, как откуда-то зарокотал мотор. Он стал вертеть головой и увидел, что с запада на дорогу поперек летят две черные точки. Солнце было в зените, небо ясное и синее, справа и слева от дороги широко расстилались поля с перелесками, куртинами кустов и снежными пятнами между ними, по обочине росли вербы, они уже опушились. Все выглядело прозрачно, чисто и контрастно, уже начиналась весенняя жизнь, и только неправильно между всем этим смотрелась серая колонна войск с торчащими в небо штыками. Судя по тому, откуда летели, это были немецкие аэропланы — разведка или с бомбами. Они летели прямо на отца Иллариона. Он понимал, что они летят просто поперек дороги в том месте, где сейчас находится он, двое вестовых и корнет Введенский. Аэропланы стали спускаться, и отец Илларион услышал, как к стуку моторов прибавился еще один стук — пулеметов. Войско остановилось и повернулось лицами к аэропланам. И отец Илларион тоже. Вдруг он услышал, что за спиной тоже рокочут моторы. Он обернулся. И войско обернулось. Навстречу двум немецким аэропланам летели три русских. Немецкие аэропланы перестали стрелять и начали набирать высоту, ни одна их пуля до дороги не долетела. Войско задрало головы и молча смотрело, как навстречу друг другу сближаются аэропланы. А те стали кружиться друг вокруг друга, и тогда с неба стало слышно, как стучат пулеметы. Может быть, это стучали и моторы тоже, но всем казалось, что моторов не слышно, а стучат только пулеметы. Отец Илларион почувствовал, как что-то толкнулось в его колено, он вздрогнул, это была лошадь Доброконя. Вестовой смотрел на отца Иллариона и как бы говорил ему глазами, мол, батюшка, не след стоять, надобно вперед! Отец Илларион сообразил и дал Битку шенкелей. Левая обочина была свободной, войско замерло на правой и глядело в небо.

«Тоже мне, технические чудеса! Нет чтобы просто летать, да обозревать землю-матушку и быть поближе к Господу нашему, так все по людishкам надобно, все — смерть сеять!» Тут войско заорало, стало улюлюкать, свистеть и кричать «ура!»

Биток, перед глазами которого отец Илларион махнул плеткой, пошел широким галопом.

Введенского задерживали вестовые.

«Чертовы вестовые, — думал он, — плетутся на своих клячах. Кто-то бы дал им, что ли, хороших лошадей! — Введенский был зол

всей этой ситуацией, всей дорогой и всем, что происходило, включая саму войну. — А вы не знаете, батюшка, ваше преподобие, что такое, когда перед атакой под животом холод, как ледник, и ни рук не поднять, ни ногой не пошевелить? А любовь? Что вам об этом известно? Эти-то, вот, серые! — боковым зрением он видел пролетавшую мимо сплошную массу войска. — Им дальше сеновала не надо. Им и невдомек, что есть тургеневская девушка и Незнакомка Блока. Они даже своего брата Есенина не знают, не говоря уж... И вы, батюшка, небось приход-то получили через взятие, женились на какой-нибудь дочке, какого-нибудь протопресвитера... И матушка ваша, конечно, красасвица, и детишек мал мала, как у кроликов». Войско взревело, Введенский выхватил револьвер, развернулся и пальнул вверх по кружащим и стреляющим аэропланам. Командовавший на походе пехотной ротой фельдфебель Огурцов, мимо которого он только что проскакал, посмотрел на выстрел, покрутил вслед Введенскому пальцем у виска, обернулся на роту и не запел, а весело заорал в голос:

Летать по небу
Ерапланы-бамбавозы
Возють бомбы
Хотьят засыпать нас землей
С перегном и навозом!
Сикось-накось
Накось-сикось
Ой-ей!

И рота подхватила:

Накось-сикось
Сикось-накось!
Ой-ей!

Отъехали недалеко, когда отец Илларион снова услышал, как заревело войско. Он оглянулся. Один аэроплан пустил черный дым и стал вращаться вниз. Судя по тому, что войско кричало «ура» — досталось немецкому летчику. Видимо его сбили. Раздался взрыв, и войско заревело «ура» еще громче. «Спаси Господи, душу человецэ, независимо, что — немецкая. Уже отвоевалась!» — подумал отец Илларион и перекрестился.

Введенский догнал. Первым шел отец Илларион, следом парой оба вестовые, и он замыкал.

«Трудно! — думал отец Илларион. — Не приведи Бог, как трудно. Трусость не грех, а слабость и беда... А на войне — большая беда! —

отец Илларион глядел на солдат, из которых завтра, а может быть, уже сегодня не все останутся жить, и ему захотелось перестать думать о корнете, и тогда он вспомнил из Писания: «„Ты был взвешен и найден очень легким!“ Помочь надо человеку, надо укрепить его!»

Когда вернулись в полк, Введенский, со смешками, не преминул рассказать про фигуру отца Иллариона, скачущего на Битке вдоль войска с крестом в поднятой руке. Офицеры промолчали, хотя позже между собою, конечно, посмеялись. Этот рассказ слышал и Рейнгарт.

— А вы с чем скакали, или, может быть, на чем, когда прилетели немцы на аэропланах? — спросил он Введенского и два раза шутливо скакнул на табурете. Этот вопрос слышали Дрок и другие эскадронные командиры. А Введенскому стало известно, что командир полка интересуется тем самым представлением на вахмистра Четвертакова, которое тот привез из крепости Осовец, и он сделал вид, что не понял намека Рейнгарта.

* * *

Утром следующего дня Введенский велел найти Жамина. Жамин явился. Его шинель была понизу мокрая и запачканная глиной, а сапоги чистые, черные и остро благоухали ваксой.

«Когда успел?» — подумал он про «исправного» вахмистра и захотелось дать ему в морду.

— Ты что же, стервец, подводишь меня? — спросил он Жамина.

Жамин напрягся и хотел ответить, но Введенский не дал:

— Где наградная из крепости на Четвертакова?

Жамин снова напрягся и хотел ответить, но Введенский не дал.

— Как ты посмел из пакета украсть казенную бумагу, под суд захотел? А вдруг ты германский шпион? Мало ли что лежало в пакете? Кроме меня и тебя пакет ни в чьих руках не был! Что молчишь?

Жамин опять набрал воздуха, но Введенский сказал почти шепотом:

— Молчать! Поставлю под шашку часов на шесть, только потом объясняться придется! Где наградная?

Жамин стоял бледный, со сжатыми до скрипа зубами, и смотрел в пол. Введенский видел его белые кулаки.

— Давай сюда!

Жамин вдохнул, выдохнул и полез за отворот шинели.

— Хорошо, хоть не выкинул, — сказал Введенский. — А может, и плохо. Куда теперь эту бумагу девать?.. Ты, сукин сын, только представь, что я отнесу ее его высокоблагородию и расскажу, как все было... Ушучиваешь, чем для тебя это пахнет?..

Жамин стоял по стойке смирно, не шелохнувшись, как и вправду под шашкой, только с опущенной головой, и сжимал кулаки так, что из них, коснись — брызнула бы кровь.

Сашка Клешня вел из хутора 5-го и 6-го эскадронов нагруженную дровами лошадь. Впереди стояла палатка начальника учебной команды. Сашка взялся ее обходить и увидел, как из палатки вышел вахмистр Жамин. Сашка узнал его со спины и сильно удивился тому, что Жамин идет сутулившись и пошатывается: «Выпил, что ли? — подумал Клешня. — Так только с кем? С корнетом, что ли?» Догадка была такая неожиданная, что Сашка остановился, и лошадь его толкнула:

— Тпру, холера! — вырвалось у Сашки. Жамин обернулся и остановился, и Сашка увидел, что у вахмистра блестят глаза и мокрые щеки, будто он плакал. Клешня и Жамин встретились взглядами. Сашка видел, что Жамин напрягся, как будто хочет что-то сказать, но тот только крикнул, отвернулся и пошел дальше. Клешня смотрел ему в спину, Жамин снова остановился, расправил плечи, обернулся и сказал тихо:

— Што zenки пялишь? Мотай отседова, халдей московский, пока руки-ноги целы!!!

Жамин не шутил, у него был суровый вид, и к этому суровому виду блестящие глаза и мокрые щеки добавляли что-то дикое. Клешня это увидел. Он знал, как и весь полк, что Жамин тяжел на руку. Клешня не обиделся, он не боялся, а чтобы не связываться, а потом не объясняться, стал заворачивать лошадь. Жамин пошел своей дорогой, а Клешня в обоз. У Клешни был повод вернуться — пуля пробила один из эскадронных котлов, и его должен был запаять кузнец Петриков. К офицерскому собранию Клешня не торопился, до обеда оставалось еще три часа, с приготовлением еды справятся денщики ротмистров Дрока и фон Мекка, и дров у них завались. Те, что сейчас вез Клешня, были на завтра.

4-му, 5-му и 6-му эскадронам, то есть учебной команде, достался хутор перед огромным лугом-выгоном, обширным скотным двором и маленькой кузницей. Если бы не серые низкие тучи, серая прошлогодняя трава и еще черно-белые справа и слева березняки, местность можно было бы считать красивой. Скорее всего, летом так и было. Офицеры все шесть хуторов называли одним словом «фольварк».

Этот хутор был самый большой, с каменной усадьбой. Он располагался дальше всех от шоссе Ломжа—Граево, по которому еще двигалась на север 12-я армия генерала Плеве. Здесь проживали хозяин с семьей, но в виду близости немецких войск Вяземский распорядился, чтобы хозяин фольварка был на глазах и переехал в тот хутор, где

располагался штаб. Временной задачей полка было: совместная с соседями-донцами разведка вдоль дороги и прикрытие ее от прорыва немецкой кавалерии. Севернее и южнее фольварка должна была встать пехота, она были на подходе, квартирьеры их полков уже проехали.

На хуторах не было скота, однако судя по постройкам, его должно было быть много. В каменной конюшне было двадцать денников, на скотном дворе могло разместиться до сорока коров, но все было пусто, однако птичник, тоже каменный, был полон гусей и другой птицы. Важной птицей были индюки, которых драгуны прозвали Вильгельмами. Фольварк находился на территории Пруссии в самом центре выступа, где граница полукругом вдавалась в российскую территорию и вплотную подходила к дороге. Прусские немцы были так богаты, что драгуны удивлялись, зачем им понадобилась война. И чесались руки. Но воли не было. По армии разослали приказ о предании военно-полевому суду за мародерство, поэтому, когда полк останавливался больше, чем на сутки, командиры эскадронов с вахмистрами проверяли личные вещи на предмет лишнего. Особенной строгостью и тут прославился Жамин. В учебной команде выявили двоих и отправили в крепость Гродно. Для них война кончилась, но им не завидовали, да и девать было некуда: чего возьмешь, а положить куда? Слух шел, что казачки баловались, так то — казачки. Казаки не пограбят — какие же они после этого казаки!

Хозяин фольварка выделил на эскадрон по пудовому бочонку говяжьей тушенки и по гусю на котел. Драгуны были сыты, а хозяину перепало русских денег.

Клешня был настолько сражен видом Жамина, что шел и думал только об этом.

Рядом с кузницей обозные наладили три длинные коновязи, около четырех десятков коней стояли без седел, но в оголовьях. На перековку. Петриков с обозными, которые понимали в кузнечном деле, работал быстро: расковывали и тут же подковывали, чтобы ни одна лошадь не стояла долго, потому что никто не знал, когда полку назначено сниматься. И рассказывал. Как говорится — баял! Клешня уже слышал его байки и улыбнулся: «Колокола льет, а эти и уши развесили!»

— ...и вышел Николай Николаич прямо на брукствер и прямо так нам в след и смотрел в бинокль, как полк скочет на германца...

— Это который, главный верховнокомандующий?

— Деревня! — сказал в сторону спросившего Петриков, дал по последнему гвоздю, вогнав его через подкову в копыто с одного удара, отпустил конскую ногу и распрямился. — Верховный! Главнокомандующий! Великий князь! Старший дядька самому царю!

— А ты там че делал?

— Тама? Как че? Чекало! У пехоты пулемет заело, пехота, она в механике, как ты в кузнечном деле, тюха тюхой! Што расселся, ве-ди сле-дующего! — сказал Петриков и увидел Клешню. — О! — воскликнул он. — Куды конь с копытом, туды...

— Туды и рак с клешней! — недовольно передразнил его речь Клешня и привязал свою лошадь к коновязи.

— Никак дровишек нам привез. Так нам без надобности. Мы всю ночь жгли, теперя на неделю угля хватит, где бы тока мешков взять?

— Это не вам, это для эскадронного котла.

— Знамо дело, не нам! А зачем пожаловал?

Клешня вынул кисет и стал заворачивать сигарку.

— Давай, што ли, и я с тобой, а то запалился вовсе. — Петриков отдал молоток обозному. — Што за дело тебя сюды привело?

Клешня рассказал Петрикову про только что виденное.

— Да-а, дела! — Петриков курил и сплевывал под ноги. — Видать, нажарил корнет задницу Жамину, видать, затевается што-та!

— А я не видел, кто там был в палатке, корнет ли?

— А кому ишо? Только корнету и быть. А Жамин, говоришь, злой был?

— Как собака, и глаза на мокром месте, как у дамочки какой-ни-будь, слабой на нервы!

— И он уразумел, што ты его таким узрел?

— Как же, когда до подбородка дотекло...

— Дела-а! — снова протянул Петриков и затыкнулся. — Вчерась в вечеру приходил он ко мне, даром, што ли, на одном хуторе стоим... И выпимши был, не сильно так штобы, но разило чувствительно. Мы с ним земляки, тверские! Я с Вышнего Волочка, а он — Старицкий.

— Что сказал?

— А ничего не сказал, все больше молчал и дымил, только письме-цо в руках жамкал, так я подглядел, писано-т с завитушками, ни дать ни взять, бабьей рукой! Молодой он ишо, холостой, вот как ты! А бабы для нашего военного дела... ох, не приведи Господь! Да только, видать, загвоздка-т не в этом, чего корнету до евоного бабьего дела? Видать по-другому они не заладидись, промеж себя-то! Только одно я в точности знаю, переживает вахмистр, что не допускают его до геройского дела! Што в учебной команде держат! Кабы не сотворил чего!

— А что сотворил-то, как седельник, что ли?

— Не, седельник слабак, прости Господи! Был! Этот нет, — тверич, одно слово! Этот жила семижилная. Этот чего другое сотворить может!

— Что же?

— Да кто ж его знает? Надо бы с батюшкой... перемолвиться, он про наши души все ведает, даром, што ли, век с войны начинал! А у вахмистра нашего самая страшная душевная болезнь завелась...

— Какая же?

— Гордыня!

Жамин отошел от котла и сел в стороне от всех.

Еда в горло не лезла. С новым пополнением он сотворил хитрое дело, скрыл, что один из новобранцев, хоть и был до призыва вторым супником в придорожном кабаке, однако повар от Бога. Но вкусный кулеш, от которого пахло гусиным салом, в горло не лез.

«Повиниться надо! — с горечью думал Жамин. — Подлость я сотворил. А корнет, тоже подлая душа! Одно слово — барин! Поперек горла мне этот Четвертаков. Тайга чертова! Так што? Што теперя? Разминулися две телеги на кривой дороге — одна в курнаке, другая на гривке! Да только как? Как я до их высокоблагородия, командира полка доберусь? Не положено поверх головы начальника до другой головы тянуться, што повыше! Не по уставу! Ишо и за это холку намылят! И што он им дался — Четвертаков, я стреляю, што ль, хуже, али с тятей на медведя не хаживал?» — мысль об отце навела его на воспоминания о Твери, и он судорожно стал ощупывать на груди шинель и полез под отворот. Письмо было на месте: «Тута ишо заноза в сердце!» Компаньонка Елены Павловны ответила на его письмо от января месяца.

Кузнец Петриков присел рядом. Молчал. Молчал и Жамин.

— Ты, Гаврилыч, уже который день хмурый, стока дрянной погоды нет, скока ты... как придавило тебя. — Петриков черпал ложкой и поглядывал на вахмистра. Жамин чуть отсел и молчал.

— Ты, Гаврилыч, батюшке пожалился бы, он нашу нуду хорошо разумеет, даром што дворянского сословия...

Тут Жамин не выдержал:

— А ты откудова знаешь?

— Мы... обозные! Всяка новость мимо вас, а у нас в обозе и застревает...

Петриков постучал ложкой об край котелка, облизал, поднялся и пошел за добавкой. Жамин понял, что он подсел к нему именно для этих слов и уже больше не вернется. Так и вышло.

«От хитрован волочковский, они там все такие: не то канавина, не то болотина, а подсказку он мне добрую дал! А можа, и не добрую. И этот... — он вспомнил, как столкнулся с денщиком Сашкой Павлиновым, — халдей московский, зараза! Расчихал он, что у меня глаза на мокром месте были, шчас по полку разнесет! За ним не застрянет!» Жамин подумал о Москве, где бывал с родителем и братьями, а иногда и с сестрами. Только, когда бывал с отцом без младших и без баб, отец захаживал с ним в ярмарочные кабаки, отведать чего-нибудь московского. И ничего особенного там не было, не лучше тверских,

а вот подавальщики были — ни дать ни взять — то ли холоп, когда целковый получит, то ли гнида, ежели целковый мимо носа проскочит: то спина пополам, а то, как у журавля — ноги не гнутся и харю воротит.

«Надаю я ему по мордасам, штобы язык за зубами держал, подкараулю и надаю!» — решил Жамин и понял, не пойдет он к батюшке, не о чем ему советоваться.

А дело обстояло вот как! Четвертаков вернулся в полк 20 февраля во второй половине дня. И по нему и по его лошади было видно, что торопился. Четыре эскадрона были в разведке и передовом охранении 3-го Кавказского корпуса, выстроившего оборону немцам, наступавшим от Граево в обход Ломжи. В расположении остались только адъютант Щербаков, он сидел в штабе с телефонистом, получал телефонограммы из дивизии и рассылал вестовых. Еще в расположении была учебная команда — неподготовленных Вяземский в дело не посылал. Введенский после Щербакова получался старшим, и Жамин при нем. И тут является этот герой Четвертаков. Введенский его вызвал к себе, прежде чем тот явился к Щербакову, и потребовал обо всем доложить по форме. Четвертаков стал что-то мямлить, и тут Введенский ему дал:

— Как стоишь, сучья морда?! — заорал он на Четвертакова. — Расхлябался в крепости, так тут у нас не крепость! Встать по стойке смирно!

Четвертаков насупился, но выпрямился и вытянул руки по швам. Жамин видел, что тот утомился за дорогу, а может, оголодал, и по чести было бы отпустить вахмистра, хотя бы к котлу с горячей едой, но он его не жалел, и пока корнет самым ругательным образом ругал Четвертакова, присутствовал при этом. Четвертакову это было особенно унижительно, тем более что на самом-то деле он ничего дурного не совершил. Когда Введенский сделал в ругани перерыв, Четвертаков спросил разрешения обратиться, и не дождавшись этого разрешения, попросил доложить командирам пакет от коменданта крепости генерала Шульмана. Тут Введенский взвился еще пуще и вырвал пакет из рук вахмистра. И более того, передал его Жамину, а Четвертакова на час поставил под шашку. Что нашло на корнета, Жамин так и не понял, а сердцем радовался. Когда Четвертаков строевым шагом по лужам и скользкой грязи отошел шагов на пятьдесят, Введенский забрал у Жамина пакет, вскрыл его и вынул содержимое. В пакете было две бумаги. Введенский прочитал их, одну снова вложил в конверт и пошел в штаб, а другую не вложил, она осталась у Жамина. Жамин не стал напоминать о ней и прочитал. А когда прочитал, в глазах у него потемнело: в бумаге было с подробностями описано, какой подвиг Четвертаков совершил в крепости и даже не один, а целых два! Жамин этого так просто вынести не мог. На следующий день Четвертаков

пропал из виду, Жамин только слышал, что тот ушел в рейд, и не стал напоминать Введенскому о забытой бумаге-представлении.

* * *

Обед был подан как при Розене, минута в минуту, ровно в семь тридцать пополудни. За два дня относительного отдыха офицеры помылись и привели в порядок одежду и амуницию. Все выглядели опрятными и подтянутыми. На столе источали ароматы три запеченных гуся, печеная картошка. И хозяин фольварка пожертвовал на офицерский стол маринованных овощей. Фон Мекк, в ожидании Вяземского, беседовал с Щербаковым, Дрок общался с батюшкой, остальные офицеры вполголоса разговаривали между собой. Полчаса назад корнет Введенский был вызван к командиру полка. Причина вызова не была оглашена.

Когда души офицеров, глядячи на гусей и вдыхая ароматы, готовы были истомиться, в палатку вошли Вяземский и сияющий Введенский. У корнета блестели глаза, он их прятал и старательно напрягал лицо, но все видели, что корнету сообщено какое-то приятное известие. Дрок с облегчением вздохнул и нашел глазами фон Мекка, тот увидел Дрока, посмотрел на отца Иллариона и все трое согласно покачали головами.

— Батюшка! — кивнул отцу Иллариону подполковник, отец Илларион перекрестился и прочитал молитву. Короткую.

— Приступайте, господа! Прошу! — пригласил Вяземский офицеров, и Клешня стал нарезать гусей большими кусками. Дрок, фон Мекк, и отец Илларион подошли к командиру. Присоединился Щербаков, они впятером отошли в угол палатки к малому раскладному столику, и Вяземский сообщил о том, что час назад пришла телефонограмма из дивизии об откомандировании корнета Введенского в распоряжение коменданта крепости Ковно для занятия новой должности.

— Послезавтра, девятнадцатого апреля, он должен прибыть.

— Слава тебе Господи! — разом вымолвили Дрок и отец Илларион. В это время вдруг звонко объявил Введенский:

— Господа, по случаю моего перевода в другую должность приглашаю всех...

Но неожиданно его перебил Рейнгардт:

— Вот так, господа, закатывается солнце, можно сказать вручную! Так грянем громкое ура!

И офицеры грянули:

Бука, бяка, забияка,
Собутыльник сам с собой!
Ради Бога и... арака
Отбывай в домишко свой!

Полно нищих у порогу,
Полно зеркал, ваз, картин,
А хозяин, слава Богу,
Сам великий господин.
Не гусар ты и пускаешь
Мишурую пыль в глаза;
И тебе не застилают
Вмест диванов — куль овса.
Есть курильницы и, статья,
Есть и трубка с табаком;
Всех картин не подменится
Ташка с царским вензелем!
Вместо сабельки сияет
Зеркалами полоса:
В них ты глядя поправляешь
Два не выросших уса.
Под боками ваз прекрасных,
Беломраморных, больших,
На столе стоят ужасных
Ноль стаканов пуншевых!
Они полны, уверяем,
В них сокрыт небесный пар.
Уезжай, мы ожидаем,
Уезжай, коль не гусар.

— ...коль не гуса-а-а-р-р!!! — совершенным оперным голосом закончил Рейнгарт.

Клешня на полпути к столику командира полка застыл с большой оловянной тарелкой в руках с кусками гуся, на него наткнулся и так же застыл денщик фон Мекка с тарелкой с горой печеной картошки, а за ним денщик Дрока, он нес маринованные овощи.

В наступившей тишине крикнул Дрок. Повернувшись спиной к общему столу, он вынул из кармана фляжку и, пока все стояли в оцепнении, не афишируя, наполнил стаканы на командирском столике:

— Ну, господа, что произошло, то произошло!

— Кто переправил текст? — тихо спросил только-только отошедший от столбняка Вяземский.

Фон Мекк и Дрок переглянулись:

— И когда только разучить успели? — они сделали друг другу полупоклоны и, не чокаясь, а только придвинув стаканы, выпили.

— С ташкой и картинами какая-то путаница, Денису Васильевичу бы не понравилось!

— А мы без претензий, правда, Василий Карлович?

— И не очень-то поэты! Разве равня легендарному Денису Давыдову? — ротмистры Дрок и фон Мекк улыбались.

Введенский стоял тихо на протяжении всей декламации, в руках у него было пусто, он сжимал кулаки, а когда декламация кончилась, подошел к Рейнгардту и тихо сказал:

— Я вам этого, поручик, никогда не спущу.

— А я вам спущу, и не только это, — Рейнгардт смерил Введенского взглядом снизу вверх. — Когда только пожелаете!

Введенский резко повернулся к выходу, чуть не порвал шпорами брезентовую подстилку и ретировался. Рейнгардт обратился к офицерам:

— Есть, господа, такая восточная мудрость: «Чем выше обезьяна поднимается на дерево, тем лучше виден ее розовый зад!»

Как только корнет вышел вон, то услышал за спиной оглушительный хохот. И он понял, что уезжать надо немедленно, пакет с приказом был в кармане. По дороге ему попался спешивший от телефониста к офицерскому собранию вахмистр Четвертаков, он остановился отдать честь летевшему мимо корнету, тот на секунду тоже остановился и врезал Четвертакову в ухо.

— Успокойтесь, господа, прошу вас! Вы достаточно выразили корнету свое мнение о нем... — Вяземский не успел закончить, и в палатку просунулась голова Четвертакова.

— Что вам, вахмистр?

— Ваше высокоблагородие... — начал Четвертаков.

— Зайдите! — приказал Вяземский.

— Тута... — опять начал Четвертаков и протянул исписанный лист.

— Давайте!

Вяземский увидел, что у вахмистра из уха течет кровь.

— Что у вас кровь...

— Никак нет, ваше высокоблагородие, так что, ничего... видать контузия старая... — Четвертаков вытянулся, но успел провести рукавом шинели под левым ухом и размазал кровь по шее.

Наблюдавшие это Дрок, фон Мекк и батюшка переглянулись — Четвертаков не мог разминуться с только вышедшим из палатки Введенским. Дрок мотнул головой и закусил губу.

— Идите. — Вяземский отпустил Четвертакова, подошел с телефонограммой под висевшую на центральном шесте палатки лампу и стал читать. Прочитав, он обвел глазами офицеров и сказал:

— В телефонограмме указано, что за предстоящие два дня мы должны подготовить позиции для пехотного полка. Фольварк будет занят пехотой. И выступить в Граево. — И он обратился к Щербакову: — Николай Николаевич, надо высылать квартирьеров.

Новость была рядовая. Вяземский вернулся к столику. Дрок, не афишируя, снова налил коньяку.

— Аркадий Иванович! — Он обратился к Вяземскому. — А ведь ни дать ни взять, это дело рук Введенского.

Офицеры молчали. Молчал и батюшка.

— Кавалера Георгиевской медали по уху! — Дрок выпил и стал закусывать маленьким, с мизинец, маринованным огурчиком. — Вот этого, господа офицеры, спускать нельзя.

Произошедшее с вахмистром было для всех очевидно, и спускать этого, действительно, было нельзя, но ситуация разрешилась сама собой, потому что все понимали, что корнета Введенского в полку уже нет.

Врач Курашвили к обеду опоздал.

После обеда эскадронные 4-й, 5-й и 6-й были вызваны в штаб.

— У нас два дня, господа, надо выкопать окопы, сколько за это время успеем.

С эскадронными было решено, что к рытью окопов будут привлечены новобранцы и обозные в три смены, по сто человек. Лопат не хватало, и надо было успеть сделать необходимый инструмент. Командовать на этих работах был назначен Жамин.

* * *

Иннокентий сидел около костерка по пояс голый и чинил одежду, ту, в которую переобмундировался в крепости Осовец. В левом ухе гудело, и он то и дело потряхивал головой. Суконная форма — штаны и рубаха — в разведке и рейдах изнашивалась быстро. Две недели она выдержала, а потом Иннокентий зашивал и подшивал ее уже несколько раз, уже даже стояли несколько небольших заплаток. Но так было у всех. Полк давно не отводили на отдых, и, где можно было, драгуны перехватывали, где сукно, где шерсть, но шерсть была хуже, пришитая к сукну, она расползалась. Иннокентий только что почистил карабин, это было первое и главное занятие на отдыхе; съел крутого кулеша с гусятиной, запил кипятком со шепоткой чаю и шил. И давил вшей. На душе было горько. Он видел, что корнет Введенский выехал из полка с заводной лошадью на дорогу к Граевскому шоссе. Это, поскольку с заводной лошадью, могло означать только одно — надолго. Думая о Введенском, Кешка ухмылялся и поводил головой. А польская вошь была не злая. Это отмечали все драгуны. Корнет Введенский оказался злее. Драгуны говорили про него «барин». Теперь и Кешка знал, что такое «барин». Были и другие офицеры, которых так звали, но этого звали только так. В Забайкалье не было барина и в Предбайкалье не было, только слово одно и то в шутку. Другие в полку, те, кто из России, знали, что это такое доподлинно, и им было не до шуток. «Барин злее вши, а тем паче польской!»

Кешка горевал. Ему приходилось много драться и в детстве и в отрочестве, но так, чтобы кто-то заехал ему в ухо и отбыл неотмщенный,

такого не было. Конечно, самый главный барин был полковник Розен, но уж и нет его — отбыл по ранению. И Вяземский барин, но только не такой, как другие, от Вяземского можно и доброе слово услышать и стреляет он не хуже, чем Мишка Гуран с того берега Байкала, и даже обещал научить с этой, как его — какой-то оптикой, сказал, что ждет из дома новую винтовку. И фон Мекк барин, наверное, настоящий, важный, лишнего слова не скажет и только хлыстиком помахивает по лакированному сапогу, и грязь к нему никакая не липнет, и белый платочек, как у бабы, нет-нет да и промокнет губы или высморкается, никогда соплю об землю не шибает. Не то, ротмистр Дрок. Этот не барин, и вовсе непонятно из чьих он. Но смелый, что в разведку, что в рейд, везде первым идет. Драгуны его уважали...

Кешка сидел у костерка, у открытых дверей большой конюшни, подшивал одежду, давил вшей и не видел, что в его направлении движутся, пообедав, отец Илларион и доктор Курашвили. Увидев Четвертакова, батюшка сказал, что ему бы поговорить с вахмистром и попрощался с доктором. Тому надо было обустроить вошебойку в первом эскадроне и подыскать для этого все необходимое; ни батюшка, ни Четвертаков для этого ему были не нужны.

Батюшка подошел тихо, Четвертаков увидел его только совсем вблизи и попытался встать. Батюшка его остановил.

— Сидите, вахмистр, сидите. Вы же делом заняты.

Батюшка был не барин.

— А мы ведь с вами почти земляки, — сказал отец Илларион и стал оглядываться на что бы присесть. Нашел. Сел. Кешке стало неловко, что при полковом священнике он сидит.

— Сидите, вахмистр, я вас надолго не отвлеку. Я так понял, вас сегодня обидел корнет Введенский?

Кешка опустил голову.

— Обидел, знаю. Не знаю, но догадываюсь...

Кешка держал в пальцах одновременно иглу с ниткой и рыболовный крючок, с которым никогда не расставался.

— А что это у вас? — спросил отец Илларион и наклонился.

— Крючок, известное дело! — Когда край сукна был совсем узкий, непослушный и не подворачивался, Кешка заправлял его крючком.

— Вы рыбак! Ну, как же! Вы же с Байкала! Так я и говорю — мы с вами почти земляки.

— А вы с откудова?

— С Тоболькой губернии, Березовского уезда.

— Это где такое?

Отец Илларион усмехнулся:

— Это если ехать на Байкал из Москвы, то, когда Уральские горы переедешь, вот сразу Тобольская губерния и начинается.

- Далеко!
- Так Байкал еще дальше будет.
- Известное дело! А какая нелегкая вас сюдой занесла?
- Да так, для большего разнообразия! — пошутил батюшка.

У отца Иллариона то было примечательно, что у него не было обычного, такого привычного для взгляда, поповского брюшка, на котором наперсный крест бы возлежал. Кешка всмотрелся в батюшку.

- А у вас стать ни дать ни взять, как у ахвицера!
- Было дело, да только уже давно.
- А што так?
- Говорю же, для большего разнообразия! — снова повторил отец

Илларион и хитро улыбнулся.

- А это што такое, как вы сказывали: для большего...

— Разнообразия... А что из дома пишут? — вдруг перескочил на другую тему батюшка.

- Дак... — Кешке было непривычно так подолгу разговаривать.

— А когда потише будет, поспокойнее, может быть, с вами на рыбалку ходим? Тут озер много!..

— А у вас тама какая рыба водится? — Кешка не поспевал за батюшкой, но ему стало интересно.

— Ну, если говорить о доме, то — сиг, чир озерный, щука, налим, карась, муксун, в наших краях много всякой рыбы, а у вас?

- На Байкале-море?

— Да!

— Омуль, сиг, налим...

— Как у нас, кроме омуля... а жилка у вас имеется?

— Жилка?... — Кешка был удивлен, что батюшке известно это слово, раньше он думал, что оно известно только у него в Листвянке, дома, — сажен пять-шесть есть, дак только надо ждать, когда подсушит, што б можно было к воде подойти, тута все такое топкое, того и гляди увязнешь, конем вытаскивать придется...

Кешка шил, отвечал и спрашивал, батюшка смотрел, спрашивал и отвечал, и так они просидели до темноты.

Когда батюшка уже решил попрощаться, Кешка все же его спросил, а, мол, что такое «для большего разнообразия»?

— А это, когда ваша хозяйка варит все пшенку да пшенку, а вы ей...

— В ухо!..

— Тут я с вами не соглашусь, вахмистр, а вы ей, мол, рыбки хочется! Вот это и есть «для большего разнообразия», а драться — плохо!

Когда и шитье, и разговор закончились, батюшка попрощался.

Он шел в штаб. Вяземский, несший до войны придворную службу, привык, что полковые священники всегда рядом и исполняют роль духовников.

«С такими солдатами, как этот вахмистр, войну можно только выиграть!» — с этим убеждением отец Илларион дошел до штаба и застал Вяземского за письмом. Отцу Иллариону это было на руку, ему хотелось побыть одному и собраться с мыслями. Вот-вот во вновь сформированную 12-ю армию должен приехать протопресвитер военного и морского ведомства отец Георгий Шавельский. Они познакомились в самом начале войны в Ковенской крепости. Протопресвитера Шавельского интересовала церковная жизнь Тобольской епархии, где епископом был ставленник Гришки Распутина — Варнава. Разговор тогда начался и не был закончен, и мог быть продолжен в случае ожидаемой отцом Илларионом встречи. Затем и ездил в дивизию, чтобы узнать, когда приедет протопресвитер. А поговорить было о чем — Гришка Распутин родом был тобольский из села Покровское, а это недалеко, и отцу Иллариону было о нем многое известно.

Кешка проводил взглядом батюшку. На душе отлегло, только в голове рядом с левым ухом ключиком билась мысль: «Для большего разнообразия! Эт, значит, што, корнет-то меня по уху, для большего разнообразия, што ль? Я ить ему ниче не сделал. Попадется ишо такой, застрелю — для пушего разнообразия!» Кешка стал подниматься и только тут понял, что за мысль пришла ему в голову: «Што же это? Застрелить человека! Че удумал! Медведь он, што ли? Или немец? И батюшки заругают, што Василий, што Илларион!»

* * *

Утром 19 апреля 5-й эскадрон принялся за работу. Было решено, что окопы будут отрыты на участке примерно в версту от одной березовой роши до другой. Когда-то это была одна огромная роща, между простиравшимся на западе обширным лугом и шоссе на востоке. Середина роши с выходом на луг была вырублена, и на вырубке сто лет назад предок нынешнего хозяина фольварка построил хутор, ныне ставший усадьбой. Роща сохранилась и распространялась от хутора далеко на север и далеко на юг. Поэтому окопы, будь они выкопаны, прикрыли бы с запада и хутор, и весь фольварк, и подход к шоссе Ломжа—Граево, и тогда северный и южный края роши и остальные пять хуторов в тылу могли стать опорным пунктом для целого пехотного полка. По границе луга и роши следовало прорыть ходы сообщения к пулеметным точкам, чтобы фронт полностью перекрыл подход врагу, и тогда ему пришлось бы преодолеть не меньше версты по открытому лугу. У хозяина фольварка нашлись доски, из которых сделали еще с десятка два лопат, и работа пошла.

Ночью на запад с разведкой ходили драгуны из 1-го и 2-го полускадронов и казаки-донцы из корпусной кавалерии — они опреде-

лили, что немцы накопились в долине реки и перелесках по ту сторону луга в количестве двух пехотных полков. Языка не взяли, но и так было известно, что это полки ландверного корпуса 8-й немецкой армии генерал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга. На протяжении дня, не перелетая через позиции полка, несколько раз появлялись аэропланы и медленно-медленно вдоль фронта с севера на юг, а потом с юга на север летал цеппелин. Очень далеко. Копавшие, замирая на пару минут покурить, опираясь на лопаты, смотрели на цеппелин и, когда он подлетал ближе и становился различим, сравнивали его с рыбьим пузырем, только очень большим, и говорили, что «лопнуть бы его сигаркой, то-то бы шарахнуло».

И шарахнуло.

В пять часов пополудни.

На западе, под опускающимся солнцем послышался грозовой гром. Копавшие распрямылись и стали туда смотреть. Жамин, наблюдавший за работами, хотел уже пристрожить начавший не вовремя отдыхать 6-й эскадрон, заступивший на смену 5-му, но в ста саженях от траншей поднялись восемь больших взрывов. Жамин хотел закричать «Ложись!», но не успел, и уже ближе, в пятидесяти саженях снова поднялись восемь взрывов, взрывы закидали копавших большими мокрыми комьями земли и просвистели осколками. Жамин закричал «Ложись!», но его никто не слышал, потому что взрывы грохотали громко. Жамин рванулся вперед к копавшим, но следующие восемь взрывов встали ровно на том месте, где копали. Дальше в этом же месте снова встали восемь взрывов. Артиллерийский обстрел надвинулся, как грозовой фронт. По логике стрельбы, это был заградительный огонь, и он должен был продвигаться все дальше и дальше, и Жамин стал отходить. Однако огонь не отодвигался, а с интервалом в три минуты долбил по окопам. Воздух был прохладный и свежий, и дым от взрывов быстро садился, но до конца осесть не успевал, потому что снова раздавались восемь взрывов. Жамина отбросило. Он поднял голову и понял, что копавший окопы эскадрон и другой, отдыхавший, накрыло, и он никого не видел, кто шел бы или бежал в тыл. А немцы, видно, зарядили еще несколько батарей, и теперь взрывы раздавались и южнее, и севернее, и в тылу. Комья земли стали прилетать из-за спины, и осколки свистели вперекрест. Огонь накрыл весь фольварк, и тут Жамин увидел высокие черные дымы, которые поднимались из березняков, их было два — один южнее хутора, один севернее, и если между ними протянуть веревку, она как раз повисла бы над линией окопов. Жамин понял, что это были сигнальные дымы для немецких наводчиков. Ничего нельзя было поделаться, и Жамин закатился на дно ближней еще воювшей пороховой воронки.

Четыре эскадрона — 1-й, 2-й, 3-й и 4-й — успели сняться и уйти за шоссе. Эскадронные командиры стояли рядом со своими эскадронами, Вяземский рядом с Дроком. Немецкие снаряды за шоссе не перелетали. Офицеры стояли и смотрели, как снаряды уничтожают фольварк и поднимаются черные сигнальные дымы из березняков. Драгунам было разрешено курить, не слезая с седел.

Артобстрел длился час.

Когда обстрел кончился, эскадроны прошли разбитый фольварк и вышли к опушке роши, к лугу, там, где копали окопы. Трубаچی дали сигнал, и Дрок повел 1-й эскадрон в атаку. Три эскадрона за ним пошли на немцев.

Адъютант Щербаков, вестовой Доброконь и Клешня на сломанной пополам березе соорудили наблюдательный пункт и помогли взобраться Вяземскому. С высоты двух с половиною или трех саженей Вяземскому был виден весь луг. Он веревкой привязался через пояс к березе, и у него были свободные руки. В бинокль были видны дрожащие в мареве мелькающие спины драгун.

Немецкий полк тремя батальонными колоннами успел пройти половину луга. Когда драгуны четырех эскадронов вышли на открытое место, передние шеренги немецких батальонов стали стрелять, а задние перебегать и перестраиваться в одну длинную фалангу. Скорее всего, немцы были уверены, что артобстрелом русский полк уничтожен, и собирались прийти на фольварк походным порядком. О том, что они знали, что на фольварке стоит русский кавалерийский полк, свидетельствовали сигнальные дымы, и зажечь их было некому, кроме хозяина фольварка и его сына. И Вяземский и Дрок догадались об этом, и Вяземский выполнил слова Дрока направить к дымам с облавою по одному отделению.

Вяземский наблюдал. Он видел, что Дрок стал уходить вправо, увлекая за собой 1-й и 3-й эскадроны, а фон Мекк влево, и за ним пошли 2-й и 4-й эскадроны. Немцы не ждали контратаки. Дрок и фон Мекк вружились в немецкую фалангу, когда батальонные колонны еще до конца не успели перестроиться, и теперь немцы палили беспорядочно.

Вяземский поднял бинокль. Он наблюдал пятнадцать минут: эскадроны смяли фланги немецкого ландверного полка, повернулись навстречу друг другу и уже добирались к середине, перемалывая противника с двух сторон, как сближающиеся газонокосилки. Было ясно, что ландверный полк практически уничтожен, теперь самое главное было не попасть под огонь немецких пулеметов при отходе к своим позициям, но Дрок и фон Мекк, прорубившись, погнали германца на запад, а через полверсты они развернули коней, и Дрок

стал уходить на северо-восток, а фон Мекк на юго-восток, оставляя луг, усеянным трупами. Это было единственно правильное решение, потому что немцы начали обстреливать луг. Через десять минут Дрок растворился в березняке на севере от хутора, а фон Мекк в березняке на юге. Вяземский наблюдал еще пятнадцать минут, чтобы немцы не начали второй атаки, и спустился с березы. Рядом со Щербаковым уже стоял связанный веревками лет шестнадцати сын хозяина фольварка.

— Повесить! — коротко приказал Вяземский и запрыгнул в седло. И тут он увидел, что никто из драгун не пошевелился исполнить его приказание и услышал из-за спины.

— Можно я, ваше высокоблагородие?

Вяземский обернулся, к нему шел драгун, но Вяземский его не узнавал.

— Ваше высокоблагородие, это я, вахмистр Жамин.

У Жамина было черное лицо, черные кисти рук, он был без ремня, без карабина, в руках держал лопату, шинель на нем была обгоревшая и оборванная, а левый сапог висел разорванным по шву голенищем.

— Они на моих глазах положили почти двести человек, ваше высокоблагородие, 5-й и 6-й эскадроны и почти што весь обоз, живых осталось четверо — кузнец и три коновода... остальные тама, — он махнул рукой в сторону окопов, воткнул лопату в землю и вынул из кобуры револьвер. — Пойдем, што ли? — не дожидаясь ответа Вяземского, мотнул он головой немецкому юноше.

19 апреля 1915 года в районе городка Горлице в южной Польше объединенные войска Германии и Австро-Венгрии начали наступательную операцию, которая получила название Горлицкого прорыва, за несколько дней распространившуюся по всему фронту.

Письма и документы

Многоуважаемый, любезный Федор Гаврилович!

Пребываю на Вас в глубокой обиде. Написала Вам уже два письма (это второе), а от Вас не получила ни одного. Наверное, Вы сильно заняты на войне.

Погоды у нас стоят хорошие, март замело снегом и метелями, а сейчас ведро и по всей Твери звенит капель, и птички поют. Волга местами вскрылась, и рыбаки вычерпывают ее сетями, рыбы много. Сейчас, наверное, Вы с Вашим родителем уже привезли бы много рыбы, правда ее сейчас откупщики берут за бесценок, потому что рыбы много, но и требуется для войны тоже много. Много откупщиков приехали из Петрограда

и Москвы. А тятя Елены Павловны захворал, и Елена Павловна бросила все свои дела и не позволяет никому ухаживать за тятей, только оне и я. Даже докторов повыгнала. Тятя сильно кашляет, видать угораздило на Волге простудиться. Но ничего, даст Бог, поправится.

В Твери весело. Почти что все гимназии и другие большие и господские дома отдали под госпитали, и по городу разгуливают brave офицеры и унтеры, только кто без ноги, без руки, а кто и более.

Пока тятя Елены Павловны не хворал, Елена Павловна много и со мною трудилась в госпиталях, на сестру милосердия она учиться не стала, крови боится и я с ней. Поэтому мы и я с ней сделались учительшами для раненых нижних чинов и унтеров, тех, что не очень сильны в грамоте. Так за Еленой Павловной, нашей красавицей, прямо хвостом потянулись офицеры, те, которые могут ходить и разговаривать. Так Елена Павловна вся расцвела, а еще она для тех, кто офицеры не очень раненный, устраивает учебные курсы танцев, только не вальс и не танго, а полька-бабочка и даже котильон, но для тех, кто может сам двигаться. Доктора на нее не нарадуются, как она помогает выздоравливать бедным раненым. И сама Елена Павловна очень от этого расцвела. Так на нее все заглядываются, особенно те офицеры, с которыми она по-французски разговаривает. Может с ними по часу разговаривать.

Вы там на войне особенно не храбритесь. Сейчас мужчин, особенно здоровых все меньше с войны приходит, все больше больных, увечных и раненых. А каких мы раненых видим, страх один. Так что Вы не особенно подвергайте себя военной опасности.

Один офицер, сильно раненный, письма пишет Елене Павловне, такие грустные, жаль одна. Доктора говорят, что не жилец он, но Бог даст, выживет. Тогда Елене Павловне будет большая радость. Как и за всех.

Есть тут один раненый, подпоручик, молоденький такой, просто красавчик. Елена Павловна душилась, когда мы в госпиталь ходили, я за ней по проходу между кроватями иду, а он прямо за ней носом, носом, потому что у него глаз нет и он в повязке. Я сказала Елене Павловне, и она перестала душиться, так он попросил снова душиться, он говорит, что так и видит ее красавицей. Его зовут Георгий. Фамилию не знаю, знаю только, что он прибыл из-под Львова.

Вы уж, Федор Гаврилович, пишите нам, что Вы живой и здоровый, чтобы не было волнений, а то мы в госпиталях такого насмотрелись, не приведи Господь.

Желаю Вам счастья и военной удачи.

Пишите!

Серафима.

1 апреля 1915 года, г. Тверь.

Здравствуй, моя дорогая

Ксенюшка-княгинюшка!

Прости меня за то, что так редко пишу. Твои письма получил все, что ты написала в марте месяце. Очень волнуюсь и переживаю, как твое здоровье. Про себя писать почти нечего. Все время передвигаемся то с севера на юг, то с юга на север.

Ты писала, что видела полковника на белом жеребце. Весьма вероятно, что это наш командир полка полковник граф Розен, Константин Федорович. Хороший был командир, воспитал полк весьма профессионально. Мы от офицерского собрания написали ему представление к награде на Св. Владимира III степени. Только волнуемся, как там наши тыловые и штабы этим распорядятся. И через друзей бывшего своего Кавалергардского полка походатайствовать не могу, хотя воюют рядом. Не так давно видел генерала Казнакова, ты его помнишь, командира второй бригады I-й гвардейской кавалерийской дивизии, видно, что устал. Я хотел ему сказать про полковника Розена, но понял, что ему не до этого. Себе пообещал, что буду писать наградные на Розена, пока не получу известие, что Константин Федорович награду получил. Буду настаивать. Поговорить бы об этом с Великим Князем Н. Н., но пока в Ставку являться нет повода и причин.

Про Стрельцова ты интересно написала! Что это он переделался в другую форму? Да еще морскую! Интересно, где он сейчас, в Петрограде ли? Очень непривычно писать «Петроград» вместо «Санкт-Петербург». Странно, вместо города Св. Петра, получился просто «город Петра». Думаю, Петр Великий таким понижением статуса был бы недоволен.

Как наш мальчик? Ты пишешь, что растет крепкий. Это меня радует.

*Но главное сейчас для меня — это ты. Это — вы! Ты же меня пони-
маешь?*

Привет моей дорогой тетушке и Софье, они, действительно, похожи на сестер. Вот что значит так долго жить в одном доме.

Твой Аркадий.

18 апреля 1915 года.

Генерал-квартирмейстеру
Северо-Западного фронта
Генерал-майору
Пустовойтенко М. С.

Рапорт

Сим имею честь донести, что прослужив в драгунском полку полковника графа Розена с июля 1914 года по апрель 1915 года, нашел, что порядок в полку по мере хода войны на глазах расстраивался и пришел

в негодность в виду социалистических настроений в нижних чинах, чему способствовало поверхностное отношение к Уставам со стороны некоторых офицеров, в частности, ротмистра Дрока и ротмистра фон Мекка. Особенно в отрицательную сторону в сем выделялся и выделяется поручик Рейнгардт. По моему мнению, поручик Рейнгардт социализировался окончательно и ведет политику заигрывания с нижними чинами в ущерб строю и дисциплине. После ранения и отбытия из строя полковника графа Розена подполковник Вяземский имеет многие трудности в командовании армейским драгунским полком, поскольку прибыл из гвардии ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, т. е. из обстановки сугубой дисциплины и в строгом понятии офицерской чести.

Доношу в связи с личным пониманием соответствия понятия офицерской чести условиям выполнения долга офицера в борьбе с врагом РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.

Прошу доложить об обстановке в полку Верховному Главнокомандующему ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ.

Корнет Введенский.

25 апреля 1915 г.

Многоуважаемая Т. И.

Что я делаю? Какая Т. И.? Где она — Т.И.? Сколько я ездил по крепостям! И в Гродно и в Ковно! Нигде ее не нашел! Везде говорили, что вот она была и вот она уехала с очередным госпиталем то в Москву, то в Киев, то в Питер! Противное слово! Такое впечатление, что сдали город! Был Санкт-Петербург, а сдали, и получился Петроград. Уже скоро год, как переименовали, а не могу привыкнуть! До сих пор ходит шутка, что, мол, а Петергоф переименовали в «Петрушкин двор»! Так, что ли?

А может, это и хорошо, что Т.И. нигде нет. Дак как же нет, когда есть!!! Ее даже вахмистр И. Четвертаков видел, и это в самый обстрел Осовца!!! Это уму непостижимо! Гнать надо баб с фронта! Гнать! Нечего им делать среди мужского зверя, половозрелым самкам! Вон их гонят из фронтовой полосы, местных. Это кому же в голову взбрело снимать и переселять и эвакуировать местное население таким образом? По одним и тем же дорогам навстречу войскам??? Ни этим толком в тыл не уйти, ни войскам на фронт!

А что на фронте?

Не то что писать, а сказать больно!!!

19 апреля немцы и австрийцы в районе Горлице прорвали фронт и за 5 дней от 3-й армии Радко-Дмитриева ничего не осталось! Треть! Хорошо, хоть 8-я Брусилова устояла!

И нас обстреляли. Никогда не забуду этого обстрела. Перемешать два эскадрона и обозных с землей на протяжении версты. Даже хоронить было нечего, так тонко перемешали человецев с землей. Одну только голову нашли. На осине. Прости Господи! Осина из одного ствола на высоте трех саженей разрослась в три стороны и между ветками засела голова. Улыбается. Без зубов. А глаза еще блестят. Вот что значит «И глазом моргнуть не успел!» Только его одного и распознали! Тонко-тонко так перемешали, граблями подгрести, и могила готова — втыкай крест! Но велика больно — шириной в триста саженей и длиной — верста! Могила! Поговаривали, что Вяземский хотел застрелиться. Не верю — не тот человек. Полк все-таки свою задачу выполнил, порубили ландверных целый полк, почти три батальона. Одними шапками! Вяземского вызывали в Седлец в штаб СЗ фронта. Докладывал лично Алексееву. Сказывали, что тот чуть не прослезился и вывалил пригоршнями «Егориев» на раздачу нижним чинам. А тем, кто остался в траншеях, хватило одного креста — деревянного! Отец Илларион молчал три дня, пил потихоньку, спирт-то у меня! И я с ним! Вяземский, Дрок и фон Мекк получили по Владимиру, Вяземский с мечами. Однако радости на их лицах я не видел. А генералы, как сказал Дрок (все же простота не хуже воровства), «глаз не кажут», стыдно им, что ли, за то, что так воюем. Рузский вовремя заболел! В 14-м на чужом рожне в рай въехал! Львов обошли и отогнали австрияка брусоловцы, а войско Рузского в него пустой и вошло! Так говорят! И повысили Рузского с командующего 3-й армией до командующего Северо-Западным фронтом, а ему батальоном командовать! Не более! Так говорят господа военные. И Императрица... слухи — один отвратительней другого! Слишком много слухов. Снова взялись за шпионов, то немцы, то евреи. А они-то, главные, ка бы не в самом Питере! Над всеми висит тень полковника Мясоедова. Сухомлинова в войсках ненавидят, и есть за что — у артиллерии три снаряда на всю дневную стрельбу (на сутки), не хватает патронов, пополнение приходит «сама четыре, сама пять», то бишь, одна винтовка на четверых, а то и на пять человек.

Наша армия ползет на северо-восток в район Шавли (местные называют — Шауляй) и к Риге.

Полк пострадал, потому что казаки не пошли в глубокий рейд и прозевали крупнокалиберную артиллерию. Хваленые!

Встали на пополнение и отдых. Пока стоим.

Вяземскому и фон Мекку даны отпуска по очереди. Дрок отказался. Сначала должен был ехать Вяземский, его жене рожать. За себя назначил Дрока. Фон Мекк, было, заревновал, хотя все по уставу. Но, ничего, ненадолго, спирт-то опять-таки у меня, и батюшка, конечно, миротворец. Так что ледок растаял, под спиртом-то! Но Вяземский получил письмо, что событие ожидается во второй половине мая, это акушер так сказал (акушер, а не Господь Бог). И в отпуск завтра или послезав-

тра поедет фон Мекк, а обидой перекинулись, как в лаун-теннисе. Люди, одно слово, а еще полагают кому, когда рожать!

Дрок рассказал, что в штабе фронта наткнулся на Введенского. У того уже висит Станислав III степени и ходит с прямой спиной. Все-таки он не Homo sapiens, а Homo erectus (на то они и гениталии, чтобы распрямляться).

30 апреля 1915 года.

Шавли.

Главнокомандующему Северо-Западным фронтом
Ген. от инфантерии Алексеев М. В.

Мнение: сомнительное донесение в виду героического поведения полка с самого начала компании. Однако в связи с упоминанием корнетом Введенским «социалистических настроений в нижних чинах», следовало бы обратить на это особое внимание. С отправкой донесения в Ставку думаю погодить. Корнета Введенского целесообразно определить по транспортной части.

Для дальнейшего исполнения и разбирательства рапорт передать по жандармской части.

*Генерал-квартирмейстер штаба Северо-Западного фронта
ген-м Пустовойтенко М. С.
30 апреля 1915 г.*

Резолюция:

Ув. Мих. Саввич!

Сделайте внушение доносителю за подачу рапорта через голову. Кто, этот корнет Введенский?

С Вашим мнением согласен.

Определите, как считаете нужным.

Алексеев.

Май

Предложение об отпуске было неожиданным. Неожиданной была и реакция главнокомандующего Северо-Западным фронтом генерала от инфантерии Алексеева. Командующий 5-й армией генерал Плеве в Седлец в штаб фронта не приехал, хотя именно он вызывал Вяземского, поэтому доклад о деле 19 апреля и обстановке на боевом участке принял лично Алексеев с генерал-квартирмейстером Михаилом Саввичем Пустовойтенко.

Вяземский ехал с твердой уверенностью, что за потери в деле 19 апреля его снимут, однако все пошло не так. Потерю не зачли,

а зачли разгром германского ландверного полка и сведения, которые подполковник привез о противнике. Вяземскому даже показалось, что Алексеев был готов прослезиться, когда он завершил доклад о бомбардировке и закопанной в землю учебной команде и обозе, то есть о гибели двухсот человек.

У Алексеева было заметное косоглазие и по привычке, видимо еще с детства, он прятал глаза за очками или старался смотреть немного боком.

— Да, голубчик, это все печально! — Алексеев сел за свой стол и вытащил коробку. — Здесь награды для нижних чинов, раздайте от моего имени по вашему усмотрению и вот это для вас! — Алексеев вынул еще три коробочки меньшего размера. — Вам, Аркадий Иванович вот это!

Михаил Васильевич встал, подошел к Вяземскому и подал коробку:

— Тут, голубчик, Владимир с мечами, вы уж, как-нибудь сами прикрепите и, я слышал, что с вами еще офицеры?..

— Так точно, ваше высокопревосходительство!

— Пригласите их.

Адъютант вышел? и к Вяземскому с поздравлениями подошел Пустовойтенко:

— Очень рад, Аркадий Иванович! Я внимательно посмотрел ваш доклад. Потери, это, конечно... но куда от них деваться?.. Война есть война, однако ваши действия, ваша решительная атака... Благодаря вашим действиям было сорвано наступление целой дивизии, и генерал Плеве лично вас отметил. Теперь очевидно, что после ранения Розена вы полностью взяли полк в руки.

— А Розен? — этот вопрос Аркадий Иванович хотел задать, но не знал, как, а тут он вырвался. И вмешался Алексеев:

— На Розена пришли две бумаги, одна ваша, а другая... — Алексеев запнулся. — И не дай Бог вам ее увидеть... Мы все документы переслали в Петер... черт, чуть с языка не сорвалось... в Петроград.

Вяземский не знал, что сказать, какая вторая бумага, откуда?..

Через секунду в кабинет вошли мешковатый Дрок и щеголь фон Мекк.

* * *

Введенский был сегодня без дела.

Так продолжалось уже двадцать дней. Он даже не знал, в каком кабинете для него определено место, потому что об этом никто ничего не говорил. Безделье, конечно, огорчало, а с другой стороны, он уже начал отвыкать от неудобств каждодневной седельной жизни, которой жил до этого, уже перестал вздрагивать от громких звуков, но не привык

к тому, что каждый раз, проходя мимо зеркала, что в гардеробе штаба, что дома, видел на своей груди орден Святого Станислава III степени.

Штаб фронта располагался на окраине маленького польского городка Седлец недалеко от железнодорожной станции. Это было удобно в смысле коммуникаций, но далеко от его квартиры, которую он снял в центре у пожилой вдовы. Хотя городок был настолько невелик, что слово «далеко» в нем было мало уместно.

Офицеры штаба особенного интереса к Введенскому не проявляли, но он уже понял, что это не по его причине, а просто все заняты и часто менялись, не успевая друг к другу привыкнуть. Последняя большая замена случилась во второй половине марта, когда на место главнокомандующего Северо-Западным фронтом генерала Рузского получил назначение генерал Алексеев.

Сегодня было 8 мая, а что-то интересное для корнета произошло 1 мая: тогда в штабе фронта появились подполковник Вяземский и ротмистры Дрок и фон Мекк. Но корнет видел их мельком, после устроенного ему прощания офицерами полка он не стал бросаться бывшим сослуживцам на шею.

А также 6-го мая, то есть позавчера.

После прибытия к новому месту службы и немного освоившись, а главное, когда нанял квартиру, Введенский написал донесение о положении в полку и подал его в делопроизводство генерал-квартирмейстера. И стал ждать. Позавчера, 6-го мая, его вызвал сам генерал-квартирмейстер Михаил Саввич Пустовойтенко и принял без промедлений, поэтому долго томиться в приемной не пришлось.

Генерал сидел за столом, он кивнул на приветствие корнета и протянул бумагу:

— Вы определены по управлению воинских сообщений, — сказал Пустовойтенко. Когда он говорил, то смотрел на Введенского, и лицо у него, как это обычно бывает у всех людей, двигалось; не двигалась только золотая оправа пенсне на витом тонком шнуре и огромные стреловидные, торчащие в стороны усы, это поселило в душе корнета тревожное ощущение. — Предписание передайте, и там получите уточнение, чем вам будет нужно заниматься. Можете идти.

— Слушаю! — сказал корнет и уже повернулся.

— Вам этот орден, господин корнет, пришел по представлению полка за Лодзь. Идите.

Сказано было коротко, Введенский снова повернулся, но только увидел склоненную к документам голову генерала.

С предписанием он пошел в управление воинских сообщений, там было велено все отдать в делопроизводство. Введенский исполнил и стал ждать. Сейчас он ждал уточнений относительно назначения, а до

этого ждал, что будет сказано и сделано по существу написанного им донесения.

От предложенного хозяйкой пансиона — утренний чай и завтрак — Введенский отказался, потому что уже к этому времени должен был находиться в штабе. Штабные офицеры довольствовались в собрании, и Введенский принужден был согласиться, хотя и через силу — уж очень ему «соборность» надоела в полку. А обедал он сам.

Он ждал закусок.

Закуски были принесены — нарезанная большими кусками фаршированная щука, воздушный белый хлеб и маринованные овощи. Маринованных овощей, до приезда на службу в Польшу Введенский не знал, в России овощи были квашеные. Корнету сразу понравился острый вкус винного уксуса и четвертинки полупрозрачного в нем лука, под эту закуску можно было съесть все что угодно.

Хозяин заведения, вполне цивилизованный местный еврей в длинном до пола белом переднике, в жилетке и бабочке, еще не старый, лет не более сорока, очень любезно его принял и предложил заодно быть комиссионером: «пошить» новый мундир, обновить амуницию, достать шелковое белье и многое другое, и все по очень сходным ценам. Введенский согласился и на четвертый день полностью переоделся. Еврей предложил туалетную воду и мыло 4711 поставщика Двора Его Императорского Величества г-на Брокера и К°, и на пятый день корнет забыл про дым от костров и запах навоза. Еще Введенский освободился от удобства пользования услугами денщика. Это удобство он воспринимал как относительное, потому что ему достался хохлацкий парень, тугодум и неумеха. Зато от господина Барановского каждое утро прибегал мальчишка, приводил в порядок мундир корнета и сапоги, а сколько это стоило, корнет даже не интересовался, потому что все входило в стоимость очень не дорогих обедов и других услуг. Денщиков Введенский не любил, те подслушивали и подсматривали за «барами», своими господами, и потом все несли в полк и там ввали. Он старался не пользоваться услугами своего денщика, другие денщики об этом скоро узнали, и старый служака Розен высказался по поводу того, что он не потерпит в своем полку либерализма. Поэтому Введенскому пришлось изворачиваться, что он услугами своего Хвэдора якобы пользуется, на самом деле он позволял ему только чистить сапоги, не самому же возиться с присохшей вперемежку с навозом глиной, удовольствия это не доставляло.

Заведение господина Барановского имело претензию на шик и называлось «Ресторан Бельведер». Внутри все было устроено вполне любезно для русской привычности: у входа стоял медведь с подносом и пыльной рюмкой, обозначававшей возможность подношения

за счет заведения; на стенах висели головы убитых коз, оленей и даже зубра, шерсть на них была с заметными проплешинами, то есть трачена молью, и стеклянные глаза не блестели, запыленные и давно не тертые тряпкой. Это если приглядываться! А если не приглядываться, то кормил господин Барановский вкусно и сначала пытался присесть за стол рядом с новым клиентом, но Введенский так на него посмотрел, что Барановский встал и сделал вид, что это произошло случайно и больше не повторится.

Господин Барановский предложил и девицу. В мирное время это было в порядке вещей, но после «шпионского дела» полковника Мясоедова, Введенский опасался.

Сегодня все было как обычно, Барановский поклонился, обмахнул тряпкой чистую скатерть, отодвинул стул и подал меню, но и немного странно, Барановский отчего-то нервничал. Он подходил слишком часто и интересовался, хороша ли еда и достаточно ли крепок «чай», Введенский уже хотел его, как говорили драгуны, «шугануть», но Барановский, задал последний вопрос, сделал шаг в сторону, и из кухонной двери вышла еврейская девушка необыкновенной красоты. Введенский, как только увидел ее, замер и не заметил, что исчез с глаз Барановский.

Девушка просто встала перед дверью. На ней было обыкновенное коричневое платье, не длинное, чуть ниже колен, на ногах коричневые нитяные чулки и домашние туфли, волосы — роскошные, черные, копной, перетянутые алой лентой. Она стояла и смотрела корнету в глаза. Это был странный взгляд, слишком прямой, не свойственный еврейским женщинам, которые вели себя скромно, если с кем-нибудь не ругались. А еврейских девушек Введенский почти никогда не видел, их прятали от нескромных взоров русских офицеров. Русские нижние чины ни на кого не обращали внимания, потому что, служа на чужбине, они мечтали о своих русых и толстопятых бабах и девках, где-нибудь на брянщине или смоленщине; зачем им были нужны иудейки.

— Ее зовут Малка, но она будет откликаться на Машу или Марию, и она ни слова не знает по-русски, а пан офицер, если я правильно понимаю, не знает нашего жаргона и не силен в польском. Ей только-только исполнилось тринадцать лет, яблочко не надкусанное!

Теперь Введенский увидел нежный румянец на чистых щеках Малки и под платьем маленькие груди. У него не стало аппетита. Он не знал, что сказать.

— Если пан офицер купит ей несколько нарядов и заплатит ее родителям сто пятьдесят рублей ассигнациями или сто рублей серебром... Я уже присмотрел для пана офицера квартиру, хозяйка пана

офицера очень строгая вдова... Если пана офицера это устраивает, Малка, то есть, извините, Мария, уже сегодня будет его ждать...

Введенский услышал все отчетливо, Барановский стоял за спиной — вот куда он делся, не далеко — и шептал прямо в ухо. Введенский вдруг почувствовал, что у него стали горячими и влажными ладони, а в животе образовался холод, совсем как перед атакой. Он почувствовал слабость в ногах и страх. Малка повернулась, ушла в дверь, и дверь тихо затворилась. Барановский нежным движением налил из чайника водку, не плеснув, и будто его и не было. Введенский не дотронулся ни до водки, ни до закуски. Вдруг звякнул колокольчик, распахнулась парадная дверь, и в заведение с шумом вошел вестовой из штаба. Он чуть не столкнул медведя, но успел подхватить падавшую на подносе рюмку и стал смотреть по залу. Введенский шестым чувством понял, что это по его душу, вестовой увидел корнета и открыл рот для громкого доклада, но корнет махнул на него рукой, положил на стол деньги и вышел.

На улице, едва поспевая за вестовым, он даже не пытался освободиться от видения, которое было только что, но почувствовал, что страх исчез. Пока шли к штабу, Введенский пришел в себя: «Ух!», сказал он и мотнул головой. Он еще не видел такой красоты и вспомнил Суламифь, когда та, выйдя из виноградника, открылась молодому царю Соломону. И тут он понял, что, наверное, есть красота по Тургеневу, есть по Блоку, а есть по Куприну: Суламифь по его воображению была точь в точь, как Малка — чистая вода.

Причина вызова оказалась простой: через полчаса уходил поезд в Гродно, и Введенский должен был туда ехать для вручения наград в гродненском крепостном лазарете.

Через четыре часа поезд в три вагона транспортного управления штаба фронта уже был в Гродно. На перроне пассажиров встретил адъютант коменданта крепости, транспорт стоял наготове, и пассажиров развезли по их назначениям. Введенский и его спутник, военный чиновник медицинского ведомства, за весь путь, кроме «здрас-сте!», не проронивший ни слова, были определены прямо в госпитале — обыкновенной солдатской казарме из темно-красного кирпича, где им выделили две крохотные комнатки с мебелью, состоявшей из железной кровати (одна), тумбочки (одна) и стула (один), в углу комнат еще стояло по вешалке (одна). Вся мебель была перечислена в застекленной рамке, висевшей рядом с входной дверью (одна). Пока ехали в Гродно, чиновник всю дорогу разбирал бумаги, бумаг было много, и он был занят, поэтому, молчалив. Из сундучка, похожего на погребец он доставал награду, подбирал под нее соответствующий документ и аккуратно складывал. В середине

пути он поднял на Введенского глаза, вздохнул, показывая, что никак не может оторваться от своего занятия, и сказал только то, что на все про все у них завтра будет час сорок минут и в полдень они должны сесть в обратный поезд. Введенского это — и краткость поездки, и обоюдное молчание — устраивало, — он видел перед собою Малку.

На следующий день рано утром медицинский персонал крепостного лазарета и нескольких санитарных поездов, почти сто человек, были построены в актовом зале офицерского собрания. Присутствовали заместители коменданта, крепостные инженеры, интенданты и артиллеристы, их жены; на хорах, настраиваясь, посвистывал и посапывал духовой оркестр. Введенский, который должен был от штаба фронта сопровождать коменданта крепости и подавать ему награды, понял, как вовремя он сменил старый мундир на новый.

Его вчерашний сосед по купе, чиновник медицинского ведомства, пришел на церемонию намного раньше, в его обязанности входило построить награждаемых по списку наград.

Церемония была торжественная. Как только комендант вошел в залу, оркестр грянул. После гимна комендант сказал речь, пошел по ряду и после каждого вручения креста или медали оркестр играл два такта туш. Введенский шел за комендантом слева и на полшага сзади, за ним двигался чиновник с погребцом. Тот уже знал награждаемых в лицо и безошибочно подавал награду Введенскому вместе с наградным листом. Комендант принимал медаль или крест из рук Введенского, чиновник шептал фамилию награждаемого корнету, тот негромко произносил ее коменданту, комендант, в свою очередь, произносил фамилию громко и пытался приколоть награду на мундир, а когда это не получалось, отдавал в руки. Так было с кавалерами, а вот с дамами, сестрами милосердия, было не так: комендант норовил сам приколоть награду на грудь сестры милосердия и тогда у него начинали дрожать пальцы. Введенский это видел и вот-вот ждал, что кто-нибудь прыснет, он был так озабочен этим опасением, что на награждаемых не смотрел, а смотрел только на руки коменданта.

Когда был награжден последний, комендант шагнул назад и посмотрел на оркестр. Оркестр заиграл гимн. Введенский шагнул тоже и только тут смог оглядеть награжденных. Прямо перед ним стояла сестра милосердия, она благодарно взирала на коменданта, и Введенский увидел, что в ее глазах дрожат слезинки. Он попытался вспомнить ее фамилию, но не смог, и не мог, потому что во все награждение был отвлечен на мысль о возможном конфузе с дрожащими пальцами коменданта.

«Черт! — думал он. — Как же она хороша!» Введенский не сводил с нее глаз.

Гимн закончили, в залу вошли денщики с шампанским, публика смешалась, Введенский подхватил два бокала и подался к ряду награжденных, но увидел, как какой-то плотный, лысоватый пожилой медицинский чиновник, стоявший, видимо, всю церемонию среди гостей, машет рукой то одному из награжденных, то другому, на его зов, в числе вызываемых, откликнулась дважды награжденная сестра милосердия, и через несколько секунд чиновник и те, кого он позвал, повернулись к коменданту крепости и поклонились. Комендант встречно раскланялся, пожал руку чиновнику, и чиновник вывел всех из залы, человек десять. Введенский так и остался стоять с бокалами.

— Гродненский санитарный поезд номер один, — услышал он из-за спины. Он повернулся, перед ним улыбался его сосед по купе. — У них было времени всего полтора часа, поэтому церемонию пришлось проводить так рано. Они через десять минут отправляются.

— Куда? — Введенский держал бокалы и не знал, что с ними делать. Сосед взял один: «Позвольте?» — он отпил и произнес:

— Сие нам не ведомо, коллега. Героический поезд, надо сказать! Вы видели ту сестричку, с двумя Георгиевскими медалями?.. Мадемуазель Сиротина, Танечка, героиня на весь наш фронт!..

Введенский хотел кивнуть, но не успел.

— Однако дело сделано, и теперь можно немного отдохнуть и даже поговорить. Наш поезд через сорок три минуты. Вы успели позавтракать?

Вчера молчаливый чиновник, сегодня оказался очень разговорчивым. Когда они вышли из залы, тот наконец представился. Таким образом, получил возможность представиться и Введенский. И чиновник, сказав, что про Введенского все знает, начал рассказывать о санитарно-транспортном обеспечении Северо-Западного фронта. Оказалось, что это очень скучно, а санитарно-транспортное обеспечение огромно.

— Десятки, а то и сотни, санитарных поездов: и именные их величеств и высочеств, и Государственной думы, и земские, и Союза городов, и персональные членов Государственной думы, и полевые, и крепостные госпитали и лазареты, и первой и второй очереди, и тыловые госпитали... — где-то в этом месте, глядя в тарелку, и, поедая яичницу с жареным луком, Введенский перестал слышать собеседника. Он видел перед собою еврейскую красавицу Малку в накидке сестры милосердия. Он хотел увидеть другую, ту, что сегодня почти что из его рук получила вторую награду, Таня, кажется, Татьяна... но вместо нее видел Малку.

— И все это, уважаемый коллега, пустые хлопоты!

Это Введенский услышал и посмотрел на собеседника.

— Нету хороших организаторов, врачи есть, сестры милосердия есть, вы сами видели, а организаторов — нету. Вот помню случай, ког-

да германец в конце января сего пятнадцатого года надавил на 10-ю армию... еще в самом начале, еще когда 20-й корпус генерала Булгакова только-только начал движение назад...

— Помню, — вдруг, неожиданно для себя включился в разговор Введенский, — это перед разгромом в Августовском лесу..

— Совершенно верно, но вы, вероятно, осведомлены о военной части операции...

— Да, — кивнул Введенский.

— А я веду речь о медицинской части... я-то ведь служу по медицинской части как никак... Я тогда служил при штабе 10-й армии у барона фон Будберга Алексей Палыча.

Введенский обнаружил, что в его тарелке кончилась яичница, надо было ждать чай, и он стал слушать.

— Состояние дел складывалось очень скверное, ну, вы, наверное, помните, как это было...

— Что-то помню, — ответил Введенский для приличия, потому что он ничего не помнил, январь и февраль для него прошли в ожидании решения его вопроса и перемещения полка из одного места в другое.

— Ну, тогда вы должны помнить, что... — чиновник глянул в глаза Введенскому и почему-то осекся. — Короче говоря... к чему я это все...

— Организаторы! — напомнил ему корнет.

— Ах, да! Организаторы! Так вот, мы, по тому состоянию, в котором уже была 10-я армия, написали, а Будберг подписал приказ о передаче наших раненых и тифознобольных германцу, это соответствует Женевской конвенции. Тогда этот тяжелый груз был бы с нас снят, и войска могли бы отступить, выровнять линию и правильно организовать дальнейшие действия, чтобы не попасть в мешок, и, глядишь, не было бы августовской катастрофы, но тут вмешался патриот Гучков, от всей души неуважаемый мною Александр Иванович...

Введенский удивленно повел бровью.

— Не удивляйтесь, коллега, не удивляйтесь! Гучков всем своим политическим весом навалился на нашего командующего армией генерала Сиверса, а он, то есть Гучков — и член Государственной думы и Главноуполномоченный Красного Креста и... и заверил нашего командующего, что недопустимо для русской армии бросать своих раненых и оставлять их неприятелю и, что, мол, если Сиверс задержит отступление войск на линию выравнивания, он, Гучков, берется за два дня эвакуировать всех раненых и тифозных в тыл... Представьте, какую политическую рекламу сделал бы себе этот деятель, Гучков, если бы ему это удалось?

Введенский молчал и слушал, ему просто было нечего сказать.

— И что вы думаете?..

Введенский пожал плечами.

— Он ничего не сделал и не мог, не мог же он своими руками расчистить железнодорожные пути, которые завалило снегом выше колен... триста раненых он эвакуировал, несколько тысяч достались германцу, а 20-й корпус генерала Булгакова попал в мешок... Дальше вы знаете. А господину Пуришкевичу, чтобы заставить на узловой станции навести порядок между санитарными поездами, пришлось начальнику этой станции бить морду, только после этого что-то пришло в движение... А сколько раненых замерзло в полевых лазаретах, а сколько случаев газовой гангрены... Только вот и надежда на таких сестер милосердия, которые хотя бы на поле боя не оставляют раненых умирать и замерзать, на себе вытаскивают, своим горбом, честь им и хвала... хрупкие тела!.. — чиновник достал откуда-то из-под стола флягу, налил в чайный стакан под самый край и выпил до дна мелкими глотками, от чего Введенского чуть не стошнило — из стакана остро пахло самогоном. Чиновник стал закусывать шумно и большими кусками, вытирая губы тыльной стороной ладони. Если бы он перед тем не заткнул за воротник огромную салфетку, его мундир был бы не оттираемо запятнан.

После третьего стакана водки, Введенский это увидел, чиновник захмелел. Введенский нашел предлог и вышел в расцветающий молодой зеленью город. До отхода поезда в Седлец оставалось пятнадцать минут. Введенский думал ни о чем, ни одна мысль в его голове не останавливалась надолго, только в воображении, как из колоды карт, появлялись две дамы: одна брюнетка, другая — дама червей.

Через четыре часа поезд остановился у перрона Седлецкого вокзала. Введенский глянул на своего незадачливого попутчика, тот напился за завтраком и храпел так, что пришлось выйти из купе и простоять весь путь в коридоре у открытого окна. Но это было и хорошо, потому что Введенский понял, что кроме как о медицине, а точнее, о ее организационных провалах на Северо-Западном фронте, сосед ни о чем другом говорить не способен. Введенского это не интересовало вовсе, но пришлось бы из вежливости поддерживать беседу.

А у окна под ветерком так хорошо думалось.

И вспоминалось.

Год в полку со всеми военными тяготами и потрясениями, он ни разу не вспомнил о своей прежней жизни. Полгода, с того момента, когда он честно все описал маменьке, а она, в свою очередь, отписала своему старшему брату, дядьке Введенского, чиновнику министерства внутренних дел в Петербург (черт побери, в Петроград), он ни о чем другом, кроме как о решении своего вопроса не думал.

Теперь можно было.

И, стоя у окна, корнет Введенский вспомнил себя Петенькой Введенским летом в имении своего деда, отца маменьки, четырнадцатилетним гимназистом, влюбившимся на прудах, разделявших два имения, в дочку дедовой соседки Наташу Мамонтову. Наташа была старше. Уже кончившая гимназию. Почти взрослая. А может быть, уже совсем взрослая, по крайней мере, она Петеньку не замечала. Дед редко ездил к соседке, а когда ездил, Петеньку с собой не брал, а Петенька обнаружил, что Наташа ходит на пруды и с их стороны купается с мостков, иногда заплывает на середину, а потом сушит волосы на солнце, даже не думая, о том, что у кого-то в округе может быть бинокль. Бинокль был у деда, и Петя знал, как им пользоваться. Пруды находились в полутора верстах от одного имения и от другого, в густом лесу, Наташа знала, что крестьяне сюда не заходят, только крестьянские детишки за грибами и ягодами, а из леса они ее видеть не могли, и она не стеснялась. Очень стеснялся Петя Введенский, когда дед взял его к соседке и Петя встретился с Наташей за чаем. Петя краснел, ерзал и не знал куда деваться, а потом догадался, что о своем не очень приличном поведении известно только ему одному. Но все равно было неловко. Однако оказалось, что догадка его подвела, когда, прощаясь, Наташа вдруг спросила, а бинокль у него хороший, новый, цейсовский? Но Петя даже не успел смутиться и застыдиться, потому что Наташа сделала гримасу, шелкнула его по носу, повернулась и ушла в дом, а коляска уже была подана, и дед прощался с Наташиной матушкой, они ничего не заметили. Это было в самом конце прогретого солнцем застывшего в жаре августа, и через несколько дней Наташа уехала в Киев.

Петя Введенский, то есть корнет Петр Петрович Введенский стоял у окна и перебирал на пальцах, сколько же у него было женщин: Наташа Мамонтова, Малка и... Таня, Танечка, кажется Татьяна Ивановна... Сиротина, сестра милосердия, героиня... Как сказал попутчик, о ней писали и в «Русском инвалиде», и в «Разведчике», и даже в «Московских ведомостях», потому она была из Москвы. Введенский загнул три пальца... И это в его-то восемнадцать лет! Он улыбался. Он видел далекие мостки, приближенные старым биноклем времен последней турецкой войны. Бинокль подрагивал, в глазах было мутно от волнения, но Петя видел белое тело Наташи, она стояла, она поворачивалась, она подставляла солнцу то спину, то грудь, она поднимала длинные волосы, пепельные на фоне глубоких темных зарослей ельника и светлой яркой зелени прибрежной бузины. Она их сушила. Она была... ясно, что тургеневская...

Вдруг он увидел на мостках не Наташу, а Малку... и в голове моментально сработался план.

Введенский сошел с поезда, прошел в штаб, обнаружил, что там никто его доклада не ждет, по крайней мере, не интересуется подробностями, время было три с половиной часа пополудни, и он пошел в «Бельведер». Барановский встретил его молчаливым полупоклоном, повторил вчерашний заказ, от денег отказался, положил на мельхиоровом подносе конверт и ушел. Введенский раскрыл — в конверте лежали ключ и записка с адресом квартиры, недалеко от его дома, где он снимал комнату у вдовы. Он сунул ключ в карман, а в конверт положил сто пятьдесят рублей и пошел по указанному адресу. Одноэтажный домик с крыльцом и навесом напоминал ему, как и весь Седлец, его Тамбов, значит, домик был с маленьким садиком на задах. Он открыл ключом дверь и оказался в темных сенях. Распахнул дверь в комнаты, в гостиной было сумеречно и прохладно, в две внутренние комнаты были открыты двери, и в одной из них стояла Малка. Она смотрела на него меньше секунды и ушла в кухню. Введенский вышел в коридор и из гремящего носика умывальника вымыл руки и лицо. Когда вошел в гостиную, стол был накрыт закусками, и стояла бутылка домашней водки. Помня, что Малка не говорит по-русски, он тоже не стал ничего говорить. Малка налила рюмку водки, Введенский выпил и закусил. Малка налила еще, встала и пошла в спальню, дверь не закрыла, и Введенский услышал шорох платья.

Утром Введенский гладил Малку по лбу и щекам, Малка куталась в одеяло и смущалась, а Введенский продолжал ее гладить. Он смотрел в ее открытые глаза и напевал; то гладил ее лицо, то щекал под одеялом, Малка смущалась и хихикала, а он напевал:

Вечерком красна девица
На прудок за стадом шла;
Черноброва, смуглолица,
Так гуськов своих гнала:
Тега, тега, тега,
Вы, гуськи мои домой!
Не ищи меня богатый:
Ты постыл моей душе.
Что мне? Что твои палаты?
С милым рай и в шалаше!
Тега, тега, тега,
Вы, гуськи мои домой!
Для одних для нас довольно!
Все любовь нам заменит.
А сердечны слезы больно
Через золото ронить.

Тега, тега, тега,
Вы, гуськи мои домой!

Малка перестала хихикать, сдвинула черные брови, сжала под одеялом кулачки на груди и слушала, и вдруг сорвалась, вскочила с кровати и, босая и голая, заплясала, закружилась, подняла руками волосы, будто сушить, и запела:

Тега, тега, тега,
Тега, тега, тега...

Введенский увидел при свете ее танцующую, гибкую, эластичную, — огромная сила выбросила его из-под одеяла, он дико заорал: — Тт-е-е-г-а-а-а!!! — и бросился к ней.

Они плясали и плясали, и выдохлись. Малка повисла у Введенского на шее, уткнулась носом ему в ключицу, потом посмотрела в глаза тем первым прямым взглядом и поцеловала в губы.

После завтрака холодной курицей и яичницей с жареным луком и красным перцем, выпив черного кофе, Введенский, поцелованный и оглаженный любящим влажным взглядом, был нежно выпровожен за дверь. Он ничего не заметил, только увидел, что его сапоги блестят, начищенные.

Корнет томился целый день в штабе, вечером заглянул в «Бельведер», чтобы высказать благодарность, но разговор начал Барановский, он спросил, где пан офицер предпочитает ужинать: «здесь или дома», сначала Введенский замаялся, а потом поделился, как со старым другом:

— Яблочко, пан Барановский, надкушенное и лет ему уже пятнадцать... — он хотел добавить, что, мол, это ничего страшного, что это его устраивает, что наряд он Малке обязательно приобретет на ее вкус, но увидел, что Барановский сошел с лица и поджал губы:

— Пся крэв! — прошипел он. — Ккуррва! Это им так не сойдет! — Он осклабился Введенскому извиняющейся улыбкой и вернул пятьдесят рублей.

На квартире Малка ждала с ужином.

Малка-Суламифь!

* * *

Разминулись всего на несколько часов. Уже после прибытия в Шавли Аркадий Иванович Вяземский узнал, что ротмистр фон Мекк благополучно вернулся в полк. Аркадий Иванович с благодарностью подумал про Евгения Ильича Дрока, который со свойственным ему спокойствием, высказался, что Вяземский может ехать в от-

пуск и ни о чем не беспокоиться, что барон не подведет и вернется вовремя.

Аркадий Иванович сидел неудобно на самом краешке полки, смотрел в окно и старался не слышать стонов раненых. Ранеными вагон санитарного поезда и весь поезд был заполнен. Воздух, несмотря на несколько открытых окон, стоял ядовитый от лекарств. Это было большой удачей, сесть в санитарный поезд, потому что отпуск, разрешенный Алексеевым, был всего две недели.

После вручения наград Дроку и фон Мекку Алексеев неожиданно поинтересовался домашними делами Вяземского, оказалось, что он знал, что супруга Вяземского на сносях. Этой осведомленностью Алексеев подтвердил слух о том, что своими войсками он руководит лично и, как шептались, «вручную».

Вернувшись из штаба фронта и посоветовавшись, решили, что сразу уезжать двум офицерам это было бы слишком, и Вяземский отпустил фон Мекка, чтобы самому отбыть в середине мая. Отпуска были разрешены двум офицерам полка. Дрок отказался без объяснения причин. Вяземский решил, что возьмет с собой денщика Павлинова.

Комендант железнодорожной станции Шавли долго перебирал листы назначений и, поджав губы, отрицательно поводил головой. Когда Аркадий Иванович уже ощутил душевную пустоту от того, что сегодня он из Шавли не уедет, в кабинет вошел военный чиновник медицинского ведомства и подал бумаги.

— Санитарный поезд Союза городов, номер...

Вяземский не расслышал номера, но увидел, что комендант что-то записал в большой толстой книге. Чиновник устало сел на стул, широко расставил ноги и повесил фуражку на колено. У него был вид очень уставшего человека.

— Слышал, у вас ждут отправки два генерала?..

— Да, — ответил комендант, — оба в Москву.

— Это хорошо, что генералы и в Москву.. — отреагировал чиновник.

Вяземский удивился, чиновник увидел это.

— Значит, пойдем без задержек! Да, господин комендант! — Он обратился к коменданту станции: — У нас в операционном вагоне сломалась динамо-машина, пока что нет света, надеюсь, в дороге починим, хотя это не факт, поэтому, если у вас есть уже прооперированные, ампутированные... там, и так далее, в первую очередь заберем их.

— Где стоите?

— У черта на куличках!..

— Понятно, шестой тупик. Сколько возьмете? Семьсот возьмете?
— Нет, только пятьсот, в Вильно отстегнули два вагона...
— К погрузке готовы? — комендант задавал вопросы и не поднимал головы, а чиновник этого и не ждал. У Вяземского сложилось впечатление, что они, комендант и чиновник, расстались только вчера, но он понимал, что это такой поток. Кончив оформлять бумаги, комендант попросил взять в поезд отпускника с денщиком. Чиновник согласился, только добавил:

— Но уж вы, господин подполковник, не обессудьте, место найдем, но без особых удобств. До Москвы?

Вяземский кивнул.

— Тогда прошу следовать за мной!

На железнодорожной станции Шавли встречались и распадались потоки пополнений, раненых и грузов для нужд войны. Первые разгружались, вторые грузились, третьи, бывало, что и задерживались. Паровозы стояли под парами, составы по-живому подрагивали.

Перейдя уже через многие пути, обходя толпы раненых и колонны маршевых рот, чиновник остановился, вытащил из шаровар фляжку и протянул ее Вяземскому:

— Коньяк, шустовский!

Вяземский не успел сообразить и отказался.

— Ваше право, — сказал чиновник, оглянулся по сторонам и глотнул. — Усталость, знаете ли! — И он представился: — Комендант санитарного поезда, а заодно главный врач Шаранский Вениамин Иосифович!

Вяземский тоже представился. Денщик Павлинов, следовавший за ними, сглотнул слюну, ему не предложили, и они пошли дальше. Уже почти выйдя к шестому тупику, где стоял санитарный поезд Союза городов, Шаранский оглянулся на Павлинова и сказал:

— Ты уж, голубчик, подсоби, ежели фельдшерам чего понадобится, договорились? Уж не отлынивай! В отпуске отдохнешь, доберешь свое!

У врача был такой, несмотря на форменную одежду, гражданский вид, что Клешня позволил себе просто «агакнуть».

Когда поезд тронулся, раненые перестали стонать, но когда состав разогнался и пошел ровно, отовсюду снова стали слышны стоны. Мимо Вяземского прошли сестры милосердия, одна пожилая, другая помоложе, обе похожие на монашек, с блестящим металлическим ящичком в руках, они кололи раненых морфием, тех, кто особенно громко стонал. Вагон был целиком заполнен ампутированными. Главный врач Шаранский предложил Вяземскому разделить с ним купе, но Аркадий Ивановичи и тут отказался: доктор на ходу одну папиросу прикуривал от другой, и от него уже сильно пахло

спиртным. От других докторов тоже. Сначала Вяземскому это показалось странным, что врачи хирурги пьют, но когда он всмотрелся в их глаза, то увидел, что там зияет пустота, что они смертельно устали и что многие из-за усталости едва держатся на ногах. Тогда Аркадий Иванович подумал, что врачам простительно, потому что они каждый день отрезают смерть, отделяют ее от жизни, или пришивают жизнь, а от такого количества смертей не грех загородиться — она затягивает. Снимая у двери своего купе шинель, Шаранский оговорился, что один из хирургов обязательно не пьет, потому что дежурит на экстренный случай. Потом выяснилось, что хирургов на состав всего три.

Старшая сестра милосердия повела Аркадия Ивановича между полок, довела до одной и показала. На полке вдоль стенки под окном лежал на спине мужчина без ног, это было видно по одеялу, поэтому половина полки была свободная, он был без сознания или спал. Аркадий Иванович замаялся, ему не хотелось здесь садиться, такому большому и такому здоровому, но сестра сделала свое дело и повернулась уходить, однако оглянулась и сказала:

— Офицер! В этом вагоне только офицеры.

Наверное, она подумала, что Вяземского могло не устроить соседство не офицера. Офицерский статус лежавшего был очевиден: и гладкая выбритость, и чистая, даже нежная, хотя и с загаром кожа на лице. Он спокойно, ровно дышал и, казалось, даже не догадывался о своем тяжелом увечье. Вяземский глубоко вздохнул и подумал про себя, что это странно, что у него в душе еще шевелятся какие-то чувства, однако он постеснялся сесть удобно и только присел на краешек полки.

До Двинска поезд шел без остановок, и Аркадий Иванович дремал. Он все же сел удобно и пожалел, что отказался от предложенного доктором Шаранским коньяка: мимо него продолжали ходить сестры, они перевязывали то одного ампутированного, то другого, носили окровавленные бинты и большую банку с темной жидкостью и другую с какой-то вязкой мазью, из обеих банок остро пахло лекарствами. Сначала у Аркадия Ивановича была мысль, что когда поезд тронется, он съест пару бутербродов из припасенного на дорогу, но запах лекарств напрочь отбил аппетит, и вот тут-то коньяк был бы кстати, однако с собой у него ничего не было, не просить же Шаранского. Аркадий Иванович с сожалением вздохнул еще раз, когда вспомнил, что, а ведь Дрок-то ему предлагал, целую солдатскую фляжку коньяку, и где он только его доставал, откуда? Но это оставалось секретом ротмистра, и никто не пытался его разгадать, потому что Дрок всегда угощал, и офицеры привыкли, что если рядом есть Евгений Ильич, то о коньяке можно не заботиться. Когда уже в полудреме Аркадий

Иванович вспомнил полк, он вздохнул так, как будто бы расстался с семьей.

Железнодорожная станция Двинск разбудила его гомоном, свистками и стуками за окном. Через полчаса поезд тронулся, и Аркадий Иванович снова задремал, но очень скоро очнулся, потому что рядом, уже в полной темноте, разговаривали два человека.

— А я, Володечка, всем видам отдыха предпочитаю рыбалку!

— Живете на большой реке?

— Ну, большой ее можно назвать с натяжкой, но очень быстрая и страсть какая рыбная!

— Горная какая-нибудь?

— Ничуть не бывало, Володечка, самая, что ни на есть равнинная, называется Клязьма! Это под Москвой, пятьдесят верст в сторону Нижнего по Владимирскому тракту. У моего деда в Богородском уезде было поместье, две деревни — Буньково и Богослово. Перед смертью он в Богослове построил хорошую церковь, большую, с колокольней. Высокая, кругом далеко видать, сажень более двадцати в высоту, если из-под самого колокола, а Клязьма в этом месте пересекает тракт и там омута, на том берегу лес, а за спиной поля! А на утренней зорьке солнце встает из-за спины и такая тишь кругом, только твоя тень падает на воду и рыбу отпугивает. Так я в омуте утром приманку кладу, семечковый жмых, заверну в марлицу и на веревочке на колу пускаю в воду, прямо под берегом, чтобы течением не унесло. К вечеру вода прогревается, за день-то, и тут такой жор приходит, вода так и бурлит! Вот это отдых!

— А я городской...

— Так я тоже, можно сказать, городской, правда, Богородск городом пока не назовешь, так, большое село, но древнее, и собор стоит огромный, тоже на берегу Клязьмы, а по берегу еще один... Гимназия имеется, училище, разные производства... Вы, говорите, вы городской, а откуда? Извините, что перебил вас.

— Ничего... Я из Москвы, Борисоглебский переулок, недалеко от Арбата...

— Так, а в Москва-реке, что, не рыбачат?

— Рыбачат, только я не рыбак!

— Что же так? Есть где рыбачить, а не рыбак?!

— Я, знаете ли, по другой части...

— По какой, ежели не секрет?

— Я хочу сделаться писателем! — сказал тот из собеседников, который хотел сделаться писателем, и которого звали Володечка. Наступила пауза. Вяземский услышал, как кто-то из собеседников стал двигаться, видимо, менять позу. Пауза длилась долго, Вяземскому подумалось, что второму собеседнику — рыбаку — оказалось нечего сказать, но он ошибся.

— Писателем! — сказал рыбак. — Это, Володечка, пошибче моей рыбалки будет, это, извините за оборот речи — охота! А она, знаете ли, пуше рыбалки! А уже имеете опыт?

Володечка не ответил. Вяземскому стало интересно слушать, он не подслушивал, не он же выбрал это место рядом с ампутированным соседом без ног.

— Что же вы молчите, Володечка? — спросил рыбак, тот, что был родом из Богородска. — Вам плохо? Позвать сестру?

— Нет-нет, что вы, я просто задумался, у вас так хорошо получается рассказывать про рыбалку, я просто увидел, как вы сидите на берегу, а что же крестьяне? Местные, они тоже с вами рыбачат?

— Нет, что вы, я для них барин, и рыбалку имею барскую с удочкой. У крестьян удочками рыбачат только дети и чудачи, вроде меня, как они меня считают.

— А они?

— А они перегораживают речку сетью, а потом вытаскивают ее, вот и вся рыбалка! Да только не всякий раз, когда хочется, я могу этим своим делом заниматься...

— Почему же?

— Зимой надо одеться тепло, а это тяжело, в дохе, да в валенках дойти до того места, да пешню надо иметь хорошую, если морозы, а это, знаете ли, денег стоит, да тетрадки надо проверять каждый день! Тут не до этого! Поэтому — только летом!

— Вы имеете какое-нибудь дело?

Рыбак из Богородска вздохнул:

— А как не иметь? Именьишко уже заложено-перезаложено, от крестьянской аренды только маменьке и хватает, наше дворянское счастье закатилось! Поэтому, кончил богородскую гимназию с отличным аттестатом с правом преподавания, тем и живу.

— А что преподаете?

— Математику и черчение.

— Да-а! — протянул Володечка, и оба снова замолчали.

Молчали некоторое время, и снова заговорил рыбак:

— Поэтому в артиллерию и попал...

Аркадий Иванович услышал, как вздохнул собеседник Володечки — рыбак, преподаватель математики и черчения из богородских разорившихся дворян.

— ...Из второго возраста призвали, я и не думал...

— Вам?..

— Тридцать три от роду.

— Я тоже в артиллерию, вольноопределяющимся, — так же вздохнул Володечка.

— И где вас?

— В крепости Осовец, слышали?

Вяземский не услышал ответа рыбака, но понял, что беседующие друг друга видят, они привыкли к темноте, значит, рыбак вместо ответа просто кивнул.

— Десятого февраля... Привалило кирпичной стенкой...

— И?

— Левую ногу ниже колена раздробило на мелкие кусочки, сначала положили в лубок, думали, срастется, но началась гангрена...

— Мне тоже отрезали левую, тоже ниже колена... — начал рыбак. Вяземскому захотелось вмешаться в разговор и попросить говорить не о войне, а продолжать о мирной жизни, о рыбалке или о чем-то еще: у беседовавших это так хорошо получалось. У Аркадия Ивановича детство прошло в кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, а лето с матушкой они проводили на даче недалеко от Красного Села, где конногвардейский полк отца становился лагерем, и Аркадий Иванович другой жизни и детства, кроме военного, не знал. Отец не признавал гувернеров и рядом с маленьким Аркадием каждое лето бывал дядька, какой-нибудь старый вахмистр.

— Ну да бог с ней, с войной, она для нас уже кончена! — сказал рыбак, и Аркадий Иванович с облегчением вздохнул. — И что же вы намерены писать, наверняка стихи, а может быть, прозу?

— Письма! — ответ Володечки был неожиданным.

— Письма! — удивился рыбак-артиллерист. — Кому же? Разве что маменьке, или даме сердца?

— Александру Сергеевичу Пушкину!

— Кому? — переспросил рыбак, видимо, он не поверил своим ушам.

— Александру Сергеевичу Пушкину, в Михайловское!

— И... извините за оборот речи, он отвечает?

— Шутите, — мягким голосом явно с улыбкой ответил Володечка. — Мне же ногу привалило, а не голову.

— Ха-ха! Смешно! — тихо засмеялся рыбак. — И что, извините за любопытство, вы пишете Александру Сергеевичу?

Володечка не ответил.

— Что же вы пишете великому литератору? — снова спросил рыбак.

— Я вас обманул.

Вяземский по голосу услышал, что Володечка смущается.

— Это как же?

— Не я пишу Александру Сергеевичу, а я пишу как бы от его имени... из Михайловского...

— Кому же?

— Вот одно письмо я написал от его имени его другу в Москве Нащокину, я живу в Борисоглебском переулке, напротив его дома...

— Это, значит, вы проникли в душу великого поэта!? И как? Получилось?

— Сказали, что да, получилось.

— Вы давали кому-то прочитать?

— Да, одной сестре милосердия, в крепости, она сказала, что ей понравилось, даже очень, она сказала, что я могу писать, что ей было интересно, будто это Александр Сергеевич написал ей.

— Надо же! Любопытно, я впервые сталкиваюсь с писателем, прямо вот... А как бы прочитать ваше сочинение? Оно у вас с собой? Хотя... даже если оно у вас с собой, так все равно темно...

— Я, если вы обещаете не смеяться, могу его вам прочитать по памяти.

— Извольте, Володечка, извольте, очень даже... обещаю, как вы можете сомневаться?

Вяземский напрягся, иные кадеты в корпусе тоже писали и читали, но это всегда выходило как-то очень уж по-домашнему, самостоятельно, и всегда хотелось попросить их не писать и тем более, не читать. Однако тут Вяземский ничего не мог поделаться, он не мог уйти, он не мог ни о чем попросить и уже не мог уснуть. Он зажмурился.

Володечка недолго помолчал и начал тихим голосом:

— «Свеча... желтоватый лист бумаги... Шум ветра, мирное посапывание домашних за тонкими перегородками и полное отсутствие мира, там, за окнами. Мира города, толпы, пролеток и извозчиков, скрипа снега. Только лошадь похрапывает в деннике. Ее слышно. Она сегодня набегалась подо мною верхом до монастыря и обратно, все по полям. Гонялся за зайцами, даже видел лисицу, но не стал ее загонять. Хорошо огневка смотрелась на посинелом, уже начавшем подтаивать на высоких местах снегу.

Конец февраля. Завтра весна. Читал свои деревенские наброски, и снова увидел те самые молодые деревца, к которым обращался. Если помнишь: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!»

Пишу тебе! Здравствуй, брат Нащокин!

Про две сосенки я наврал, это две березки. Вокруг них еще лежит снег, но уже кругом чернеет земля, давешнее солнце немного оголило корни.

Они растут, и хотя совсем маленькие, но уже березки. Пройдет март, апрель, и в первые дни мая на них появятся свежие, клейкие, прозрачные листики. Первая зелень — настоящий цвет.

Вчера был у полицмейстера, спрашивал разрешения съездить во Псков.

Посидели.

Милейший человек. Восемь душ семья. Шесть девиц на выданье. Двадцать душ — имение, хочется помочь, да нечем. Угостили ряби-

новкой, поговорили о литературе. Сильно ругался, мол, девицам и почитать нечего, сплошной разврат. Да еще кобыла его захромала, скоро Пасха, а в Святогорье и выехать не на чем. Получил от него нужную бумаженцию, и вскорости распрощался. Надобно привезти его семейству гостинцев из города, а то ведь и вовсе затоскуют.

Смерть как хочу в Москву. Надоело мне мое Михайловское. Покуда куда-нибудь доберешься, уже и ночь, и на постоянных дворах места не достать, все какие-то клоповники, и лошадей приличных нет.

А летось был на Собачьей площадке, да в Елхове. Прелестные места, и пахнет детством и друзьями. Маменька с батюшкой прошлый год перебрались на Молчановку к Симеону Столпнику. Но в приход ходят к Николе Явленному, что на Арбате. Приходский батюшка, тамошний, премило голосистый, маменьку растрогал до слез. В письме она написала, как его зовут, да я запомнил. А еще хочу в Лужники, к Новодевичьему. С солнцепека, да под осокори. Пишется там хорошо.

Преображенское люблю. Язу с ее глинистыми берегами и березовыми спусками к воде. Коровий брод, Елохово, Ольховка, Царская дорога, езжай хоть до Кремля. Но скука и здесь. Все дачи. Зимой до Лефортова едешь, можно никого не встретить. Только у Богоявленского толпа, да у Преображенской богадельни. И народ какой-то серый по нынешним временам — зимний, февральский.

То ли дело Кузнецкий мост. Умеют же французы. Помнишь, когда в Москве я был в последний раз, на Кузнецком открыли новую кондитерскую, с этим новым цветом, махагон, и запахом. Говорят, в Европе везде так пахнет. А у нас — все капуста! Да все квашеная!

А как вымостили. Вспомни-ка двор в Петропавловской крепости, гулял там, не скажу с кем, ее каблучками и ступить невозможно. Только в лаптях, да и то с подковыркою.

На Кузнецком же — барышни. Нешто какие-то новые курсы открыли? Не слыхал ли? На подобие смольнинских. Эх! И разведут там конституцию, недаром наш полицмейстер на порядки жалуется. Я представить себе не могу, как бы на Москву, да на Кузнецкий с французиками да московскими модницами посмотрели бы его дочери, полицмейстера. Наверное, поумирали бы. Хотя первым, верно, умер бы их батюшка. Ну, да Бог с ними!

Мне няня, ты помнишь ее, третьего дня квасу наварила. И так запахло летом. И как только умудрилась? Говорит, секрет знает! Сколько же она всего знает? Одних только сказок!.. И мне от этого много и хорошо думается.

В Москву! В Москву!

А потом что? Опять сюда? Тогда в Париж! Но, конечно, это блажь, какой там Париж, кто же пустит?

Уже светает. И начинается день. Не знаю, когда ты получишь это письмо, утром ли, днем ли, а может, вечером, почтовые сейчас бегают бойко, больших задержек нет, а курьерские носятся прямо под моими окнами. Надюсь, так по наледям прогрохотали, что чуть моя любимая ваза китайская с этажерки не упала. Было бы весьма жаль.

Не грусти, приеду, свидимся.

Всегда твой,

Александр!»

Володечка замолчал, и вдруг наступившую тишину пробил стук колес, другие звуки, и Аркадий Иванович будто проснулся. Володечка молчал, молчал и рыбак-артиллерист, разорившийся дворянин и преподаватель математики и черчения из какого-то подмосковного Богородска. Аркадию Ивановичу страстно захотелось встать, подойти и посмотреть на этого Володечку. Он представлялся ему молодым, высоким, с вьющимися волосами и нежной, ни разу не бритой кожей на щеках. Всю картинку испортил рыбак, тот заговорил:

— Володечка, а вы, однако, художник, я бы даже сказал — художник души! Теперь я вполне понимаю эту вашу сестру милосердия, как бишь, ее?..

— Татьяна Ивановна.

— Татьяну Ивановну! Очень даже! Вы в своем письме писали от имени Александра Сергеевича его другу Нащокину, а у меня тоже возникло такое впечатление, что Александр Сергеевич пишет прямо мне! Да вам печататься надобно, голубчик вы мой! А нельзя ли списать, как-нибудь? Я бы даже это своему коллеге учителю словесности порекомендовал, допустим, сочинение на тему... Ну, пусть бы он, извиняюсь за оборот речи... тему даже бы сам придумал!

— Я очень польщен, спасибо вам за такую оценку... — Вяземский по голосу Володечки слышал, что Володечка действительно польщен оценкой своего соседа. — Только вот дать списать не могу, могу только продиктовать, когда-нибудь на остановке. Само письмо я подарил Татьяне Ивановне, я ей хотел подарить на память о нашей встрече...

— Красавица? — перебил его сосед.

Володечка помолчал и ответил:

— Ага! — Он еще помолчал. — Но как-то не по внешности, но, вы знаете, только вы не смейтесь, сияет она вся! Я сначала, когда очнулся, даже не понимал, что она не ангел, думал, что видение...

— А она?

— Она... у нее... таких, как я, был целый лазарет... она сияла для всех! И, не подумайте дурного, тут нет ничего плотского... уже когда сняли лубок, а потом была операция, и я снова был в беспамятстве, я потерял ее... Даже не знаю, как сказать... однако третьего дня она

снова появилась из Гродно, она служит на санитарном поезде... я подарил ей это письмо... она прочитала его и приняла от меня, как подарок, и я хотел ей еще подарить томик Чехова, но она сказала, что один раненый уже подарил ей Чехова перед операцией, а на операции он умер, и она письмо возьмет, а Чехова нет, и сама подарила мне Библию с иллюстрациями Доре. Я, как только могу, так листаю... — Володечка замолчал на полуслове. Вяземский сидел и слушал в умилении, он напрасно опасался, что услышит что-то доморощенное, как его кадеты в корпусе, а Володечка молчал, и вдруг Аркадий Иванович услышал от того места, где находился Володечка слабый стон.

— Володечка, — позвал рыбак, — Володечка, что вы замолчали, вам плохо?

Вяземский все понял, поднялся и пошел к сестрам. Те мигом освободились ото сна, встали, одна пошла к Володечке, другая в другую сторону, и через несколько минут по вагону уже шли санитары с носилками. Сестра посмотрела на Вяземского, с сожалением развела руками и ушла. Артиллерист-рыбак молчал. Вяземский сидел на полке рядом со своим ампутированным соседом, мысли путались, он в деталях вспомнил сестру милосердия Татьяну Ивановну из осовецкого лазарета, и понял всю правоту Володечки, что та действительно была ангел.

Аркадий Иванович проснулся. Поезд стоял. Мимо него с носилками двигались санитары, между ними медленно шли к выходу ходячие ампутированные, это были офицеры, чаще молодые: прапорщики, подпоручики, поручики, но вот пронесли подполковника. Аркадий Иванович хотел встать, но было неудобно, он поджал ноги и остался сидеть, пока все не пройдут. Он вспомнил Володечку и весь ночной разговор соседей, стал осматриваться, однако полки, где они могли быть, были пусты. На его полке еще лежал раненый без ног, укрытый с головой простыней. Умерших выносили последними.

Клешня ждал на перроне. По его виду Аркадий Иванович понял, что тому спать, наверное, не пришлось — и без того мешки под глазами налились на щеки и подрагивали. В Москве у Вяземского было два дела: купить английскую охотничью винтовку с оптической трубкой-прицелом и пересечь на Симбирск.

Клешня странно мялся.

Вяземский стал осматриваться — он Москву почти не знал. Он несколько раз был здесь по делам дворцовой службы, но это были Петровский замок или Кремль и ближайшие гостиницы в Китай-городе или на Тверской.

— Где мы? — спросил он Павлинова.

— Виндавский вокзал, ваше высокоблагородие, Крестовская застава...

— Я вот что хотел спросить, Александр, мне нужен английский оружейный магазин и добраться до вокзала на Симбирск.

— Это просто, ваше высокоблагородие! — Тут Вяземский увидел, что Павлинов переменился, он распрямился, он был москвич и чувствовал себя дома, хозяином положения, и довольно радушным. — Оружейный магазин я знаю на Мясницкой, а в Симбирск поезда уходят с Казанского вокзала.

— Это далеко?

— Москва маленькая, ваше высокоблагородие, кругом можно быстро добраться...

Положение складывалось не очень понятное — конечно, хозяином был подполковник Вяземский, но здесь, в Москве, он попал в подчиненное положение от собственного денщика Сашки Павлинова, по полковому прозвищу Клешня.

— Тогда вот, что, — сказал Аркадий Иванович, — вам мои цели известны, позовите грузчиков, достаньте извозчика и сопроводите меня в магазин и на вокзал.

— А?.. — начал было Павлинов, но Вяземский его перебил:

— Не беспокойтесь, я учту ваши интересы.

Пол-Москвы они проехали неспешно, но довольно-таки быстро, сказался характер этого старого города, в котором ни из одного угла не пахло столицей. По дороге Павлинов рассказывал, что это, мол, Мещанская, а это Сухарева башня, это Сретенка, а вот Большая Лубянка, а за Лубянкой Лубянская площадь, а сейчас повернем налево и будет Мясницкая, а на ней магазины, какие душе угодно. Возница с любопытством оглядывался на Павлинова, цокал языком и щелкал кнутом. Вяземского поразило одно слово, которое Павлинов сказал вознице, когда сели в коляску: «Ехай!»

Оружейный магазин на Мясницкой был в низком двухэтажном доме и занимал первый этаж, со стеклянными витринами, в которых стояли самые разнообразные ружья и охотничья амуниция. Вяземский не был охотником, и у него возрадовалась душа от увиденного, и не было сомнения, что он купит здесь то, что нужно. Однако получилось не так, приказчик выслушал подполковника и сказал, что сейчас таких винтовок нет, но можно заказать из Англии, и через неделю, максимально через десять дней, заказ будет исполнен.

— А что так? — спросил его Аркадий Иванович.

— Спрос велик, офицеры покупают, те, что, как вы, с фронта. Стало модно!

Слово «модно» Вяземского покорило, но он сделал заказ.

Выйдя из оружейного магазина, Аркадий Иванович увидел, что Павлинов снова мнется и хочет что-то сказать. Аркадий Иванович внимательно посмотрел на него.

— Ваше высокоблагородие, господин подполковник, мой дом тут совсем недалеко и трактир Тестова, где я служил, тоже близехонько, отобедать не желаете...

Для Вяземского такое поведение денщика, хоть и москвича и хозяина положения, было слишком, он промолчал, и Сашка насупился.

На Казанском вокзале Вяземский его спросил:

— Вам повидаться с семьей хватит... три дня? Четыре?

— Сколько позволите, ваше высокоблагородие, и я и маменька с отчимом будем вам премного благодарны.

— Тогда так — бумаги у вас в порядке! До Симбирска сами доберетесь?— и, не дав ответить, добавил: — На всякий случай, вот деньги, и я вам напишу записку к московскому губернатору князю Юсупову.

* * *

Практически подтвердилось, что по тылу воюющей России увереннее всего передвигаться на поездах, осуществляющих военные перевозки, мол, Верховное командование приказывает-приказывает, а железные дороги все сами решают! Не очень комфортно, но зато можно попасть к месту назначения вовремя.

Аркадий Иванович занимал небольшую каморку в почтовом вагоне военного эшелона, перевозившего две сотни оренбургских казаков. Две недели назад он очень быстро, почти мигом, добрался в санитарном поезде из Шавли до Москвы, а потом почти трое суток плелся в пассажирском из Москвы в Симбирск и хвалил себя за то, что послушался предчувствия и не стал давать жене упреждающей телеграммы.

Вчера перед самым отъездом он посетил симбирского городского голову, был отлично принят, особенное впечатление на голову и его помощников произвел «неснимаемый Владимир», а мечи говорили о том, что кавалер ордена Святого Владимира IV степени Аркадий Иванович Вяземский получил его за военную доблесть. Голова и подсказал график воинских перевозок. С комендантом железнодорожной станции договориться не представило труда. Только одно было плохо — воинские эшелоны отправлялись не от пассажирского перрона, а из тупиков, с боковых веток, со станций, и сортировочной, и товарной, и семья переживала, что не сможет Аркадия Петровича проводить, как следует. Особенно переживал Жоржик.

Аркадий Иванович вышел из каморки, и проводник, старый, как он себя называл — «матерый», железнодорожник, стал в ней противить полку, стены, а главное, окно.

Аркадий Иванович остановился у открытой двери, смотрел на плывущую перед ним степь, обсаженную вокруг города яблоневыми садами, и, не видя себя, улыбался. Ксения родила девочку. Назвали Полина. Крикуша. Только на третьи сутки, после прибытия Аркадия Ивановича, тетушка сообразила, что у кормилицы мало молока, и тогда Ксения взялась кормить сама, и крики прекратились. Не совсем, конечно, но в основном. Полина родилась 8 мая, в ночь на 9-е, поэтому, когда Аркадий Иванович добрался домой, девочке уже было восемь дней, совсем большая.

О своем отбытии этим поездом Вяземский телеграфировал коменданту московского Казанского вокзала и денщику Александру Павлинову, проживавшему на Поварской улице.

Когда Аркадий Иванович приехал в Симбирск, он понял, что Павлинов ему тут не нужен. И был рад, что хлопоты, неизбежно возникшие в связи с его приездом, затмились хлопотами в связи с появлением новорожденной. Он даже почти не сделал визитов, только к губернатору, вице-губернатору, встретился с военным комендантом и городским головой. Его попытки встретиться с полковником Розеном не увенчались успехом, потому что Розен, как было сказано денщиком в его доме, «отбыли в Казань по медицинским надобностям». Зато половина Симбирска перебивалась в доме тетушки по поводу крестин Полинушки. Полинушка была этому, как ворчала кухарка Софья, «жуть, как рада» и орала благим матом. Но «это ничего, — добавляла Софья, — голосистой будет!», и обе блаженно улыбались.

Поезд отправился вечером и мчался навстречу солнцу, почтовый вагон был прицеплен сразу за паровозом, и поэтому иногда мимо двери пролетала густая черная сажа, и кисло пахло железом. Вагон был в два, а то и в три этажа заставлен брезентовыми мешками, опечатанными деревянными бирками и коричневым сургучом. Остался только проход от входной двери до двух каморок, одной, которую проводник предоставил Вяземскому и еще одной, самого проводника.

— Ваше купе готово, ваше высокоблагородие. — Проводник настежь раскрыл дверь, и стал вытряхивать тряпку на встречный ветер, и пыль снова полетала в вагон. — Секундное дело, ваше высокоблагородие, шас все мигом проветрится! А вы, если желаете, можете отдыхать...

— Благодарю! — ответил Аркадий Иванович. — Я еще немного постою.

Отпуск прошел быстро. Жоржика, в связи с приездом с войны отца, отпустили готовиться к переходным экзаменам домой, и он от отца не отходил, поэтому они готовились к экзаменам вместе. Ксения после родов чувствовала себя слабой и редко вставала с постели, те-

тушка суежилась по домашним делам и сетовала, что с началом войны все очень подорожало, Софьюшка варила и жарила, словно фабрика.

Вяземский смотрел на мелькающую степь и яблоневые сады, вспоминал родные лица и, не видя себя, улыбался.

— А в Москве, — отвлек его проводник, — мы там стояли третьего дня под погрузкой, творится, не приведи Господь.

— А что? — повернулся к нему Вяземский.

— А погромы... — проводник ходил по проходу и подталкивал мешки, чтобы не повалились.

— Кого? — Аркадий Петрович уже понял, что живущий сутками в одиночестве проводник будет говорить.

— Немцев! Так двадцать шестого-то все только началось, а когда кончится?.. Эт я вам сообщаю, што б вы знали, куда едете, не приведи Господи... и не поймешь, где война происходит... то ли там, куда вы едете, то ли там... — проводник вздохнул, — куда вы, опять-таки... едете. Я вам положил газетки свежие, московские, што б готовые были, ежели там еще не кончилось...

Паровоз пустил подряд три сгустка гари, те пролетели перед самым лицом, и Вяземский отошел от двери. Он протиснулся в купе, крохотное, с одной полкой и подоконным столиком, на котором действительно лежала стопка московских газет. Наверху была гучковская «Голос Москвы».

— И, — заглянул в купе проводник, — не побрезгуйте, ваше высокоблагородие, тут женка моя, мастерица яблочную наливку делать, прям-таки — кудесница, рюмочку-другую к обеду... Снеди-то, я полагаю, у вас вдоволь, а то...

— Спасибо, уважаемый, я... — Вяземский хотел отказаться, но вспомнил случай с шустовским коньяком доктора Шаранского и с благодарностью принял полштоф с красивой желтой наливкой. В этот раз у Аркадия Ивановича был основательный запас коньяку из тетушкиного подвала, он вез его ротмистру Дроку, но отказаться от того, что от души предложил проводник, было бы нехорошо.

Аркадий Иванович поставил тетушкин погребец, сработанный видимо еще в начале прошлого века. От деревянного ящичка, по углам обитого медью, манило путешествиями в кибитке, да в треуголке, в ботфортах и со шпагою... Он достал граненую рюмку на толстой ножке, устойчивую, телятину, рябчика, нарезанную розаном кулебяку и янтарную, холодного копчения белорыбицу. Все было очень вкусно... и под яблочную настойку..

* * *

Проводник разбудил задолго до Москвы, он ходил по тесному проходу вагона и бормотал, пересчитывая мешки. Вяземский услышал,

проснулся и больше не спал. На перегоне, где эшелон встал и затих, Вяземский вышел из купе, и проводник предложил кувшин с водой и чистое полотенце. Аркадий Иванович умылся, позавтракал и сел читать газеты. Проводник спроворил кипятку, и Аркадий Иванович напился чаю. Утро было прохладное, проводник держал настежь открытую дверь и в каморку через открытое окошко загуливал утренний свежий воздух.

Аркадий Иванович поеживался, и чтобы отвлечься, стал перелистывать газеты, сначала «Голос Москвы», и смотреть заголовки. Заголовки были броские: «Борьба с тайным влиянием немцев», «Мирные завоеватели», «Анонимное просачивание немцев», «Немецкий шпионаж в России», «Немецкое засилье в музыке». Эту статью он мельком пробежал и обнаружил, что, оказывается, девяносто процентов всех капельмейстеров в русской армии — немцы, а немцы искажают душу русского солдата своей личной трактовкой музыки, кроме того, немцы, что, несомненно, подозрительно, монополизировали в России-матушке производство всех музыкальных инструментов! В других газетах было так же по-залихватски, и что-то читать просто не имело смысла: «Засилье», «Московское купеческое общество в борьбе с немецким засильем», «Спрут, высасывающий соки всего мира», «Бойтесь провокации», «Неуязвимость австро-немецких предприятий», «Отвергайте помощь врагов России» и так далее, и так далее, и так далее. Все это казалось непонятным, ощущалось, как неприятное, будто со дна застоявшегося водоема поднималась муть. Аркадий Иванович с брезгливостью бросил всю стопку на дальний конец полки и стал смотреть в окно. Эшелон в это время тронулся. Вяземский вышел из каморки и встал у открытой двери.

«Капельмейстеры... а причем тут капельмейстеры? — Аркадий Иванович смотрел на медленно проплывающий утренний пейзаж. — А кто возглавил коронационную процессию в Кремле, когда на трон венчался Николай Александрович? Разве не граф Карл Маннергейм и не барон фон Кнорр? А почему? А потому что ростом вышли и статью, и офицеры были примерные... А с другой стороны, что сказал Николай I? Николай I сказал, что русский дворянин защищает Россию, а ост-зейский — государя!» Тут Аркадий Иванович вспомнил, что, когда вчера разговаривал с симбирским городским головой, тот, при упоминании Москвы, как-то стушевался, как будто испытывал какое-то неудобство, а потом высказался, что в Симбирске тоже было нечто похожее — в сентябре прошлого года после объявления войны нескольким местным немцам тоже досталось, но тогда это поветрие пришло из Петербурга. Вяземский сначала не обратил внимания на реплику головы и сейчас только припомнил, что когда его полк уже вошел в состав 1-й армии вторжения барона фон Ренненкампа, слухи о погроме немцев в Санкт-Петербурге дошли

до кавалергардов, но никто не поверил, а в пылу сражений вскорости и забыли.

«Ладно, — подумал он. — В конце концов, поорут, набьют кому-нибудь морду... тем все и кончится! А не это ли причина... с награждением Розена?»

По прибытии в тупики Казанского вокзала проводник сказался, что багаж Вяземского он посторожит и все сдаст на руки носильщикам. Аркадий Иванович пошел к коменданту и у дверей неожиданно обнаружил Павлинова. Тот, склонившись к подлокотнику, спал. Вяземский прошел внутрь, комендант созвонился с Виндавским вокзалом и выяснил, что через четыре часа в Двинск отправляется литерный поезд с маршевыми ротами. Это было отлично, оставалось выяснить судьбу заказа винтовки с оптическим прицелом, и можно отправляться дальше. Отпуск закончился. Стало немного грустно, но Аркадий Иванович, как рубят канат с ненужным тяжелым грузом, обрубил воспоминания. Он встал против Павлинова и кашлянул, Павлинов повел головой, открыл глаза, увидел подполковника и вскочил, но еще не проснулся.

— Вы что, тут всю ночь провели? — спросил Вяземский.

— Так точно, ваше высокоблагородие... — Павлинов говорил и его пошатывало.

«Проснется на ходу», — подумал про денщика Вяземский и повернулся.

— А что так? — спросил он на ходу.

— Так, ваше высокоблагородие, если бы я утром поехал, то не проехал бы!

Вяземский повернулся.

— Ваше высокоблагородие, так бунт в Москве... уже три дня. Только ночью успокаиваются, поэтому я с вечера сюда и приехал, иначе никак...

— Вы готовы к отправке? С родными попрощались?

— Так точно, ваше высокоблагородие, сидор, шильце-мыльце, все с собой... А по-другому никак было не успеть...

— Что, и в правду бунт?

— Бунт, ваше высокоблагородие, бессмысленный и беспощадный...

Вяземский отметил про себя грамотность денщика и ухмыльнулся.

Проводник сдержал обещание, когда Вяземский и Павлинов подошли, двое грузчиков взвалили по чемодану на ремнях через плечо и тронулись.

Площадь около Казанского вокзала удивила Вяземского, стояли четыре или пять колясок, ни одного ломовика и никого народу. Ко-

ляски были сезонников, старые и потертые, лошади косматые, явные деревенские клячи.

Грузчики закрепили багаж, Павлинов уселся рядом с кучером, сказал: «Ехай!» и махнул рукой налево, в сторону Красных ворот. Аркадий Иванович уже мысленно увидел, что вот сейчас кучер взмахнет кнутом, и подался вперед, но вдруг кучер обернулся и грубо произнес:

— В город не повезу! Слезай!

Клешня повернулся к подполковнику, и в глазах у него было ясно прописано: «Ну что? Что я говорил?»

Аркадий Иванович растерялся, а Клешня резко пересел вполоборота к кучеру:

— Вот ты и слезай! — сказал он и столкнул того с козел. Кучер повалился головой вниз, Клешня перехватил вожжи и ударил по спине сначала кучера, а потом лошадь, и засвистал. Напуганная лошадь, видимо, с жеребьячьего возраста не слышавшая такого залихватского посвиста, присела на задние ноги и неловко ими толкнулась, коляска подпрыгнула, Клешня выхватил длинный кнут и огрел им бедное животное. Другие извозчики, которые из-под бровей наблюдали эту сцену, задвигались на козлах и стали осаживать своих заволновавшихся лошадей, но с места не тронулись. Когда пришедший в себя пострадавший кучер заорал: «Убивают!» — Клешня вскочил, высоко взмахнул кнутом и прокричал ему:

— Убивают — это еще не убили, деревня! Заберешь свой хлам на Виндавском, если знаешь, где он! — он крест-накрест дважды полоснул бедную конягу, и заорал совершенно по-хулигански: — Гул-ляй Москва, твое время!

«Проснулся! — с улыбкой подумал Аркадий Иванович. — За такое можно и по шейм, да не ко времени!» Он был доволен — они ехали куда надо, только вот, хотя и было еще совсем рано, удивляло, что кроме них на улицах никого не было, даже полицейских. И тут Вяземский увидел сгоревшие, дымящиеся лавки и дома, и разбросанные по дороге сорванные вывески, и другой хлам, валявшийся прямо на брусчатке.

«Однако и вправду тут что-то было!» — подумал он. Клешня повернулся и прокричал:

— Бунт, ваше высокоблагородие! Щас мы им! — Он стал править коляску к Садовому кольцу, чтобы выехать на Мясницкую. Садовое кольцо было пустым, они его проскочили, и Вяземский снова увидел разоренные и кое-где еще дымящиеся дома и лавки. Клешня гнал в три кнута и не сбавлял ходу, объезжая то комод, то выломанную дверь, то разодранный диван, то большие кучи домашнего хлама, а иногда, и Вяземский это отчетливо понимал, на мостовой чернели пятна пролитой крови.

Ближе к Чистым прудам стал появляться народ. Клешня не сбавлял хода, люди, выходявшие из ворот или шедшие по проезжей части, шарахались, и мимо головы Вяземского пролетел камень. Чем ближе к Мясницкой, тем людей становилось больше, в узком въезде между почтамтом и академией художеств их стало еще больше, и тогда Клешня засвистал и заорал во все горло:

— Расступись, халява! Инер-рала везу!

«Вот, стервец!» — подумал Аркадий Иванович и стал смотреть на людей. Те, кого он успел разглядеть, на людей были мало похожи, у них были синие, грубые, битые лица, и на лицах глаза, как наклеенные.

Мясницкая стояла разгромленная.

Клешня расталкивал конем и криком проснувшихся после вчерашнего бунта, еще не пришедших в себя с похмелья, гостеприимных и сказочно хлебосольных москвичей, коляска пролетела треть улицы, пара камней ударила по чемоданам, и Вяземский увидел, что витрины оружейного магазина впереди на углу Кривоколенного переуллка забиты деревянными щитами, и крыша как-то необычно просела. Аркадий Иванович машинально ощупал кобуру. В это время Клешня так резко повернул налево в переулок, что коляска проехала поворот на двух правых колесах.

— Они, ваше высокоблагородие, в магазине сидят, хотят отстреливаться... У них дорогой товар, им иначе нельзя, я вас проведу! — Клешня прокричал это и остановился у ворот: — Открывай, сучья пасть, хозяина привез!

Он соскочил и стал колотить в ворота.

— Не бойсь, свои, денег вам привезли, открывай, сами рады будете!

Видимо, за воротами кто-то был, Вяземский услышал, как загремел замок, в воротах открылось окошко и в нем показалось лицо того самого приказчика. Глаза у него были испуганные.

— Не велено! Уходи! — закричал он Клешне. — У нас есть разрешение обороняться всеми дозволенными средствами, щас полицию позову!

— Кому врешь, полицию, — в ответ в самое окошко прокричал приказчику Клешня. — Зенки разуй, глянь, кто со мной...

Только тут приказчик увидел Вяземского, на мгновение у него застыл в глазах вопрос, но через секунду ворота уже дрогнули.

— Только вас одного, ваше сиятельство, только одного, ваш заказ уже два дня дожидается, поторопитесь!

Вяземский соскочил, глянул на Клешню, тому предстояло остаться снаружи в переулке, но Клешня стоял таким молодцом, что... Вяземский прошел в образовавшуюся щель.

Сделка было совершена, приказчик в секунду перешелестел купорами, подал с подобием улыбки длинную узкую, обтянутую желтой жатой кожей коробку с винтовкой и взвалил на плечо красивый, блестящий цинк с патронами. Вокруг суетились другие приказчики, общим числом три: один снимал засов, другой стоял с переломленной заряженной курковкой, третий сопровождал Вяземского. За воротами кто-то уже кричал, и послышался глухой удар. Приказчик жестом попросил Вяземского остановиться, но Аркадий Иванович его оттеснил и стал тянуть ворота, когда образовалась щель, он высунулся и увидел: против Клешни переминались несколько бунтовщиков.

— Давай, складай, чего купили! — заорал Клешня. — В коляску складай!

Приказчики по одному выскакивали, один сбросил на дно коляски цинк, другой выхватил у Вяземского коробку и положил рядом с цинком аккуратно. Оба тут же исчезли, и Аркадий Иванович услышал, как изнутри накинули засов. Клешня ударил ногой ближнего бунтовщика в пах, тот подпрыгнул и упал на мостовую лицом, на Клешню кинулся другой, и Клешня дал ему рукой, как цепом, по голове, и Аркадию Ивановичу показалось, что глаза и рот напавшего сошлись в одну линию. Вяземский выхватил револьвер и выстрелил вверх.

— Не трать патрон, вашбродь! — прокричал Клешня. — Москва бьет с носка! Твой запрос — моя подача! — Он ухватил ближнего, рванул его на себя и подсек, и тот завалился под коня.

Клешня выхватил из сапога длинный поварской нож, как артиллерийский палаш, нож блеснул, толпа ахнула, и возопил тонкий бабий голос:

— Бей германца, оне переодетья!

Но Клешня успел подтолкнуть Вяземского в коляску, просипел: «Держи покупку!» — сам взлетел на козлы, и конь рванул на толпу. Толпа раздалась. Аркадий Иванович устоял на ногах, потянул из ножен шашку, и толпа раздалась еще.

Воинский эшелон с Виндавского вокзала тронулся вовремя. Вяземский из благодарности пригласил Клешню занять место с ним в вагоне II класса для офицеров. Обед, поданный Клешной из домашних запасов, был восхитительный. И тут Вяземский вспомнил о том, что хотел спросить уже давно:

— Скажите, Александр, а что это за слово такое, которое вы употребляете с извозчиками?

— Какое? — удивился Клешня.

— Ёхай!

И тут Клешня улыбнулся широко и душевно:

— А в Москве, выше высокоблагородие, все так говорят!

Подполковник Вяземский и денщик Клешня возвращались на театр войны. И война не стояла — она гуляла на широчайшей сцене: от Риги на севере до границы с Румынией на юге; с запада на восток от Варшавы до Ковно и Львова.

Клешня отпросился у Вяземского из офицерского вагона ночевать в теплушки к пополнению. Своим умением он превзошел всех других денщиков и был этим очень доволен; на каждой даже маломальской остановке он умудрялся вернуться с чайником кипятку. Офицеры-соседи очень завидовали Вяземскому и по поводу Клешни, и, особенно, поглядывая на «Владимира с крестами». В армию многие были только что призваны и об обстановке на фронте осведомлены по патриотическим газетам и разливающимся по Империи слухам, поэтому объяснения был вынужден давать Вяземский, но и Аркадий Иванович мало что знал о том, что произошло за последние две недели.

Ее — войну — Аркадий Иванович начал в своем родном Кавалергардском полку в составе 1-й бригады 1-й Гвардейской кавалерийской дивизии под командованием генерала Казнакова. Прошение о переводе из гвардии в армию Аркадий Иванович подал в самом начале 1914 года, но только когда германец громил 2-ю армию генерала Самсонова, оно было удовлетворено.

Офицеры, с которыми Аркадий Иванович сейчас возвращался на фронт, туда еще только ехали, однако кто был их сосед, они понимали, что это был человек, пеленатый офицерским шарфом и учивший алфавит по офицерскому патенту.. И они стали спрашивать! Ладно бы прямо, мол, что происходит на фронте, то есть на войне?.. И так далее. Но они спрашивали иначе, как настоящие патриоты, как люди, которые уже рубали и не только щи с капустой: «А?.. Как мы им?.. Накостыляем? Пруссак-то, скоро вгоним в гроб? Прозвенят наши подковы по берлинской брусчатке? А кто нам в венском кафе будет подавать венский кофе, не сам ли?..» И они, офицеры, вчерашние учителя гимназий, статисты, мелкие чиновники разнообразных канцелярий, заводские инженеры, преподаватели университетов и даже артисты антрепризных театров, поглядывали друг на друга и подмигивали, при этом они расправляли плечи и у кого были усы, подкручивали. Вяземский опускал глаза, потому что понимал, что за бравадой эти милые люди прячут страх.

Война гуляла по всей русско-германской и русско-австрийской границе.

А граница была затейливая.

Между тремя империями — Россией, Германией и Австро-Венгрией — она существовала уже почти сто лет, прочерченная Венским конгрессом в 1815 году. Тогда Конгресс решил, что поскольку поляки поддержали бонапартистские планы Императора Франции Наполео-

на — Польше не быть, и в четвертый раз ее переделили. И от Польши остался только народ и названия городов, сел, рек и озер, и то не все. Граница с Германией начиналась на берегу Балтийского моря около Полангена и Мемеля. Дальше огибала с юга Кенигсберг, проходила между прусским Елком с Мазурскими озерами и польскими Сувалками с Августовским лесом. Дальше шла на запад до самого немецкого Позена, в прошлом польской Познани, потом поворачивала на юг, огибала Варшаву и упиралась в Силезию и старый Краков, оказавшийся в Австро-Венгрии. А потом снова поворачивала, уже как граница с Австрией, на восток, мимо древнего славянского Львова, который, став австро-венгерским, поменял имя на Лемберг.

Пока Вяземский находился в отпуске, полк стоял на отдыхе, а вах-мистр Жамин выбивался из сил, обучая новобранцев, Гинденбург и Людендорф надавили на Генеральный штаб, и начавшийся как отвлекающий, придуманный ими с севера удар пополненной Неманской армии с середины мая приобрел самостоятельное значение. Во второй половине мая Северо-Западный фронт уже с большим напряжением сдерживал немецкий натиск на Ковенском направлении. В конце мая бои велись на фронте: Козлово-Рудский лес — Мариамполь — долина реки Довине, до реки Шешупе против правого фланга 10-й армии генерала Радкевича. Навстречу противнику выдвинулась гвардейская кавалерия. Бои проходили с переменным успехом.

К началу июня война в этом районе превратилась в позиционную.

И граница между тремя империями — Россией, Германией и Австро-Венгрией — сильно изменилась: русские отдали противнику почти всю Польшу.

Письма

Здравствуй, дорогой мой Аркадий!

Вот и кончился твой такой неожиданный отпуск.

Дома снова стало тихо, так, как было до твоего приезда. Ощущение пустоты, если бы не Полинушка и Жоржик. Он прибегает после каждого экзамена и вдруг обнаруживает, что тебя нет, а нам, женщинам ему не интересно рассказывать о своих успехах. И он снова становится серьезным и молчаливым. Полинушка, конечно, скрашивает нашу жизнь после твоего отъезда, но не полностью.

Писать тебе это письмо я начала еще, когда ты был здесь. Я понимаю, что нехорошо открывать свои чувства, но это письмо минует цензуру, потому что я отправлю его с губернатором, он едет в Ставку и любезно согласился письмо взять с собой. Поэтому сейчас тороплюсь.

Ты извини меня, что я не уделяла тебе должного внимания, но... надеюсь, ты меня понимаешь.

Тетушка ходит грустная, и чувствую, что из ее рук все валится, одна радость — Полинущка. А она уже округлилась, ее тельце налилось, на щечках появились ямочки, она уже улыбается и ищет глазками, когда ей говорят «мама» или «папа», прямо так по сторонам водит, ищет тебя. На ручках и ножках появились перевязочки, такая вся трогательная. Софьюшка называет ее «наша плюшевая».

Не могу тебе говорить — береги себя.

Береги себя, но знаю, что это невозможно. Если каждый на войне будет беречь себя, то, как же вы все уберетесь? Я понимаю, что военный долг заключается не в том, чтобы беречь себя, хотя у каждого есть жена, дети... Тогда, что же получается — не береги себя? Я долго об этом думала своим женским умом и поняла — берегите друг друга. Ты командуешь полком, и у тебя есть твои солдаты и офицеры, и если ты будешь беречь их, то они будут беречь тебя. Наверное, это и есть формула, когда дорогие люди возвращаются живыми.

Знаю, что негоже вмешиваться в ваше мужское дело, но так хочется, чтобы все вернулось...

Тебе не удалось встретиться с полковником Розеном, а я слышала, что он вернулся откуда-то буквально вчера. Однако он живет очень уединенно и никого не принимает. Больше о нем ничего не знаю.

Целую тебя и крещу много, много раз.

Твои, Ксения, Жоржик и Полинущка!

Конечно же, и тетушка, и Софья, и дворник наш, как ты уехал — запил. Живет у себя в сарае и глаз не кажет.

31 мая 1915 года от Р.Х.

Р. С. Надеюсь, Бэllu твои конюхи уберегли. Я ведь хорошо ее помню, красавица. И ты ее береги, и она тебя убережет.

Еще раз целую тебя, мой дорогой!

Здравствуй, моя благословенная матушка Ольга!

Пишу тебе, а что сказать не знаю. На душе тяжело. И по причинам тяжело, и без причин тяжело.

Сознаюсь тебе в совершенном грехе. Две недели назад заползла к нам германская разведка и стала сонных резать. Несколько оказались в нашей избе и навалились. Я одного голыми руками задавил, но этот грех отец Георгий (Шавельский) мне отпустил, ибо не я напал, а на меня напали, и я безоружный был. Но ты не бойся, Вяземский меня при себе держит и ни в какие дела не пускает. А есть грех и посерьезнее: так иной раз хочется снять рясу, да подпоясаться шашкой. Прости Господи! Вяземский за этот «подвиг» представил меня к «Егорушке», я, было, хотел отказаться, да ротмистр Дрок меня прямо засовестил, а он-то солдатскую службу хорошо знает. Так что к моему «китайскому» Георгию вот так прибавилось.

На днях в Шавли для освящения знамен двух второочередных полков приезжал отец Георгий (Шавельский), и я имел с ним долгую беседу. Говорили часа три. Он постоянно находится в Ставке и очень обо всем осведомлен. Однако же у него был ко мне вопрос, потому что снова и снова по столицам пошли слухи о Гришке и Императрице. Противно слушать, но и отмахнуться нельзя: он же, Гришка, — наш, тобольский. Я его хорошо знаю и помню. Ты, матушка, за это письмо не беспокойся, оно придет к тебе из Московской Синодальной типографии, я отдам его в канцелярию отца Георгия, а он переправит в Москву, и уже оттуда оно будет отправлено тебе.

Долго мы с ним разговаривали, и жаловался он, что никто ничего не может поделать с этим черным человеком, а чем он влияет на Августейшую семью, о том — неведомо! Я-то знаю, что ему известны заговоры, но они действуют на подлых людишек, неграмотных, невежественных, прости Господи. Не верю я в слухи о греховной связи его с Императрицей, этого не может быть, и отец Георгий не верит, а сделать ничего не может. Особенно после того, как Гришка предрек исцеление 2-же Вырубовой, хотя та уже пребывала на смертном одре, об этом много слухов. Однако не о том моя печаль. А сказать о чем — больно. А сказать есть что — нестроения в нашей Богом оберегаемой Церкви, нестроения. Благочинные прут наверх, как чиновники, подарками, лестью и подношениями, и много о собственном животе пекутся. Отец Георгий рассказал, как обстояло дело в Галиции с приведением униатов к Православию, стыдно было слушать. Слаб человек, а особенно, когда к власти приставлен. Как полуграмотный Варнава стал Тобольским епископом? А под чьим влиянием наш Макарий, всего-то семинарист, был назначен Московским Митрополитом? Происходит измелъчание архиерейства, омирщение монашества, развал руководимых монахами духовных учебных заведений! Вот что! А если между пастырями ладу нет, тогда какой с овец спрос?

Много печаловался отец Георгий, протопресвитер наш, об этом и я вместе с ним. Чувствую, что когда-нибудь эта слабость в главном, в вере, обернется нам большими бедами.

И воюем плохо. Боевой дух упал так, что хоть с земли соскребай. Вместе с второочередными батальонами снова появились агитаторы, мол, не за что нам воевать в этой войне, мол, сдадимся в плен, жизнь сохраним. А от отца Георгия я узнал, что все циркулировавшие в армии и обществе слухи об особой секретной комнате со специальными грандиозными картами, и у тех карт сидят умнейшие полководцы-руководители штаба Верховного, а младшие чины в течение целого дня, молчаливые, ходят и вставляют новые флажки и вынимают старые, — просто рассказы. Я особо не спрашивал, но из рассказа отца Георгия понял, что Верховный занимается военными делами в день часа два, а все остальное — чаи, завтраки, обеды и прогулки на авто. Встает с постели рано,

но и ложится, особо не засиживаясь. А в соседях у нас пехотная дивизия, так начальник сетовал, что, мол, солдат у меня достаточно, но оружия мало, а снарядов совсем нет. Вооружу, говорит, солдат дубьем, будем отбиваться. Это стало обычным явлением, что наши войска дубьем и камнями отбиваются от неприятеля, ходят с этим в атаки, а то и наступают и даже кой-какие победы одерживают, только чего они стоят — одному Богу известно.

Отправляю тебе, матушка, такими окольными путями это письмо страха ради иудейска, но не за себя боюсь, ниже полка не поставят — должности нет, дальше Тобольска не сошлют, поскольку и так конец географии, если не брать в расчет Якутск, а расстригут, попрошусь добровольцем, благо солдатского «Егория» уже имею. За отца Георгия страшно. Поэтому, прошу тебя, не храни это письмо, получишь, прочитайешь, сожги, от греха подальше.

И не подумай, что я в испуге, просто больно и обидно — за солдата обидно. И поговорить не с кем, кроме как с отцом Георгием, да с тобой, ты ведь у меня крепкая, а отец Георгий — не частый гость, хотя, правду сказать — так я у него.

О чадах наших сильно скучаю.

Помогают ли тебе с хозяйством наши прихожане?

С учебой наших деток ты и сама справишься. В этом я крепко на тебя надеюсь. Извини за рустикальный слог, но общаться приходится с нижними чинами, офицеров осталось в полку четырнадцать человек. Когда в полк с пополнением прибывают новые офицеры, мы с ними не торопимся знакомиться, потому что завтра убьют, а он уже в душу проник, очень это бывает жалко.

Благослови вас Господь!

Целую всех крепко, благословляю и крещу многожды!

31/V 1915 г.

УРОКИ ЧТЕНИЯ



Ольга ЩЕРБИНИНА

Открывая в Год Культуры новую рубрику, мы предполагаем публиковать эссе о произведениях классиков литературы, чьи творения в каждый миг Истории обещают открытия.

Ольга ЩЕРБИНИНА

Мир Мандельштама

Щелкунчик

Осенью 1930 года Мандельштам пишет короткое стихотворение, обращаясь, возможно, к жене:

Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!

Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом...

Да, видно, нельзя никак.

Поводом, как пишет в комментариях Михаил Гаспаров, ссылаясь на свидетельство Надежды Яковлевны, послужил ореховый пирог, который она с Осипом Эмильевичем ела в тот день. Возможно, сама она и чистила орехи, сама пекла этот пирог; сидели, покуривали, лакомились — «кутили», целое событие. А при чем тут табак? А при том, догадываюсь, что «дело — табак» (старинная поговорка, означающая, что дело плохо, безнадежно). Но, кроме того, возникает тень сказочной табакерки в пару к сказочному же Щелкунчику. Щелкунчик — шутиливо-ласковое обращение к жене — мог бы так и прожить с пирогами, этим символом довольства, но — связалась Надежда Яковлевна с опальным поэтом¹. Щелкунчик этот не идет в клетку, милый дурачок. Друг-дурк — друг-дурак: притяжение слогов ведет к притяжению смыслов. Глоссология фактов, по слову Мандельштама.

Стихотворение так и свистит и прищелкивает, все его Ш (страшно, большеротый, крошится, наш), Щ, Ц, еще и Х, обволакивают «Щел-

¹ В тридцатые годы над поэтом сгустились тучи. В 1934 году за стихотворение-сатиру на Сталина «Мы живем, под собою не чуя страны...» Мандельштам арестован и сослан в ссылку в Воронеж. В 1938 году вторично арестован, погиб в лагере под Владивостоком.

кунчика» его собственной, родной ему звуковой волной, делающей его близким не то щеглу, не то скворцу, словом, поющей птице. Птице плененной, которую могли бы «кормить пирогами». Поющий скворец близок поэту. Вот и про Гёте Мандельштам в одном из стихотворений говорит: *«Гете, свищущий на вьющейся тропе»*.

Так кто же шелкунчик? Нет, не только жена поэта (и правда, мило-большеротая). Как обычно, Мандельштам оставляет простор для целой россыпи толкований. Как самого поэта не назвать щеглом и шелкунчиком? Катаев в книге «Алмазный мой венец» так поминает Мандельштама: «Мы уже шли к выходу, когда в заросничной стране парка Монсо увидели фигуру шелкунчика. Он стоял в вызывающей позе городского сумасшедшего, в тулупе золотом и в валенках сухих, несмотря на то, что все вокруг обливалось воздушным стеклом пасхального полудня. Он был без шапки. Его маленькая верблюжья головка была высокомерно вскинута, глаза под выпуклыми веками полузажмурены в сладкой муке рождающегося на бритых губах слова-писеи».

Стихотворение можно прочесть и так: стоит на столе шелкунчик, и к этому-то прибору-игрушке шутливо обращается поэт. Обращается к себе или жене, к игрушке-двойнику — не в конкретике суть. Поэзия не может зависеть от случайностей обыденной жизни, от того «сора», который может служить лишь толчком для поэтического обобщения. «Все, что индивидуально, подвержено скорой порче», — считал также и, например, великий английский поэт Йейтс. «Факт всегда больше того что он значит», — резюмировал французский поэт и философ Поль Валери.

Как бы то ни было, следующая за обращением к большеротому товарищу сентенция: а мог бы... обращена не столько к собеседнику, кем бы он ни был, сколько к самому поэту. Во сне ведь — и в сновидческом творчестве — один персонаж в то же самое время может быть и кем-то другим, и одновременно ещё и третьим. Кто не видел во сне: вот я — и в то же время... да кто угодно, хоть моя мама, а хоть моя дочь. А моя дочь — то моя дочь, то внучка, во сне они сливаются. Вот и Мандельштам вполне сливается со своей женой, да и со всем миром...

Могли бы они с Щелкунчиком жизнь просвистать скворцом. Могли бы, да, видно, нельзя никак... совесть не позволяет...

Лия. Глоссолалия фактов —

такой формулой Мандельштам обозначил принцип звукопритяжения словесных единиц, сходных по звуку и следом сплетающихся по смыслу. Хочется назвать это поэтическое явление также коллоквиумом слогов.

Вернись в смесительное лоно,
Откуда, Лия, ты пришла,
За то, что солнцу Илиона
Ты желтый сумрак предпочла.

Ключевые слова: лоно, Лия, солнце, Илиона; слоги: ло, ли, ол-ел, илио. Музыка. Музыкальное сближение рождает неожиданные смысловые сплетения: чадородная Лия с её укорененностью в лоне иудейства и вплотную — Илион. Илион — стройное, гармоничное, музыкальнейшее слово, звуковое сердце Эллады. Лия — Илион. Звуковой коллоквиум постановляет Лию от Греции отторгнуть? Но разве могут сливающиеся в звуке слова-понятия быть чужими, не вступать в страстные взаимоотношения! *«Всё в мире переплетено моею собственной рукою...»*

Желтый сумрак — что это? Пески Иудейской пустыни? Петербургские желтые сумерки? А это тот «пучок», из которого *«смысл торчит в разные стороны»*. Так или иначе сквозь желтый сумрак Петербургской ночи просвечивает Эллада. Илион. Солнце Илиона... не солнце ли то Петрополя? *«В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем...»*

Но вот сумерки сгущаются в ночь; вторая строфа отпускает или изгоняет Лию в ночь:

Иди, никто тебя не тронет.
На грудь отца в глухую ночь
Пускай главу свою уронит
Кровосмесительница-дочь.

Прочитывается библейский сюжет: по замыслу своего отца Лавана некрасивая Лия подменила ночью в постели красавицу Рахиль, невесту Иакова. Но можно увидеть и что угодно иное... Таинственность сгущается, чудесно аукаясь со строкой Блока *«Ты в синий плащ печально завернулась, в сырую ночь ты из дому ушла»*. Лия в христианстве, не забудем, значится как праматерь; существуют и соответствующие иконы, чего не мог не знать Мандельштам.

Одна из кандидаток в персонажи стихотворения (героини поэта не бывают жестко определёнными) — опять-таки жена Мандельштама Надежда Яковлевна, еврейка, одноплемянница и потому по царской еврейской крови «кровосмесительница». Кроме того, Лия ведь стала женой Иакова — суженого и затем мужа своей младшей сестры Рахили.

Все в мире переплетено... Это знают поэты. *«Он не вышел еще на сушу. Он не делится ни на что. Он — кровосмешенье всего со всем. И называет это родством, близостью»*. Это не Мандельштам и это не о нем

(или о нем тоже, или о нем-то как раз в первую очередь!) — но это наш современник поэт Сергей Соловьев, в себя мировую поэзию — и Мандельштама наряду с Джойсом — вобравший... (даю фрагмент 38.31 из книги С. Соловьева «Фрагменты близости»). И родство разъясняет и оправдывает, вводя в контекст родства с миром и «смешенья всего со всем» кровосмесительницу из стихотворения Мандельштама. Разве поэт не тот же практик кровосмешенья? Мандельштам — скрещивая русские снега с античностью, иудейство с дочерним христианством?..

«Белая пыль вьется за нею — мел Эллады со слюдяным песком иудеев, и оседает где-то под Веной» /... / И душа ее — как узор морозный на стекле во тьме, бог весть где, с чуть оплывшей проталинкой от дыханья» (С. Соловьев, фрагмент 40.1).

Мандельштам:

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло...

Армения

А вот музыка цикла «Армения», стихотворение «Руку платком обмотай...» (по первой строке): *«Розовый мусор — муслин — лепесток соломоновый...»* Ощущение мускуса и — розового сада Песни Песней царя Соломона... лепесток соломоновый... мускус любовной ночи; слово не произнесено, но угадывается. Так ворожит великий поэт.

Снега, снега, снега на рисовой бумаге.
Гора плывет к губам.
Мне холодно. Я рад...

Чему это рад поэт? Да тому, что гора плывет к губам (гора таки идет к Магомету!), стремится выплеснуться в слово, а затем и к бумаге — вот зачем тут рисовая бумага, белая китайская бумага, сходная со снегами. Губы, бумага (уб-бу). И губы просятся к перу, перо к бумаге... (у Пушкина руки, а у Мандельштама губы, для него первое звук)...

Лазурь да глина, глина да лазурь.
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощури,
Как близорукий шах над перстнем бирюзовым,
Над книгой звонких глин, над книжною землей,
Над гнойной книгою, над глиной дорогой,
Которой мучимся, как музыкой и словом.

Кажется, это лучшие стихи об Армении в русской поэзии. (Кстати, есть ли памятник Мандельштаму в Армении?) Яркая лазурь (так, что

глаза сощурить) и первородная глина древнейшей страны. Исчерпывающий портрет. Глиняная книга, древняя письменность, буквы на глиняной табличке. Но почему же над книгой гнойною? А это, думаю, вот что: гнойные язвы Иова-страдальца, и кто претерпел больше Иова? Иова-страстотерпца и богоносца. Кто претерпел больше Армении дорогой? А небо *«все не прочтет пустотелую книгу черной кровью запекшихся глин»*¹.

В 1930 году Осип Эмильевич Мандельштам совершил путешествие на Кавказ — в Армению, Сухум, Тифлис, после чего написал цикл стихотворений «Армения» и прозу «Путешествие в Армению».

Клейкие листочки и накручивание смыслов

Я к губам подношу эту зелень —
Эту клейкую клятву листов —
Эту клятвопреступную землю:
Мать подснежников, кленов, дубков.

Погляди, как я крепну и слепну,
Подчиняясь смиренным корням,
И не слишком ли великолепно
От гремящего парка глазам?

<...>

Клейкие листочки, введенные в культурный контекст как мощный символ Федором Михайловичем Достоевским,² Мандельштам продолжил расширением смысла (листочки преступают клятву по осени) и дивной звукописью; Федор Михайлович звукописью не грешил. Поэт озвучил, «замузыкалил» листочки, обласкал нежнейшим слогом *ле* — этим любимым и зорким у всех лепечущих слогом, женственным, томным, лелеемым Пушкиным («Ах, лейся, лейся ключ отрадный...»), и Ахматовой («И столетие мы лелеем еле слышный шелест шагов...»), и Цветаевой («Ипполит!.. Ипполит, утоли...»), а еще прежде говорилось — «Утоли моя печали...»

¹ Поэт имеет в виду трагедию Армении: массовые убийства армян в 1894–1896 годах в Османской империи унесли жизни сотен тысяч ни в чем не повинных людей. Геноцид 1915–1923 года был еще более кровавым. Он осуществлялся путём физического уничтожения и депортации, включая перемещение гражданского населения в условиях, приводящих к неминуемой смерти.

² В романе «Братья Карамазовы» Иван говорит Алеше: «...дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь за что и любишь, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки по старой памяти чтить его сердцем».

О буйном морфологическом цветении поэзии пишет Мандельштам в «Заметках о поэзии». Поэтическая речь в теории и практике, по его определению, — блуждающий *«многосмысленный корень»*. Нанизывание на корень, накручивание смыслов на возникший стержень — на согласный звук (*«множитель корня — согласный звук»*) подчинено внутренней дисциплине, подлежит надзору поэта, если не прямому расчету. *«Так, размахивая руками, бормоча, плетется поэзия, пошатываясь, головокружа, блаженно очумелая и все-таки единственная трезвая, единственно проснувшаяся из всего, что есть в мире»* (Мандельштам. Заметки о поэзии).

Характерное для поэта нанизывание слов по созвучию, это как бы в забытии притягивание по звуку разнородных предметов и явлений, возникающих спонтанно (на самом деле из круга предметов избранных), имеет глубокий метафизический смысл. *«Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку»*, — пишет Мандельштам в «Разговоре о Данте» (в сущности, как обычно, о самом себе). Слово поэта многозначно. И не только смысл из него торчит, но и устремляется на другие объекты, притягивая их и раскрывая целый веер смыслов, создавая намагниченное силовое поле.

Россия, Лета, Лорелея... Поэту сладко повторять — и нам за ним следом — *«блаженное, бессмысленное слово»*. По законам *«обратимости поэтической материи»* Россия повлекла за собой Лету, ну, а вместе они так и складываются сами в слово Лорелея — значимый для Мандельштама поэтический образ; там, над рекой забвения, рекой вечности, сидит прекрасная дева со сверкающей волной волос — сама Поэзия...

Прялки и плахи

Вещь Мандельштама, оставаясь собой, зримой, осязаемой, яркой, выпуклой, с ее запахом и... нет, не вкусом, а, скорее, звуком (звуком он пишет слово), уходит в бесконечную глубь культуры, влечет целый шлейф смыслов.

У него прялка — и реальная прялка, и орудие Парки; пена — и морская примета, и первооснова жизни, мать пеннорожденной богини; ореховый пирог — и редкое в голодный год лакомство, и символ благополучия... и так далее, и тому подобное. Можно взять любую вещь наугад и дивиться ее многоликости, значительности, ее таинственной сопричастности сути бытия, противящейся небытию и пустоте.

Я качался в далеком саду
На простой деревянной качели,
И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду.

Деревянные качели — это ведь колыбель детства, которая дает силы жить. «Из глубины взываю...»

Не обойтись в роковом веке и без вещей зловещих, зло вещающих: *«Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи»* — пишет Мандельштам 3 мая 1931 года, пророча страшную гибель. Мерзлые плахи... как похоже на мерзкие: слово не произнесено, но подразумевается и угадывается. Но при том плахи мёрзлые, русские, древние, свои, петровские или сибирские... *«Запихай меня лучше, как шапку, в рукав жаркой шубы сибирских степей...»*

В стихотворении 1937 года ярко высвечены мотивы жертвенности поэта:

Как светотени мученик Рембрандт,
Я глубоко ушел в немеющее время,
И резкость моего горящего ребра
Не охраняется ни сторожами теми,
Ни этим воином, что под грозою спят.

Ребро в поэтическом мире Мандельштама — первооснова сущего, стержень, на который нанизано Время. Это не «горящее сердце Данко», а горящее ребро поэта — образ библейский. Ребро поэта — разумеется, горящее. Его не охраняют стражи, но сила жертвенности уподобляет поэта страданию Распятого, чье копьё, по сюжету Страстей, проткнет воин.

Образ ребра соотносится с образом позвонков века в знаменитом стихотворении 1922 года:

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И свою кровью склеит
Двух столетий позвонки?
<...>
Тварь, куда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.

Век-зверь растерзал Поэта. Но нас утешают строки, говорящие об осознании поэтом своего бессмертия: *«На стекла вечности уже легло мое дыхание, моё тепло»*.

Петербург, январь 2014

ПОЛЕМИКА



Евгений ВЕРТЛИБ

Мобилизация нации как основа победного Русского прорыва

*Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!..*

Красную империю предали и ликвидировали на антикоммунистическом этапе перманентной холодной войны. Но ельцинский антигосударственный переворот с целью уничтожения (вплоть до расстрела Верховного Совета) законного строя и замена его на феодално-мафиозно-семейный уклад — оказался НЕДОВОРОТОМ: вышла недоработка в реализации замысла Запада по уничтожению русской цивилизационно чуждой матрицы. «Россия — побежденная держава, — констатирует стратег Бжезинский. — Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мысли... Россия будет раздробленной и под опекой».

Победители готовы милостиво оставить побежденным пятьдесят–шестьдесят миллионов рабсилы — впрочем, для обеспечения российскими ресурсами «благополучных стран». Всерьез не рассматривается Россия как суверенная держава — разве только на региональном уровне, а если и на глобальном — то как помеха доминированию США.

Волею судеб при Путине страна ожила — отошла от оцепенения средневековых руин, навороченных «либертанистами». Деградирующая государственная субъектность в целом была преодолена. А поскольку России без империи не суждено существовать, маятник русской истории качнулся от всевластия ельцинич-ной олигархической импер-чубайсни «демократии меньшинств» (негодяйствующей «элиты») к патриотической атрибутике суверенной державности. Ожили свято-Китежные имперские ожидания россиян и окреп дух противления чужебесию. Святые мощи даров волхвов с Афона в Храме Христа Спасителя — свет духовный насущный. Александр Проханов, писатель и глава интеллектуального «Изборского клуба», воспел русское чудо: это есть «чувство русского верования, русского понимания мира как мира чудесного, как мира, в котором присутствует божественное, неожиданное, присутствует нечаянная радость. Ощущение мира как нечаянной радости — это одно из главных достижений русского духовного, поэтического и религиозного сознания.

Русскую историю и русский народ как носитель русского времени не понять без категории чуда. Россия на протяжении своей истории

должна была бы погибнуть многократно, погибнуть бесследно. В недрах русского времени вдруг разверзаются «черные дыры», куда проваливается русская цивилизация, чтобы больше не появиться. Но она возрождается. Таинственным образом, не объяснимым ни экономическими факторами, ни геополитическими или элитными представлениями. Она появляется в результате чуда...

Ободрились «опричники» великодержавия и «спецназ» патриотизма. Сергей Иванов, как глава администрации, комплектует президентскую рать. Дмитрий Rogozin крепит ВПК, помятуя заповедь императора Александра III: «У России есть только два союзника: ее армия и флот». Отрадно, что положен предел экспериментам над Россией отпетой «либеральной сволочью» (словечко Достоевского). Но реализуется ли в полной мере наметившийся прорусский мировоззренческий крен в «вертикали власти»? Пессимистичный прогноз по России обусловлен некоторыми факторами: 1) хотя демонтирована ВНЕ-путинская мощь управленческой спарки Нарышкин—Сурков, президент, как минимум, своей свитой скован в действиях (Сердюкова не дают посадить влиятельные силы в руководстве страны) — уверен генерал Ивашов); 2) отсутствием понимания складывающейся в стране обстановки, неверным анализом проблематики и зачастую неправильным принятием решений правительством Медведева; 3) подрывная деятельность «пятой колонны» во ВСЕХ коридорах власти (из министерств РФ только МЧС — более-менее не тотально коррупционно). Вот анонимное свидетельство конкретных действий правительства РФ по разрушению системы Здравоохранения России: 1) в СМИ необходимо создавать непрерывный информационный шум о модернизации, инновации, информатизации, болонизации и т. п. Для этого можно успехи отдельных личностей (выполнение сложнейших операций, проведение массовых исследований и т. п.) выдавать за успехи системы в целом; 2) необходимо отвлекать внимание общественности на второстепенные вопросы. Для этого периодически следует затевать бессмысленные реформы: менять бланки листов нетрудоспособности и рецептов, менять частоту предоставления документов на врачебную комиссию; сначала вводить, а потом отменять бесплатное донорство и некоторые виды медицинской документации и т. п.; предлагать сокращать или удлинять (недовольные в любом случае найдутся) дополнительные отпуска за вредные условия труда и т. п. Пусть в борьбе против второстепенных нововведений активная часть медиков утилизирует и распыляет свою протестную энергию.

Шабаш ведьмачества, продажных журналюг и беспринципного чиновничества, призванный потопить в цунами «свободы» национальное возрождение в зародыше и вытравить из нации цивилизаци-

онный код, не дает самоидентифицироваться русскими — а насаждаемым чужебием мутирует пробуждающееся русское национальное самосознание. Что в терминах Бжезинского, «отбивают охоту к великодержавию». Как государству внешним управлением отказано в геополитике, так и российскому народу не рекомендуется вспенивать якобы «шовинистическое» — лелеять память о своих этнических нутряных корнях и жить в миру соборным сознанием. Отбирая у народа исконно родное, вместе с тем зомбированным глуповцам, как индейцам стекляшки и побрякушки, подбрасываются сомнительные ценности и лже-кумиры: например, «праздник»: день 12 июня как освобождение русских от самих себя! Приговоренным к самоликвидации (на манер якобы «самораспада» СССР) позволено лишь коматозно существовать — с пользой для победителя, по крайней мере — никак для оживления и конкурентного воспроизводства имперского «со-ска».

Пока «мягкой силой» (soft power) домогаются российских богатств Сибири и Арктики... Но нарастающая эскалация системных вызовов Российской Федерации и угроза личной власти подвигла Путина заговорить о Народном фронте. Актуальность этого явления ясна: отступать под натиском объединенной контры некуда: за нами — Москва. И подковерная межклановая борьба за трон достигла почти максимума конфронтационного разлома социума. Тогда и воззвал Путин по-лермонтовски: «умремте ж под Москвой, как наши братья умирали». Но братья ли Проханов и Сванидзе? Квачков и Чубайс? Обворованный и вор в законе? Мультик «давайте дружить» — стратегия слишком наивной рецептуры общественного согласия на честном слове. Видимо, без предварительной размежевки «кто есть кто» и затем мобилизации на общее дело всех прорусских государственно-патриотических сил — не возродиться будет сильной державной России. Как завещал Отец Иоанн Кронштадский: «Россия будет сильной внутри и извне лишь своею внутреннею правдой, единодушием и взаимопомощью всех сословий, беззаветной преданностью Церкви, Престолу Царскому и Отечеству». Так что формула народно-государственного единения была и есть — она все та же уваровская триада: Православие — Самодержавие — Народность. Шумейковский же суррогат русской идеи России явно не годится. Кстати, Народному фронту к лицу больше хоругви иконостасные, нежели шляпа артиста Боярского.

Когда Отечество в опасности, и надлежит избавить Московию от «коллективной распутинщины», собирательно — ляхов — самообразуется на смертный бой с супостатом народное ополчение Минина и Пожарского, и формируется фронт Отеческого спасения. Иначе — скоморошество, фикция: не оппозиция, а поза одна. Традиция рус-

ская такова: народ сам сообразно опасности «вечевыми» выкриками излагает волю свою и выдвигает военачальника на время (чтоб не засиделся затем в номенклатуре) отпора врагу. «Лихие 90-е» породили воззвание к гражданам России оргкомитета Фронта национального спасения Алксниса—Шафаревича. Оно так напугало министра «временного оккупационного правительства» Полторанина, что он потребовал закрыть «Советскую Россию», отважившуюся напечатать сей манифест народного сопротивления. А там писалось то, что есть: «Наша Родина подвергается невиданному разгрому и поруганию. Великий и трудолюбивый народ ограблен... Закордонные хозяева наших новых властителей разъезжают по России, указывая что нам делать и как нам жить... Чего мы еще ждем? Или мы уже не хозяева на своей земле? Мы убеждены, что постигшая нашу страну трагедия — результат целенаправленной антинародной политики правящей верхушки, а не ошибок или просчетов «неопытных» руководителей. Предательство нельзя „скорректировать“, за него надо отвечать по всей строгости закона. На смену режиму должны прийти „новые политические лидеры, преданные идее национального возрождения России“».

Оба обращения к нации — концептуально разные. Первое — исходит из посыла, что страна оккупирована и что только правительство народного доверия способно спасти Россию от полного ее порабощения и разграба. Путинский же Народный фронт — говорильные Говорухины — призван скорее не «спецназить» (выкорчевывать вражеские происки), а оптимально совершенствовать сложившуюся модель якобы успешного стабильного развития страны. Первое — за немедленную смену антинародного режима и правящего госкурса. Второе — мобилизация всего позитива на улучшение качества жизни, без резких перемен.

Однако НАРОДНЫЙ ФРОНТ — это когда нации невыносимо плохо. Если так, то от чего и как именно собрался Путин спасти нацию? От дамско-«халатного» бэушного министра обороны России Сердюкова, но «это вам не 37-й год» (своих не сдаем). От либерал-разрушителей, но они в недрах самой системы, как костяк «неприкасаемых» (НАНО-игрушка Чубайса фактически законно грабит государство: его баснословные «производственные издержки», как и потеря Гайдаром тонн золота — мол, «утряска и усушка»...). Выходит — подмена понятий. «Фронт» по бумагам... Но коль враг не уточнен и не персонифицирован (коррупция — слишком общо, чтоб стать набатом мобилизации народа, как и размытое понятие террор — мало помогает антитеррору) — понимай как угодно: можно, и как коллективное сопротивление ночному топоту котов, мешающему спать спокойно народным избранникам Питера... Скорей всего — просто грядет

смена вывески — бренда правящей партии: вместо обанкротившейся и забюрократченной «Единой России» — Народный фронт второго призыва, как осыпание Оттепели в подоконную лужу. Новая вывеска выглядит зазывнее, краше, пригляднее, понароднее. Но России, как хлеб и воздух, нужен именно изначальный прохановский смысл Воззвания к народу от 1992 года:

«1. Создание правительства национального спасения, способного взять в руки реальную исполнительную власть и предотвратить приближающийся крах государства. 2. Наведение в стране порядка и пресечение разгула преступности, спекуляции, коррупции и беззакония. 3. Обеспечение гражданам достойного уровня жизни и приведение заработной платы в соответствие с уровнем цен»... и т. д. По большинству пунктов — воз и ныне там.

Если и будет спасена Россия, то «только как евразийская держава и только через евразийство» (Лев Гумилев). Но и грядущий Евразийский Союз Путин видит без русско-имперского центра. Однако вне империи Великой России не жить. Из-за мировоззренческой неясности до сих пор не созданы идейные условия стабильного развития суверенного государства. В обществе нет согласия по поводу смысла и цели существования новой России. Не решен вопрос и об исторической преемственности к прошлому. Например, социализм — это идеал русского правдолюбивого искательства? Или же — утопическая «дурилка коммуняг»? А ведь за идеалы христианского социализма Достоевский шел на каторгу. Или взять вопрос: что строится в РФ? Бандитский капитализм латиноамериканского образца на основе «криминальной революции»? Или — «народный капитализм», по олигархату Дерипаска—Прохоров? Без мировоззренческих оценок нельзя понять российской метаморфозы 1990-х годов. Без мировоззренческих уточнений нельзя строить незнамо что. Мудро заметил Иосиф Виссарионович: «Мы не можем двигаться вперед, не зная куда нужно двигаться, не зная цели движения».

Выражаясь словами Достоевского, «надо поскорее стать русскими» — то есть, перестать быть европейской «общмыгой» — «стриючим» в своем Отечестве. Для этого не помешает, прежде всего, «русифицировать» Конституцию России от 1993 года, в которой титульной нации страны уделено незначительное место наравне с другими этносами и культурными образованиями. 13-я статья этого Основного Закона признает равенство всех идеологий, что на деле дает либерал-смердяковщине право на борьбу с «русским великодержавием», — то есть с национальными интересами большинства россиян! Русскость, как имманентный очаг концентрации русского «я», карается Уголовным кодексом. Большинство депутатов ГД (больше 300) проголосовало против отмены антирусской 282 статьи Уголовного кодекса.

Внедряемый в общество дух социально-политического убожества безбожно преуспевающего эгоцентрика — это стратегия переделки «хомо-советикуса» в вышколенного лакея евро-обшмыги. Либерал-экстремисты, люто ненавидящие Путина — помеху в доразграбе ими «этой страны» (как говаривал «патриот» ИнДел министр Козырев) — готовы, как Чубайс Достоевского, разорвать Владимира Владимировича на части. Они умело политтехнологически манипулируют оболваненным людом, «канализуют через себя народное недовольство и вынуждают людей апеллировать к ним, становясь фокусом народного недовольства и неприятия... В какой-то момент либералы становятся выразителем духа нестабильности, овладевающим всеми. Через некоторое время, когда народ осознает, что он попал в гораздо худшую ситуацию, чем была до этого, уже будет поздно, потому что политическая власть будет консолидирована снова, снова уйдет момент, общая волна, которая соединяет общество на подъеме, пройдет. Снова будет атомизация, снова будет апатия. И когда все осознают, что они оказались у разбитого корыта, поднять митинговый протест будет сложно. Рычаги контроля над сознанием, психикой людей будут консолидированы и находиться они будут в руках либералов. Пока недовольство не достигнет очередной вспышки, пройдет еще десять или больше лет, на что и рассчитана такая политтехнология» — подметил политолог и философ Гейдар Джемаль. Если за патриотической риторикой новых веяний в Кремле не последует настоящая БИТВА за подлинно национальную во всех смыслах Россию — народ сам стихийно вызреет для избавления от оккупационного режима «рулильщиков» судьбой россиян. Ворье в законе гонит волну. Не исключена возможность того, что сия «волна поднимется настолько высоко, что олигархи и номенклатура не смогут ее сдержать, она выйдет из-под контроля и, возможно, сметет всю эту камарилью, которая разыгрывает эту партию. «Игра, которая ведется антипутинской коалицией, рискованна, но другого выхода у них нет» — пишет Джемаль. В таком случае, пусть сильнее грянет буря — тогда предельная угроза САМО-мобилизует общество на кардинальные перемены. Как говорится, пока гром не грянет — мужик не перекрестится. Но стоит ли власти дожидаться, пока подстрекатели спровоцируют Россию на бунт, доведя общество до кипения, а государство до предельной точки кризиса и угрозы реального распада? Видимо, не дожидаясь ликвидации России как субъекта, и решил Путин наступить на трухлявый пенек древа Борисова (тень ЕБНа). Пока — это лишь полумеры. Но хирургия отсечения метастазных очагов — не пожелание, а спасение. Ибо этап терапии мирной трансформации зла в добро уже пройден. Государство на корню распродается, гниет и разворовывается. Путин функционально — и царь Иван III, и «первый большевик» Петр Великий.

Как в 1917-м году, лидеру России предстоит ВСЕРЬЕЗ (страна на краю пропасти) стать фактором национального спасения. «Большевики выиграли потому, что они спасли страну от оккупации Антанты и от распада. В условиях, когда страна пришла к нулевому состоянию в 1918 году (фактически произошло то, что произошло в 1991 году, были потеряны Польша, Прибалтика, Центральная Азия, Кавказ), большевики стали единственной альтернативой. Они объявили Белое движение рукой Антанты и на этом мобилизовали практически всех, став фактором спасения».

В условиях организованных атак на русскую духовно-цивилизационную матрицу, на русский культурно-генетический код — надо признать страну в опасности, и нации мобилизоваться на сопротивление внешней и внутренней контре, очистив имперско-государственнические ряды подлинных защитников державы от лиходеев, мздоимцев, попутчиков и других недоброжелателей русского национального Возрождения. Иначе народ не поймет.

КРИТИКА



**Владимир
ШЕМШУЧЕНКО**



Татяна ЛЕСТЕВА

Лешье мясо

В прошлом году петербуржцы в 50-летнюю годовщину ухода из жизни писателя, воина, радетеля о родной северной земле Федора Абрамова тепло вспоминали о нем. На вечерах памяти просто, по-человечески говорили об этом выдающемся человеке. Он был для этих людей — свой. И, конечно же, когда стало известно, что 20 января текущего года состоится премьерный показ многосерийного фильма «Две зимы и три лета», снятого по тетралогии Ф. Абрамова «Братья и сестры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья» и «Дом», многие, и я в том числе, припали к голубым экранам, чтобы еще раз пройти вместе с авторами и героями фильма «пути-перепутья» нашей страны, тем более что эти великие произведения, эти свидетельства времени и жизни людской мы уже знали. Многие хорошо помнят слова писателя: «Родина — это то, без чего невозможно представить жизнь человека. Я вкладываю в это понятие, прежде всего, нравственный смысл. Для всякого честного человека любовь к Родине — это святой долг по ее возвышению и, когда надо, защите. Только люди с пустой душой теряют сыновнее чувство к Родине».

Для меня, привыкшего к тому, что перед любым художественным фильмом показывали визитную карточку киностудии: «Мосфильм», «Ленфильм», «Одесская киностудия», «Киностудия им. А. Довженко» или что-либо из современных названий кинокомпаний, несколько необычным показалось на фоне русских северных пейзажей под звуки русской песни увидеть: «Представляет Сергей Сендык». И поскольку в титрах не было ничего, кроме того, что он еще и продюсер, я подумал, вот молодец, наверное, не все покупают яхты и зарубежные спортивные клубы, кто-то для народа фильмы снимает. А когда я увидел, что режиссер этого фильма Тэмо (Теймураз) Эсадзе, настроение у меня улучшилось еще больше. Нужно обладать достаточной творческой дерзостью, чтобы с такой фамилией «замахнуться» на подвиг экранизации Ф. Абрамова и при этом еще попытаться влезть в «загадочную русскую душу». Тем более что уже есть любимые народом киноленты «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень», снятые В. Краснопольским и В. Усковым.

Я весь обратился в зрение. Но после портретов и фамилий исполнителей главных и второстепенных ролей на экране вдруг замелькали кадры какого-то города (может быть, кто-то и угадал этот город...) и «пошел» неизвестно кому принадлежащий закадровый текст: «Не скажу, чтобы я любил его. Сколько по стране городов, слепо изуро-

дованных отсутствием всякой архитектурной мысли и безденежьем. Безразмерная центральная площадь во главе с вождем пролетариата. Доживающие век старинные особняки и т. д.». Весь пафос такого начала сводился к тому, что даже на месте разрушенного мы можем построить лишь что-либо не менее уродливое по сути своей. Мне сначала показалось, что это была какая-то нелепая ошибка, но я быстро понял, что это довольно подлая и умышленная «находка» сценариста и режиссера. С экрана пахло откровенной «пивоваровщиной». Каждая новая серия фильма о деревенской нелегкой жизни северного села Пекашино начиналась с безжалостного показа кинохроники самых тяжелых, самых кровавых и невыносимых для нормальных людей кадров кинохроники отступлений и поражений начала войны. Ладно бы одна кинохроника. На фоне этих страшных кадров все время звучал закадровый текст комментатора, клеймившего бездарную и преступную власть. Вязьма, Харьков, Ржев, приказ № 227: «Ни шагу назад!», Северо-Кавказский фронт... На этом фронте наши войска, как оказалось, бежали в страшной животной панике, сшибая и затаптывая всех, кто пытался хоть как-то противостоять фашистам. И пришлось срочно ставить на пути паникеров заградительные отряды (ну куда же без них!) и расстреливать, расстреливать, расстреливать...

Хроника Великой Победы сопровождалась комментарием: «Победа досталась чудовищной ценой!» Тост И. Сталина в честь русского народа был прокомментирован так: «Сталин знал, что не было более измученного, истрадавшего народа и не только фашистами, но и его волей и советской властью, и что это еще не конец». И, главное: «...Что еще не было в истории более опустошенного народа, чем русский народ» (непонятно, кто отстроил страну после войны, не иначе, как заградотряды помогли). И тут же — постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», и еще, и еще, и еще! По сердцам, по душам — с отяжкой и сладострастием! И, конечно же, — это не для тех, кто слушал и слышал голос Левитана и сообщения «Совинформбюро»; это для нынешних, молодых.

Моего деда Ивана расстреляли в КарЛАГе, мой отец Иван после фашистских концлагерей оказался там же в Казахстане, где я и родился. Но я помню, как он мне рассказывал о том, что великую песню «Враги сожгли родную хату» в исполнении несравненного М. Бернеса редко исполняли по радио и телевидению не потому, что «запрещали и не пушали», а потому, что «проклятая власть» народ жалела (фронтовики после того, как слушали эту песню, — стрелялись).

А экранная жизнь уныло и безрадостно шла своим чередом. Донельзя карикатурный председатель колхоза (по замыслу сценариста) заставляет сельчан пахать «по снегу» и всячески «измывает» над ними, хотя у Ф. Абрамова он совсем не прост. В селе появляется

пришедший с фронта с рукой на перевязи политработник Иван Лукашин, посланный в село райкомом. У Федора Абрамова: «невисокий, крупно шагающий человек в серой шинели с сумкой через плечо со страшно исхудалым лицом. По шинели — военный, по серой фуражке со смятым козырьком — командированный». А перед нами на экране предстает не «абрамовский» Иван Лукашин, а актер Сергей Маковецкий в своей нынешней гренадерской статии, при этом на нем комсоставовская новенькая фуражка со звездой, новенькая гимнастерка с комиссарскими звездами на рукавах (хотя приказом НКО № 253 от 01.08.1941 года ношение звезд на рукавах политработников было отменено), со «шпалами» в петлицах (старший политрук) и с непонятными эмблемами в петлицах же (хотя эмблем в петлицах у политработников никогда не было), а на дворе осень 1942 года. Главную героиню Анфису Минину (Наталья Вдовина) избирают председателем, и между ней и Лукашиным возникают чувства. Следует отметить, что события на экране разворачиваются довольно точно по тексту «книжного» повествования. Но есть одно но. Если у Ф. Абрамова герои живут, то на экране — существуют. И все они — ненавидят друг друга. И тут я заметил еще одну, если угодно, некорректную уловку сценариста и режиссера. Зритель перестает следить за происходящим, и тут происходит подмена. Оригинальные монологи героев заменяются на монологи вымышленные. К примеру, Иван Лукашин приходит в гости к Анфисе Мининой: «Он захмелевшими глазами ласкал ее небольшое, ладное тело, скользил взглядом по рукам, разбрызгивавшим воду из рукомойника, по белой нежной шее, над которой тяжелым пышным узлом свисали волосы. Ему хотелось подойти к ней, обнять»; (так у Федора Абрамова). Но Тэмо Эсадзе засталяет Лукашина вместо этой песни любви произносить следующее: «Я был политруком в ополчении. У меня студенты были. И вот стоят они глядят друг на друга и плачут. Ждут. Если кого-то рядом убьют, то, оставшемуся в живых — винтовка достанется». Какая уж после этого любовь!

И по тому же режиссерскому произволу все внутренние монологи героев, в которых и заключается суть, смысл, внутренне благородство души человеческой, благодаря которым наши люди выстояли и победили и на фронте, и в тылу, — безжалостно отвергаются. На первый же план выставляется супружеская неверность русских жен, мужья которых воюют с фашистами. И вообще, как мне показалось, это даже поставлено во главу угла, что весьма прискорбно и даже оскорбительно.

У меня нет ни возможности, ни желания детально говорить здесь о современных стрижках, о выщипанных бровях у актеров, о несоответствии возраста «киношных» героев героям «книжным», перечислять современные выражения, типа — «оно мне надо» и пр. и доказывать, что нам пытались показать бездушный, мишурный и до зевоты

скучный фильм. Что же касается надоедливого и неумелого «оканья», которому актеры долго учились у деревенских, то это заслуга небольшая — на Вологодчине и собаки по-вологодски лают: «Гов, гов, гов!»

Одна досада: изуродован такой материал. Но, возможно, кто-то захочет обратиться к первоисточнику, чтобы искупаться в чистой родниковой словесной воде, щедро разлитой по страницам великим нашим писателем Федором Абрамовым.

Татьяна ЛЕСТЕВА

Закулисье «золотого» времени

Александр Проханов. «Время золотое» (М., 2013).

Александра Проханова, я думаю, не нужно представлять ни читателям книг и газет, ни слушателям радио, ни любителям телевизора, ни, тем более, читателям газеты «Завтра». Его популярность если и не достигла высот Олимпа, то, по меньшей мере, близка к ней, воистину «время золотое» расцвета таланта и известности автора. Однажды, во время его очередного выступления на радио «Эхо Москвы», ведущая представила его журналистом. «Почему вы называете меня журналистом? — возразил писатель. — Я написал более десяти романов». Переубедить ее Александру Андреевичу не удалось, для «Эха Москвы» Проханов так и остается журналистом. Впрочем, стоит ли отказываться от профессии журналиста А. Проханову, когда из-под его пера вышла замечательная высокохудожественная книга публицистики «За оградой Рублевки» (М., 2007 г.).

Многие сюжеты очерков из этой книги, расширенные и дополненные, появятся фрагментами в более поздних книгах автора, украшая страницы его постмодернистских романов или «устрашая читателей» художественно-кровавыми натуралистическими сценами. Так, жуткое описание технологии убийства коровы и последующей разделки ее туши в очерке из «Рублевки» прозвучит прелюдией к парафразу русской народной сказки «Крошечка-Хаврошечка» и усилит и без того душераздирающую сцену прощания жены президента. Несчастная изгнанница, сосланная в монастырь, может общаться в политическом романе «Алюминиевое лицо» только с коровой, единственной «живой душой» в ее окружении. Впрочем, прием, который можно условно назвать «утром в газете — вечером в куплете», охотно используют в своем творчестве и другие постмодернисты: Виктор Пелевин, Максим Кантор. Впечатления от увиденного глазами журналиста обрастают художественной плотью и превращаются в роман.

Излюбленной темой романов А. Проханова являются взаимоотношения в коридорах власти. Владеющий, по-видимому, обширной информацией о событиях не только за оградой Рублевки, но и за бойницами кремлевской стены, он в своих романах часто поселяет реальных политиков с персонажами под вымышленными именами, но в судьбах и действиях последних легко угадываются прообразы политической российской элиты. Исключением является последний роман автора «Время золотое» — в нем не только нет ни одной реальной фамилии действующих политиков, но аннотация извещает читателя об отсутствии прямой аналогии «между персонажами Болотной площади, Кремля или идеологических центров с реальными фигурами, имеющими имена и фамилии».

Однако... Когда читаешь роман, то в образах основных действующих лиц, выписанных то саркастическим пером Гойи, то яркими красками кисти Иеронима Босха, невольно, подсознательно возникают образы известных политиков, чиновников, представителей и представительниц творческих профессий. А вот вопрос прямизны или искривленности «аналогий» заставляет задуматься: «Неужели?!» или: «А не зоркое ли око некой организации предписало автору и редакции эту фразу для слишком продвинутого читателя, — дескать, и помыслить об этом — Ни-Ни».

Впрочем, пора перейти к основной теме романа: борьба за власть, — к тайнам пути восхождения на престол. Четыре года назад, в 2009 году, А. Проханов в романе «Виртуоз» уже попытался приоткрыть завесу над интригами кремлевского закулисья, показать душащие объятия двух ближайших соратников — президента России Артура Игнатовича Лампадникова, сменившего на этом посту Виктора Викторовича Долголетова по договору на четыре года. За этим беспрецедентным в истории человечества договором скрывается фигура Виртуоза, серого кардинала, гениального политолога, организовавшего временную рокировку президента и премьера. Виртуоз политического закулисья в романе предает своего друга В. В. Долголетова в преддверии новых выборов с прямо-таки трогательным христианским «прости» и переходит в «дружески»-вражеский стан президента Лампадникова, обеспечивая ему победу на выборах. Александр Андреевич не оказался пророком — история России пошла по другому пути, четырехлетнее правление «А. И. Лампадникова» сменилось в соответствии с условиями договора восхождением на новый срок «В. В. Долголетова». А вот «Виртуоз» на некоторое время исчез с политической арены: прямо-таки по «Заговору Фiesco в Генуе» (1783) И. Ф. Шиллера — мавр сделал свое дело, мавр может уходить.

И «мавр» ушел, чтобы четыре года спустя (межвыборный промежуток времени) вновь появиться в романе «Время золотое» (можно сказать, антиромане по сравнению с «Виртуозом»), в котором А. И. Лампадников превратится в президента Валентина Лаврентьевича Стоцкого, В. В. Долголетов — в Ф. Ф. Чегоданова, кандидата на президентское

кресло на грядущих выборах, а опальный Виртуоз, государственный до мозга костей, истинный патриот России в ее православной ипостаси, с утонченной душой лирика-символиста, мимикрирует в образ Андрея Алексеевича Бекетова. Ошибка в несостоявшемся пророчестве исправлена, грядут новые выборы. Но как изменилась политическая ситуация за четыре года! Болотная площадь, якобы «народный» протест, новый кандидат в президенты, якобы «из народа» и не сходящая с повестки дня закулисная борьба в Кремле, — вот основные темы нового романа Александра Андреевича Проханова.

Читая этот роман, отвлекаясь от его политической подоплеки, хотелось бы сначала ответить на вопрос, писатель или все-таки талантливый журналист? Несомненно, писатель, да еще и с большой буквы, с ярким, насыщенным метафорами стилем. «Мимо, опираясь на палку, шел промокший старик, без шапки, с седыми, тяжело повисшими волосами. К его пальто прицепился зубчатый кленовый лист. И Бекетов подумал, что старик похож на еврея в гетто с желтой звездой». Каков образ! «Урал встретил Бекетова трескучими морозами, заснеженными сосняками, угрюмыми городами, в которых люди были заняты вековечным делом — плавили руду, лили металл, строили тяжеловесные машины. Терпели, роптали, продолжая свинчивать болтами и гайками Европу и Азию, притягивать стальными канатами казахстанские степи, приваривать кромку Ледовитого океана». Конечно, читателям, взращенным на телеграфном стиле интернетовского новояза, вечно спешащим, охваченным бесконечным потоком всемирных новостей, трудно вникнуть и предаться обаянию «полнометражного», метафорического стиля писателя А. Проханова. По нему не скользнешь взглядом, каждая строчка, каждая метафора создает в мозгу зримый, запоминающийся образ, заставляет задуматься. И это, подчеркну, в политическом романе.

Грядущие волнения пророчески предвидел Сергей Минаев в его романе «Р.А.Б.» (М., 2009), (по-видимому, следуя по стопам аббревиатуры «ЖД» Д. Быкова): кризис, сокращение бесчисленных менеджеров, протест, погромы офисов и т. п. «Там, где раньше стояли толпы гастарбайтеров, теперь толкались бывшие менеджеры по продажам, бухгалтеры, сотрудники инвестиционных компаний, рекламных агентств и девелоперских контор. В городе некуда было инвестировать, нечего развивать и некого рекламировать». Книга С. Минаева издана почти за четыре года до реальных событий на Болотной площади. В главе «Бунт обреченных» автор приводит даже «статистические» данные: «...появилась новая статистика забастовки:

Москва — 189 432 человек на улицах;

Питер — 232 101;

Екатеринбург — 56879;

и так далее по остальным городам».

Свою оценку событиям на Болотной площади дал и Виктор Пелевин, со свойственным ему сарказмом мимоходом охарактеризовав в романе «Бэтман Аполло» (М., 2013) эти же события так: «Главное событие — „гроза двенадцатого года“, также известная как „революция пиздатых шубок“, „pussy riot“ и „дело Мохнаткина“ — гламурные волнения 2012 года, когда дамы света в знак протеста против деспотии и азиатчины перестали подбривать лобок, и их любовники-олигархи вынуждены были восстать против тирана. Волнения закончились, когда небритый лобок вышел из моды». Но романы В. Пелевина и А. Проханова вышли уже после окончания «протестных» маршей.

А. Проханов детально и поэтапно рассматривает все стадии событий на Болотной площади, начиная с появления нового молодого претендента на кремлевский престол с символической фамилией Градобоев и русским именем Иван Александрович, блогера, разоблачающего через Интернет коррупционеров всех мастей, которому удалось создать организованную протестную команду (типа «РосПила» А. Навального). И хотя она еще недостаточно сильна, но быстро растущий ее рейтинг при падающем рейтинге «официального» кандидата в президенты, уже приводит к тому, что «...государство качается», не говоря уже о страхе Ф. Ф. Чегоданова потерять личную власть, которому «...надо выиграть, не пустить в Кремль это чудовище (Градобоева. — *Т. Л.*), порождение спальных районов, черных подворотен, озлобленной глупой толпы». И для этих целей по рекомендации черноволосой, с блестящими глазами любовницы экс-президента, чародейки и колдуньи Клары, в Кремль возвращают бывшего «виртуоза», государственника Бекетова. (В скобках замечу, что «Виртуоз», с моей точки зрения, это синоним или псевдоним самого А. Проханова с его собственным взглядом на историю и дальнейшее развитие России как православного монархического государства.)

А. Проханов глазами и устами Виртуоза видит раздробленность оппозиции, образно рисует картину объединения (временного, конечно) ее в единое целое, благодаря тому, что каждому лидеру оппозиции Бекетов обещает кресло президента при свержении ненавистного режима Стоцкого.

Автор демонстрирует удивительно глубокое знание личностей и жизни лидеров оппозиции, остро отточенным критическим пером рисуя их запоминающиеся образы. Вот, например, как отвечает лидер коммунистов Мумакин Петр Сидорович на предложение Бекетова: «Вы хотите, чтобы я стал под одни знамена с Лангустовым, чью задницу не пропускает ни один гей? Хотите, чтобы я встал рядом с Шахесом, от которого будет разить чесноком на всю Болотную? Или с этой, прости господи, Ягайло, у которой под юбкой ползают мухи?» Самого же лидера коммунистов автор характеризует так: «Этот властный баритон, волевое лицо

борца, уверенные фразы о блестящей команде и народной поддержке были имитацией, за которой скрывалось нежелание брать власть. <...> Не один раз Мумакин шел на выборы президента, прекрасно усвоив обряд, который обеспечивал ему почетное второе место». Или легкий набросок, так сказать, карандашный эскиз, режиссера Купатова, советника по вопросам культуры — «утомленный нарцисс», способный «эффектно курить вишневую трубку и глубокомысленно молчать, как если бы играл в театре немого мудреца». Прообразы, конечно узнаваемы. Насколько достоверны приводимые в романе сведения о «семье» кремлевских чиновников высокого полета, их нравах и окружении, судить трудно. Однако намеки вброшены в разум читателя: дочь главы Центризбиркома с символической фамилией Погребец замужем за водочным олигархом, а сам он имеет долю в фармацевтическом бизнесе, министр внутренних дел связан не только с золотым бизнесом, но и со спецслужбами Израиля и т. п. Конечно, когда в СМИ или следственном комитете приоткрываются завесы над деяниями реальных политиков страны, невольно всплывает вопрос: неужели правда? — и приходится с грустью вспомнить предостережение издателя в аннотации к книге.

Главная же мысль книги о том, что за так называемым «народным» бунтом «болотников» стоят невидимые агенты Кремля с целью запугать народ очередной гражданской войной перед выборами, выписана четко в стиле детектива высокого качества, ярко метафорически, увлекательно, что типично для политических романов А. Проханова. Наряду с сатирическими, доходящими до гротеска образами персонажей романа в нем появляются страницы мелодраматического сентиментального символизма. Главный герой — государственный (!) Бекетов в засохшей, но возрождающейся белой орхидее, появившейся у него в день смерти матери, видит ее материнское благословение на подвиг по спасению государства. Во имя этой великой цели он строит хитроумную интригу массового «народного» протеста, которая завершается кровавой бойней протестующего населения. А после нее — убедительная победа на выборах ежедневно теряющего рейтинг в начале романа Федора Федоровича Чегоданова. «Площадь ликовала.

— Президент! Президент! — выдыхали тысячи ртов.

Бекетов чувствовал, как глаза наполнились слезами, а сердце любовью к этому человеку у ослепительного самолета, вокруг которого играли лучи. Он любил его, был верен ему, был готов служить ему, идти за ним сквозь все труды и невзгоды». Но «...в политике действует другая мораль», мавр сделал свое дело, и судьба Виртуоза-Бекетова вновь определена. Правда, Проханов подчеркивает «благородство» Чегоданова: Бекетова не убивают, а только удаляют из политики, президентский трон — цель Чегоданова, а отнюдь не сохранение и возрождение единого государства.

Снова А. Проханов пытается выступить в роли пророка: судьба претендента Градобоева решается иначе по указу начальника охраны Чегоданова с символической фамилией Божок (при боге Чегоданове): «Пуля врезалась ему в лоб, просверлила лобную кость, рассекла и взрыхлила мозг и остановилась внутри у костяного затылка».

Предательство — это синоним политической борьбы, предательство всех и вся, на любом уровне. Единственное, что не предается, — это воинское братство: Хуторянин, начальник охраны Градобоева, передает компромат — запись разговора своего шефа со Стоцким — Божку (начальнику охраны кандидата в президенты:

«А помнишь, Петя, как под Первомайской ты меня по снегу тащил?» — «Такое, Сема, забыть невозможно».

Но в развитии сюжета романа Проханов доводит до читателя свое нравственное кредо — предательство наказуемо, — демонстрируя его полным крахом жизни Елены, героини классического любовного треугольника: Бекетов—Градобоев.

Пожалуй, диссонансом с душком низкопробного масскульта в романе звучит сцена расправы Чегоданова со Стоцким, вступившим в сговор с Градобоевым, за попытку предать его. «Чегоданов бесшумно рванулся, отвел одну ногу и, поворачиваясь на другой, как циркуль, нанес Стоцкому разящий удар, так, что чмокнулись челюсти, откинулась голова, и комок густой крови ударил в стену. <...> Он бил носком башмака, а Стоцкий, рыдая, уползал к противоположной стене, шаркая коленями, оставляя на полу липкий зловонный след».

Однако надо отдать должное Александру Андреевичу, ни на одной странице романа, ни в сценах протеста или расправы над демонстрантами нет ни одного нецензурного слова, в отличие от коллег-постмодернистов, зачастую смакующих obscenity лексикой.

И еще раз возвращаясь к взглядам Проханова-Виртуоза, нужно отметить его несбыточную, как и все пророчества в его предыдущих романах, надежду, что Россию спасет чудо — возрождение монархии с царем из династии по женской линии. Наследников Романовых по мужской линии, как известно, нет. В романе чудо таки свершается: в городе двух цариц навстречу Бекетову шел мальчик, «и над его головой тихо золотился воздух». Трогательно наивный финал! Ну что ж, и великим писателям-государственникам хочется порой вдохнуть и насладиться ароматом рождественской сказочки «золотого времени».

Ноябрь 2013 г. Санкт-Петербург

ДЕБЮТ



Артём КОБЗЕВ



Татьяна ОКТЯБРЬСКАЯ

Полковник и девица Амалия

Я убедилась в том, что самые значительные события в моей жизни становятся логическим завершением цепочки нелепых, случайных поступков, которые я совершаю. Обернувшись назад, могу сказать только одно: «Как странно было то, что я считала нормальным».

Собираясь выйти замуж, я понятия не имела, что такое любовь и как она может в один день изменить спокойную, казалось бы, жизнь.

Существуют такие приспособления у фотографов, когда человек подходит к куску фанеры, на котором изображен горец, к примеру, сует голову в отверстие, и на фотографии получается в костюме горца и даже на фоне гор. Достаточно сунуть голову в отверстие...

Примерно так я сунулась в свою предполагаемую семейную жизнь. Вертя головой, я всматривалась в свое будущее, оставаясь по сути чужеродным для него телом.

Разумеется, мой жених говорил о любви, и я что-то такое отвечала, но, на самом деле, мы просто договорились, что будем жить вместе. Это я уже потом поняла, что договорились, а тогда мне казалось, что мы практически идеальная пара. Наличие будущей свекрови, не принимавшей пока мысль о том, что ее сын стал взрослым и живет отдельно, я рассматривала как неизбежные издержки супружества.

Именно поэтому ее телефонный звонок в то раннее субботнее утро, ставшее продолжением цепи случайных поступков, не очень удивил меня.

— Доброе утро, милая! Мама попросила отвезти ее на дачу, — целуя меня в щеку, сообщил Денис.

Я зевнула, незаметно разглядывая своего жениха. Лицо Дениса состояло из кружков и дуг разного размера. Глаза по форме приближались к кругу, круглые зрачки усиливали этот эффект. Недавно он решил обзавестись усами, и на лице к двум правильным дугам бровей добавилась третья.

— Тебе не идут усы. Ты стал похож на смайлик, — продолжая зевать, подвела я итог наблюдения.

— Это что-то новое... — невозмутимо ответил Денис. — Надо будет присмотреться.

— Присмотрись. И не забудь, что нам сегодня еще путевки надо купить, — напомнила я.

— Вряд ли получится — мама просила помочь. Освобожусь часам к пяти, не раньше. Вообще, мне кажется, что мы поторопились с отпуском. Есть более насущные дела.

— Какие, например? Ты же знаешь...

— Я знаю, что ты мечтала о Венеции, и что твой папа подарил определенную сумму на поездку, но, Люсенька, ты, как бы это сказать... Ты не практична. Сейчас нам стоит подумать о более важных покупках. Можно начать ремонт в квартире. Нам же здесь жить.

— Мы живем вместе всего месяц, собираемся пожениться. О каком ремонте идет речь? Если ты не поедешь, я уеду одна. С понедельника я в отпуске, если ты еще помнишь об этом.

Денис что-то еще сказал о том, что мы все обсудим, когда он вернется. Но у меня в голове уже мелькнула мысль о том, что я вижу другого человека, не того, которого знала еще со школы. Хотя в школе мы не обращали друг на друга внимания. Денис материализовался позже, когда мы оба закончили академию, и он, опережая всех, рванул вверх. Букеты, конфеты, концерты...

Он уехал, а я все еще сидела и думала о его словах и о том, почему он может спокойно говорить о ремонте, а я не могу ответить, что делать ремонт в квартире Дениса на папины деньги не очень красиво. Мне что-то мешает, а ему нет.

Я должна обо всем этом подумать. Только не здесь и не дома. Мне стало понятно, почему Денис тянул с путевками и визами. Он не собирался никуда уезжать.

Было уже около девяти, когда я позвонила Ольге, нашей общей подруге по школе. Свинство, конечно, звонить в такое время, но мне очень не хотелось оставаться в этой квартире. Ольга с ходу въехала в ситуацию, я слышала ее голос и представляла себе маленькую Ольгу с огромными глазами, возмущенную тем, что у меня сорвалась поездка.

— Конечно, тебе стоит исчезнуть и спокойно во всем разобраться. Можешь пожить у меня.

— Оль, а как называется место, куда ты ездила отдыхать к тете? Я же в отпуске.

— Чемитка. Отличная идея — я позвоню тете, а ты собирайся и чеши за билетом. Я не скажу, где ты, но уверена, что Денис будет тебя искать. Пусть тоже подумает. Хорошо, что вы еще не расписались.

Вот так получилось, что вместо Венеции я оказалась в Чемитке. Разумеется, Денис позвонил мне в тот же день. Я ответила, что уехала подумать о нашей дальнейшей жизни. Больше он не звонил, зато регулярно присылал смс, словно так и было задумано, что я уеду незнамо куда одна. К тому же, переписываться посредством смс было практичнее.

Я поселилась в ветхом бунгало у Ольгиной тети, своим характером очень похожей на кормилицу Джульетты. Я ее так и стала называть про себя — кормилица.

— Что здесь есть примечательного, кроме моря? — поинтересовалась я у Кормилицы.

— Санаторий ВВС, — подмигнула она, — вход в конце улицы, там бар и танцплощадка.

Все ясно. Пообещав себе обходить за версту санаторий и всех его обитателей, я нацепила сарафан и отправилась на пляж.

Вот тут-то судьба и настигла меня, выбросив из кустов человека с чемоданом в руке. Человек был не то чтобы дико пьян, он был в состоянии постоянного длительного подпития.

— Позвольте представиться! Полковник...

Фамилия полковника прозвучала невнятно.

— Зовите меня просто Амалия.

— Я дико устал, — прокричал полковник, стараясь держаться по стойке «смирно», — я уже часа два брожу по каким-то зарослям. Амалия, вы первая, кого я встретил сегодня. Я пьян. Мы пили в поезде почти сутки. Как только я найду этого чертов, пардон, корпус, где оформляют прибывших, побреюсь и приведу себя в порядок, я приглашаю вас на бал. Вы не в курсе, где здесь дают балы?

Вдобавок к громкому голосу у него был неприятный каркающий смех и никаких достоинств, кроме выразительных глаз. Впрочем, белки глаз были красны, поэтому можно считать, что в человеке с чемоданом не было вообще ничего интересного.

— Вам повезло. В это время суток я обычно занимаюсь расселением заблудившихся полковников. Балы бывают в местном баре практически круглосуточно. Следуйте за мной!

Полковник шагал, как на плацу. Если бы не облако перегара, плившее с нами в нагретом воздухе, его можно было принять за трезвого полковника. Отчитав его за злоупотребление спиртным, я сдала свою находку на регистрацию, попросила выделить ему номер для непьющих и некурящих и продолжила путешествие на пляж, забыв о новом знакомце.

Два дня я героически загорала, плавала, читала смс от Дениса: «Как ты? Все в порядке?» — и отвечала: «Все ништяк», чувствуя, что дистанция между нами увеличивается. Я совсем не скучала о нем. Мне было немного скучно, но к нему это не имело отношения. Странно, но я даже не переживала о том, что уехала. Как будто перерезали нитку, в которой я случайно запуталась. Мне надоело перетирать в голове одно и то же. Хотелось прибиться к какой-нибудь компании, вернее просто хотелось общения. Поэтому вечером третьего дня я все-таки переступила порог санатория и направилась в бар.

— Добрый вечер, Амалия. Вы чудесно выглядите, это единственное оправдание вашему опозданию. Я жду вас здесь третьи сутки.

Я, конечно, узнала его, но была удивлена — ничего общего с забулдыгой, выпавшим из кустов два дня назад. Полковник был галантен и практически трезв. Наконец-то я разглядела его глаза, они жили своей жизнью, оживлялись, когда ему было интересно, в прочее время взгляд их

был направлен в никуда. На нем был летний костюм интересного светлого оттенка и черная сорочка, из нагрудного кармана пиджака торчал уголок черного платка. Среди обитателей бара, слонявшихся в шортах и пляжных шлепанцах, он был прима. Тогда я еще не знала, что он был прима во всем.

Полковнику было лет сорок пять, хотя сразу определить его возраст было сложно. Иногда, очень редко, в нем просыпался мальчишка, в эти моменты даже седина в черных волосах казалась случайно пойманным оттенком. У него была особенность, слушая собеседника, не смотреть на него, и от этого казалось, что он думает о чем-то своем, хотя на самом деле он слушал очень внимательно.

Все это я заметила не сразу и научилась понимать его тоже не сразу.

— Меня спасло то, что в этом баре огромный запас кальвадоса, — пошутил он, усаживая меня за столик, — если бы не это пойло, я вряд ли продержался бы. Скажите мне, Амалия, вы замужем?

— Нет. Но через месяц, скорее всего, буду замужем.

— Это очень интересно, девица Амалия. Я задал вопрос, чтобы знать, как обращаться к вам. Очень интересно. Рассказывайте.

Я была в легком шоке и не понимала, что, собственно, я должна рассказывать, а главное — зачем?

— Меня заинтересовало то, что вы «скорее всего» будете замужем. То есть вы не уверены в том, что это произойдет. У вас есть с собой фотография жениха?

Что-то меня стала доставать бесцеремонность и любознательность этого человека. Хотя, как встретились, так и разойдемся, можно говорить о чем угодно. Я достала из сумочки телефон и, держа его в руке, спросила:

— А вы женаты? Или, как все здесь, свободны?

Он рассмеялся своим каркающим смехом:

— В отличие от всех, девица Амалия, я очень хотел бы быть несвободным. Но это невозможно. Не по причине недуга, а потому, что я сам это определил для себя. Я удовлетворил ваше любопытство?

— Не совсем. Кстати, меня зовут Люся.

— Нет-нет, позвольте мне называть вас Амалией. Вы совсем не похожи на Люсю. Что касается меня, то, как и у всех, у меня тоже есть имя, но я предпочитаю, чтобы вы звали меня Полковник. Договорились?

— Идет. Вот фотография.

— Очень приличный молодой человек... Может быть, несколько приземленный, в отличие от вас. Как он отнесся к тому, что вы решили уехать?

— Думаю, безразлично.

— Странное поведение для жениха. Он любит вас?

— Уже сомневаюсь. Я должна все решить для себя сейчас, пока не поздно.

— Я понимаю: с одной стороны — девицам полагается выходить замуж, и это не самый плохой вариант. К тому же родителям он понравился. Так?

— Примерно. Думаю, я все же выйду за него замуж. Давайте сменим тему.

— Согласен, хотя я уверен, что вы не выйдете за него. Вы не любите его, Амалия. Для кого-то это не проблема, но не для вас. Вам...

— Почему вы кричите на весь зал?

— Это последствие контузии. Извините, пожалуйста.

Полковник полностью закрылся, морщины на переносице подрагивали, он сразу постарел. Как нарочно, с моря потянул ветерок и подхватил его волосы, оголяя седину.

— Давайте уйдем отсюда, — предложила я.

— Да. Покажите мне море, я все время торчал в этом чертовом баре.

— Вы на самом деле ждали меня?

— Нет. Я соврал. Просто сидел в баре. Сидел и ждал, что кто-нибудь придет. Больше всего хотелось, чтобы пришли вы.

Он взял меня за руку и перешел на «ты».

— Девушка Амалия, ты боишься идти со мной ночью к морю?

Я молчала.

— Даю слово, что не буду приставать к тебе. Хотя мне очень хочется поцеловать тебя. Но я даю слово, что не буду этого делать. Ты все еще боишься?

— Нет.

— Ты доверчива и добра, девушка Амалия. Тебе трудно сказать: «Пошел к черту, старый дурак!», ты чувствуешь, что эта горькая правда будет неприятна мне.

— Раз уж мы на «ты», Полковник, я скажу: «Мне интересно с тобой. Мы идем к морю, или нет? И где обещанный бал?».

— Bravo! Узнаю знакомые командные ноты в голосе и повинуюсь.

У моря было тихо и прохладно. Полковник накинул на мои плечи свой пиджак и принес два шезлонга.

— Никакая музыка не может сравниться со звуками моря. Эта музыка будет звучать также, когда мы уйдем навсегда. Бесконечная симфония морского прибоя. Положи ноги мне на колени, Амалия, я их согрею. Не бойся, я только согрею твои ноги, не хочу, чтобы из-за меня ты простудилась.

Почему я сидела ночью у моря с этим человеком? Странно, но мне было приятно слушать ночной прибой и чувствовать, как его рука спокойно растирает мою ступню. У Полковника, конечно же, была припрятана фляжка с кальвадосом, мы пили его маленькими глотками по очереди и о чем-то разговаривали. Помню, что мне было хорошо, пока не пришло смс от Дениса. Я не стала отвечать, убрала ноги с колен Полковника и присела в шезлонге.

— Что-то не так?

— Все не так. Все. И с этим вряд ли что-то можно сделать. Понимаешь, меня никто никогда не любил, кроме родителей, конечно. Даже Денис сделал мне предложение только потому, что мы вместе учились, и он меня хорошо знает. Я не сразу поняла это, но все именно так. Но, я хочу, чтобы меня любили такой, какая я есть, хоть и понимаю, что это невозможно. Честно говоря, я уехала потому, что поняла одну важную вещь: я не люблю его.

— Если бы ты не была так серьезна, девица Амалия, я бы сказал, что ты рассмешила меня. Но ты серьезна. Забавно... Ты уверена в том, что тебя никто не поймет и не примет такой, как есть. Поэтому ты выбрала синицу в руке, но, рассмотрев эту птицу, отказалась и от нее. Не обижайся на меня, но почему ты уверена, что все так мрачно в твоём будущем?

— Мне двадцать пять лет. За это время ко мне ни разу не приблизился ни один человек, с которым я хотела бы быть рядом. Я не жду принца, я вообще ничего не хочу больше ждать. Кончится отпуск, займусь аспирантурой, работой, буду жить одна.

— Ты любила когда-нибудь?

— Нет. Точнее в детстве... В общем, это было давно.

— Очень интересно. Это была любовь к взрослому человеку?

— Ничего интересного. Это была любовь к ребенку. Больному мальчику. Потом пустота. Вот, что интересно. У тебя есть сигарета?

Мы закурили.

— Я уверен, что твой отец очень достойный человек. Но если бы я был твоим отцом, девица Амалия, я не позволил бы тебе выйти замуж за первого встречного. Позволь мне хотя бы развлечь тебя, пока мы оба здесь отдыхаем. Если, конечно, у тебя нет других планов.

И я позволила. На следующий день мы вышли в море на небольшой яхте, или катере, не знаю точно, как назывался крейсер, который арендовал Полковник. Наверное, из-за того, что я никогда не выходила в море до этого дня, я уверена, что он лучший мореплаватель. Он прима, я же говорила. Он отдал всю наличность, что была при себе, чтобы нас выпустили в море в тот день. Уже штормило, когда мы миновали буйки. Море было серым и становилось все серее, как и небо над ним. Море и небо отражаются друг в друге, когда они в ссоре, начинается шторм. Так сказал Полковник в то утро. Мы плыли к горизонту, пока он был виден.

— Вернемся? — спрашивал меня Полковник. Я все время отвечала: «Нет!», пока мне не стало страшно. Когда волна поднимала нас, я видела перед собой мутную пропасть.

— Крепко держись и не смотри по сторонам! Все отлично, я хотел именно такой развлекательной прогулки, веселой и интересной. Хочу, чтобы девица Амалия запомнила веселую морскую прогулку. Тебе страшно?

— Я боюсь, что ты не справишься.

А он смеялся своим каркающим смехом:

— Если это все, чего ты боишься, считай, что мы уже на берегу!

— Я так хотел сделать это, — повторял он, лежа на мокрых камнях, после того, как мы выбрались на берег. — Прости, Амалия, тебе наверняка было очень страшно. Иногда я совершаю поступки, о которых потом жалею.

— Думаю, это не тот случай, когда нужно жалеть о том, что сделал. Хотя у меня была мысль, что ты сумасшедший.

— Я успел заметить, что ты понравилась одному из спасателей. Уверен, он будет сохнуть по тебе. Спорим, он уже завтра будет искать тебя?

— Иди к черту со своим спасателем. Я замерзла, где твоя фляжка?

— При мне, но она пустая. Я все выпил, пока ты сидела с закрытыми глазами.

— Ты мерзавец, Полковник.

Не знаю, что на меня нашло, но мне очень захотелось поцеловать этого растрепанного сильного человека. Я наклонилась над ним, но он схватил меня рукой за волосы на затылке и потянул назад, не давая мне приблизиться. Если бы он отпустил меня, я, скорее всего, разбила бы себе нос.

— Ты что? Я хотела поцеловать тебя.

Полковник поднялся и подал мне руку:

— Пойдем, девица Амалия, я провожу тебя домой. Я не хочу в один день совершить два поступка, о которых буду жалеть потом. Можешь дать мне пощечину.

Я поднялась сама и подалась в свое бунгало, спотыкаясь на мокрых камнях.

Вечером я никуда не пошла, а сидела в саду с Кормилицей, рассказывала ей утренние страсти и пила молодое вино.

— Вот это я понимаю! Я бы тоже влюбилась в него. Все приезжают сюда сорвать цветок и умотать, а он даже не поцеловал тебя. Он вел себя, как настоящий мужчина, вот что я тебе скажу!

Мне не было легче от этих слов, тем более что я не говорила Кормилице, что влюбилась. Значит, по мне видно, что я влюбилась. Так и есть — мне стали абсолютно безразличны сообщения от Дениса, я даже не помню, на какое я ответила последний раз. Интересная ситуация — я влюбилась в того, кому не нужна моя любовь. Хотя я чувствую, что нравлюсь ему. Он обещал развлекать меня, значит, придет завтра утром, а главное — мне хочется, чтобы он пришел завтра утром.

Полковник не появился ни утром, ни днем. Он не заходил к Кормилице и не искал меня на пляже. Устав коситься по сторонам и делать вид, что я никого не жду, вечером я пошла в бар.

Он был там, но не один. С ним за столом сидела полнеющая женщина с плохо покрашенными волосами и неровным загаром, который старил ее.

Полковник помахал мне рукой, как хорошей знакомой. Ничего себе... Я подошла к их столику и вызывающе воскликнула:

— Привет! Ты собираешься сидеть здесь весь вечер, или продолжишь развлекать меня?

Толстуху с черными корнями волос я игнорировала, хотя она попыталась изобразить улыбку.

— Присядь на минуту, — попросил Полковник.

— Не хочу!

Внутри меня все бушевало. Оттолкнуть меня, чтобы проводить время с этой шлюхой...

— Пойдем развлекаться, Амалия.

Полковник поцеловал руку толстухи и пошел со мной к выходу.

— Помешала тебе отдыхать? — зло поинтересовалась я.

— Ты прелесть — сначала набрасываешься на меня в баре, а потом интересуешься, не помешала ли ты мне. Думаю, следовало сделать наоборот.

— Возвращайся к своей шлюхе!

— Напрасно ты так, Амалия. Она неплохая женщина. Помогла мне прийти в себя. Я даже не орал сегодняшней ночью.

— Ты спал с ней?

— Ты совершенно очаровательна, когда злишься. У тебя есть привычка поджимать нижнюю губу, мне это чертовски нравится. Ты становишься при этом похожей на мальчишку со своей короткой стрижкой и аккуратными ушками. Запомни, девица Амалия: я обещал развлекать тебя здесь, но не обещал докладывать о каждом своем шаге. Усвоила?

— Да. Ты все-таки спал с этой шлюхой...

— Не помню, говорил я тебе или нет, о том, что я пьяница и бабник. Если не говорил, то прими эту ценную информацию. К тому же я военный преступник, хотя уже расплатился за это. Я фактически даже не полковник, меня понизили в звании за одно дело, о котором я не жалею. Меня должны были судить, но министр обороны был знаком со мной, когда я еще работал помощником атташе в одной далекой стране. Все, что он мог сделать, — это понизить меня в звании. Я был ему нужен там, где это случилось. Хотя довольно скоро для меня все кончилось. Но я все еще часто ору по ночам и хожу по квартире, пока не успокоюсь. Вот так.

— Для меня ты всегда будешь Полковником.

— Спасибо. Я уже говорил, что ты добрая девица.

— А каким ты был помощником атташе?

— Скверным. Я же бабник и пьяница. Не пропускал ни одной юбки, пока не влюбился в одну актрису, которая потом вышла за меня замуж. А через какое-то время бросила меня.

— Почему?

— Она была настоящей шлюхой. Я знал это, когда женился на ней. Однажды она сказала, что любит другого и ушла. Я тоже ушел. То есть, написал рапорт с просьбой направить меня в «горячую точку». Приемы, бумаги — все это было не для меня. По-моему, я чуть ли не ждал, когда она уйдет, чтобы все закончилось, и я мог заняться своим делом. Тем, чему меня учили. Если попадется фильм с ее участием, мы можем посмотреть его вместе.

— Чем ты сейчас занимаешься, если это не военная тайна?

— Обучаю оболтусов в одном военном училище. Делаю переводы, пишу статьи.

— Интересно. Я тоже кое-что перевожу с английского. С каким языком ты работаешь?

— В основном, китайский, я там работал. Есть еще несколько языков, которыми я неплохо владею, английский в их числе. Еще вопросы будут?

— Нет. Китайский — это круто.

— Очень круто. Ты играешь на бильярде?

— Немного.

— Замечательно. Не против погонять шары?

И что, скажите, было мне делать? Я пошла с ним гонять шары. В бильярдной было немного народу. Мы сели у стены, я присматривалась, кто как играет. Полковник достал свою неизменную фляжку:

— Ты позволишь, Амалия?

— Валяй.

— Здесь есть очень симпатичные парни. Иди сыграй. Кто хочет сыграть партию с моей дочерью? Она уверяет меня, что классно играет, а я не верю, — тут же обратился он к присутствующим.

— С удовольствием! — отозвался высокий парень в джинсах и белой футболке с дурацким рисунком.

Терпеть не могу футболки с рисунками. Я чмокнула Полковника в щеку и прошептала: «Сволочь!»

Прикидываясь лохушкой, я спрашивала, правильно ли держу кий и все такое... Парень поправил кий у меня в руках, я довольно неудачно разбила пирамиду, а потом долго прицеливалась, елозила животом по столу, зная, что Полковник сидит у меня за спиной. Игра перешла к парню, но он довольно быстро ошибся. Я взяла кий и стала загонять шары в лузу один за другим.

— Это получилось случайно, — улыбнулась я парню, когда партия была закончена.

— Знаем мы эти случайности. Ты отлично играешь. Я купился, как ребенок. Твой отец знает, что ты умеешь играть?

— Не знает. Он мой любовник.

— Ну, вы даете! — сказал парень, подводя меня к Полковнику. — Девушка оказалась профи. Поздравляю вас с такой подругой.

— Стой! Как тебя зовут? Она понравилась тебе?

— Меня зовут Андрей. Ваша подруга мне очень понравилась, я вам даже завидую.

— Амалия красивая, правда?

— Красивая.

Полковник поручил Андрею опекать меня на время своего отсутствия и удалился за шампанским. Я злилась на него, понимая, что он все пытается показать мне, как я могу нравиться. Сваха нашлась... Мы замесили с Андреем еще одну партию, оказалось, что он летчик, отдыхает после полетов со своим экипажем.

— Твой отец, или друг, не знаю, кто он тебе, — прицеливаясь, сказал Андрей, — он наверняка в курсе, что в гарнизоне, при распределении лучше быть уже женатым, чтобы не рыскать по соседним селениям и женам друзей. Я тоже женат. Хотя, гарнизон, это такой публичный дом... Твой удар.

— Он все понимает. Любит почудить.

— Интересный мужик. Не «сапог».

«Интересный мужик» устроил в бильярдной танцевальный зал. Когда нас оттуда выперли, Полковник предупредил меня, что завтра нам рано вставать. Как выяснилось, утром из ближайшего порта отходит теплоход. Через пять дней теплоход вернется обратно. Я не стала устраивать разборки по поводу Андрея. Какой смысл, если завтра мы будем уже плыть на теплоходе? За это можно простить разные несущественные мелочи. Пусть делает вид, что ничего не замечает. За пять дней он убедится, что ему нужна моя любовь.

Пять дней — это очень много.

— Я фотографировал тебя, пока ты играла. Очень неплохо получилось, по-моему, — Полковник протянул мне телефон.

На всех фотографиях была моя задница в белых джинсах.

— Мне нравятся эти фотографии. Думаю, я даже распечатаю парочку. У тебя очень красивая попа. Просто супер. Когда ты была в сарафане, я не заметил этого. Ты понравилась Андрею. Понимаю, что тебе даже временно не подходит в роли отца распутник и пьяница, и не сержусь.

— Перестань меня сватать и сотри эти похабные фотографии.

— Не обижайся, я не буду никому их показывать. Я сейчас пойду спать, а завтра в шесть утра буду ждать тебя около дома. Не бери с собой много вещей.

Ночью я отправила Денису сообщение о том, что встретила другого человека, поэтому наша свадьба отменяется и отключила телефон, чтобы псевдосемейные ссоры не портили путешествие. Собираясь в поездку, пыталась представить, как отреагировал Денис на такую новость. Удивилась тому, что не могу вспомнить его лицо. Помню волосы, точ-

нее, прическу, уши помню и общий силуэт. Остальное смыто намертво. Смайлик... Я даже присела на постель, размышляя, хорошо это или плохо. Будем считать, что это хорошо. Времени на размышления не было — у ворот уже стоял автомобиль.

Поездку в порт я запомнила надолго. Полковник, конечно, вышел из автомобиля, чтобы помочь мне сесть.

— Ты всегда так свежа в шесть утра, девица Амалия? — спросил он меня.

— Да. Но в пять утра я еще свежее.

— Отлично. Я начинаю жалеть, что не сел с тобой рядом. Парень, ты умеешь ездить быстро? Я хочу стать таким же свежим, как эта девица. Прибавь, пожалуйста, скорость.

Полковник сунул в карман водителя купюру. По-моему, мы ехали слишком быстро, по крайней мере, для горной дороги, но Полковник не унимался.

— Включи пятую, ты пользуешься пятой?

Наша поездка стала напоминать мне морскую прогулку. Полковник не мог жить без экстрима. Но я не была уверена в том, что наш водитель прима. Когда я входила из машины, у меня дрожали колени.

— Отлично! Мне нравятся горные дороги. Своей непредсказуемостью они похожи на женщин. Этот парень...

— Ты, конечно, заметил, что, несмотря на бешеную скорость, я ему понравилась.

— Думаю, что понравилась, не язви. Я хотел сказать, что он отлично водит автомобиль, но боится самого себя.

Наши каюты оказались в разных отсеках корабля. Разумеется, я не рассчитывала, что мы поедем в одной каюте, но и расклад, выбранный Полковником по непонятным соображениям, показался мне странным.

— Мы будем звонить друг другу, чтобы встретиться? Нельзя было устроиться поближе?

— Не люблю, когда следят за каждым моим шагом, — отозвался Полковник. — Ты водишь автомобиль, девица Амалия?

— Да. При чем тут автомобиль?

— При том, что тебе должно быть известно правило: «Соблюдай дистанцию!».

— Зачем тогда мы вообще поехали вместе?

— Я поехал с тобой потому, что мне приятно в твоём обществе. Зачем поехала ты, наверное, тебе это лучше известно.

— Я поехала потому, что ты меня пригласил поехать вместе. Мне тоже очень приятно находиться в твоём обществе и даже больше, но ты упорно не желаешь этого замечать. Не говори только, что ты соблюдаешь эту дурацкую дистанцию, которую сам установил. Ты боишься меня. Я могу нарушить ритм твоей жизни. Я же нравлюсь тебе.

- Очень.
- Ты любишь меня?
- Соблюдай дистанцию. Встретимся в ресторане.

В ресторане так в ресторане... Два дня мы кормили чаек, фотографировали дельфинов, любовались закатами на море. Рассветами Полковник любовался в одиночестве, я опаздывала даже к завтраку, и он всегда поджидал меня уже за столом. Все было замечательно, и в то же время ничего не происходило, кроме разборок с Денисом. Как только я включила телефон, высыпалось больше десятка сообщений о том, что абонент, с которым я меньше всего хотела общаться, звонил мне. За это время я уже все решила для себя. Чем бы ни закончилась моя любовь к Полковнику, она главное, из того, что сейчас происходит со мной. Поэтому я довольно сухо, но обстоятельно объяснила Денису причины нашего разрыва.

Дурацкое соблюдение дистанции стало доставать меня. Мы были рядом, и в то же время отдельно друг от друга. Думаю, «желтая пресса» написала бы об этом так: «На борту теплохода присутствовал известный Полковник N со своей спутницей». Я — непонятно кто, спутница... Он все видит потому, что умен, но не делает шаг навстречу. Похоже, я так и останусь спутницей.

Каждый вечер я возвращалась в свою каюту, механически готовилась ко сну, а внутри меня все металось. Эти часы были самыми невыносимыми, все время хотелось пойти к нему, или позвонить и все сказать. Сознание того, что Полковник и так догадывается обо всем, каждый раз останавливало меня. Включалось благоразумие и вступало в спор с безрассудностью. Я раньше вообще не подозревала, что способна на безрассудные поступки, а в эти дни с трудом сдерживала себя. Неужели ему не тяжело будет расстаться со мной? Сотни вопросов и ни одного ответа. Похоже, что я все-таки права, — тот, кто мне нужен никогда не подойдет ко мне. В лучшем случае, он будет держаться рядом, соблюдая дистанцию. К тому же я не умею применять всякие женские хитрости потому, что не обучена им, и не собираюсь устраивать облаву на человека, который ясно дает понять, что продолжения не будет.

Вечером я механически села в ресторане не рядом с Полковником, а поодаль, и большей частью смотрела на эстраду, где практически ничего не происходило — три музыканта играли джазовые композиции.

- Девица Амалия разочарована.

Я повернула голову. У него такой приятный голос, что хочется положить голову на плечо и слушать, как он звучит. Нельзя — держу дистанцию.

- Ерунда. Тебе показалось.

— Не думаю, что мне показалось. Все эмоции написаны у тебя на лице. Ты ждала большего от этой поездки. И ты вправе ждать

большого от мужчины, который ухаживает за тобой. Все дело в том, что я не могу позволить себе принять то, что ты готова отдать мне.

- Слишком мудрено, Полковник. Изъясняйся проще.
- Хорошо. Пойдем на палубу?
- Там ветер.

Я чувствовала, что мне хотят прочесть приговор. В зале я не позволю себе сорваться.

— Тебя мучает вопрос, влюблен я в тебя, или нет. Влюблен. Даже сильнее, чем ты думаешь. Я не ожидал, что смогу так влюбиться. Но, в отличие от тебя, я понимаю, что у нас нет будущего, и не начинаю игру, которая может плохо окончиться для нас обоих. Сорок семь и двадцать пять еще как-то могут сочетаться и любить друг друга. А вот шестьдесят семь и сорок пять — это практически безнадежно. И расстояние будет расти с каждым годом. К тому же...

Я перебила его:

— Если двадцать лет в промежутке были пустыми. Я поняла — ты боишься за себя. Тебе спокойнее одному, чем с девушкой, которую ты любишь. Я не такая шлюха, как твоя бывшая жена, и не собираюсь искать себе молодого любовника. Ни сейчас, ни через двадцать лет. Ты можешь подумать, что я уговариваю тебя. Думай, что хочешь. Но никаких уговоров и заверений не будет. Если ты не разглядел меня, пусть все так и остается. Ты сказал — я услышала. Не переживай — вешаться тебе на шею я больше не буду. Второй раз ты оттолкнул меня. Постараюсь не допустить третьего, это было бы слишком. Кстати, что скажешь о блондине? По-моему, я его интересую.

- Несомненно. Тебе стоит станцевать с ним.
- Я так и сделаю.

Я танцевала один танец, потом другой, третий... Мне не хотелось возвращаться за столик. Все кончено. Можно, конечно, поиграть в друзей, но, в отличие от своего наставника, я не умела играть. Зал уже опустел, Полковник давно ушел, а мы все танцевали. Музыканты играли только для нас. Пришло время, когда им это наскучило. А может быть, закончилось рабочее время.

— Спасибо. Завтра увидимся, — сказала я блондину, так же, как я от Полковника, ожидавшему большего. Затем я поднялась на свою палубу и стала открывать каюту. Выпитое шампанское и плохое настроение мешали мне.

- Ты уже открыла дверь, Амалия. Перестань терзать замок.

Похоже, Полковник образовался из воздуха... Он был пьян. Может быть, кто-то и не заметил бы этого, но не я. Он напился, чтобы решиться на что-то.

- Ты пришел убедиться в том, что я не шлюха. Мило.

— Если ты позволишь мне войти, узнаешь, зачем я пришел. Спасибо, я присяду, если можно.

Каюта была освещена бледным светом с палубы. Там кто-то смеялся. Помню, что кто-то веселился совсем рядом, когда я смотрела на Полковника и уже понимала, что вряд ли еще когда-либо увижу его так близко. Он достал свою фляжку и сделал глоток.

— Амалия, я был уверен, что ты вернешься одна. И вовсе не потому, что ты не понравилась этому назойливому крестину. Ты чище девственниц, ждущих момента подороже продать свое сокровище. Когда я был молод, я мечтал о такой девушке, как ты. Но мы встретились только после того, как я сам добровольно прополз на брюхе по грязному болоту. Помнишь, я не дал тебе поцеловать меня? Конечно, ты помнишь этот неприятный момент.

Я не могла выдавить из себя ни слова. Наверное, если бы я кинулась к нему и просила, умоляла не уходить, что-то могло измениться. Но я не умела кидаться и умолять, не знаю, что мешало мне остановить его.

— Я испугался, Амалия. Потому, что обязательно настанет день, когда ты пожалеешь о том, что сделала. Внутри меня живет человек, избегающий сострадания, в особенности от любимой женщины. Вот видишь — я все-таки признался тебе в любви, хоть и коряво, как все в моей жизни. Когда-нибудь ты поймешь, что я был прав и, может быть, даже скажешь мне спасибо. Завтра утром будет остановка, я решил задержаться в этом городе на несколько дней. Ну, вот и все, девица Амалия. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Жаль, что мы встретились так поздно. В этом виноват только я.

Утром высокий мужчина в светлом костюме сошел на берег с другими пассажирами. Он нес на плече легкую спортивную сумку, придерживая ее рукой. Пустой левый рукав пиджака был аккуратно заправлен в карман.

Самое страшное началось потом. Нигде не написано, как живет человек после смерти. Я тоже не могу рассказать, как я жила до того момента, пока снова научилась дышать.

Если бы он позвал сегодня? Бросила бы все и сорвалась к нему. Но он не позовет. Потому, что это жизнь, а не бразильский сериал.

Дорога в ночь

Ночь надела паранджу,
Спрятав лик луны печальной.
Я из дома выхожу —
Побродить между причалов.
Фонарей мятежный свет
Лижет камни под ногами,
И смеётся старый Сет
Потому как полагает,
Что его игра правей,
Всех земных свечей дороже.
Снег не тает на траве,
Укрывая стынь дорожек.
Тех, которыми бредут
То ли люди, то ли звери...
Бьется, будто бы в бреду
Ветер в запертые двери.
Вьюга тянет пряжи нить
На игле адмиралтейства.
Сон спустился в мир живых,
Утонувших в фарисействе.
Я иду, вдыхая снег
Не в ладу с самим собою.
И несется чей-то смех
Над недвижною водою...

* * *

Я мечтаю чуть подольше задержаться в этом мире.
Время, как это ни странно, с каждым годом все быстрей.
Память, растеряв все числа, воскрешая звуки лиры,
Дарит блики, лица, фразы, но — отдельно от людей...
Я мечтаю пробежаться вдоль по краешку рассвета,
Пеньем птиц наполнить утро в душах тех, кто одинок.
И, упав лицом в ладони, стать ручьём в объятьях лета,
Затеряться тайным смыслом у поэта между строк.
Будет жалко не увидеть, как земля встречает солнце,
И, сверкая, мчатся звезды, разрезая холст небес.
И дожди, вгрызаясь в камень, блещут на ветру, как стронций.
И гроза качает тучи в ожидании чудес.

Нужно чуть поторопиться — стать отзывчивей, скромнее.
 Сколько песен нужно вспомнить тихим трепетом струны.
 Став песчинкой в океане, побывать в местах, где реет
 Белым облачком надежды флаг покинутой страны.
 А когда придут все строки, запахом еловых веток
 Оживут мои игрушки, страх отгонят темноты,
 Я пойду туманным садом, загадавши напоследок
 Вновь явиться в этом мире, став частичкой доброты.

* * *

Беспечный луч по комнате бродил,
 Меняя очертания предметов.
 Он будто бы на ощупь находил
 Себе дорогу. По каким приметам
 Он двигался сквозь пыль и темноту,
 Собою разбавляя сумрак ночи?
 Сползал на стол, запрыгивал на стул,
 На вазе застывал бесцветной точкой.
 То замирал, то двигался быстрее
 От пола к книжной полке. И предметы,
 Забыв о неподвижности своей,
 Всем естеством тянулись к его свету.
 Но разделяя перспективу на
 Упрямое движение — и бездвижье,
 Окна чернела рама, и луна
 Казалась и объемнее, и ближе...
 Беззвучен и бесплотен, луч блистал
 На складках одеял, как блики моря.
 И тихий хор разрозненных зеркал
 Лучу пытался еле слышно вторить.
 Луч был игрив, как малое дитя,
 Он прыгал по ковру, как по ступеням.
 Вдруг на кровати увидал тебя —
 И удивленно замер на мгновенье.
 Отпрянув, он, неловок, заскользил
 Держась поодаль, прямо к изголовью,
 И задрожал, поскольку ощутил
 То, что привычно мы зовем любовью...

* * *

Как второй Ясон, я ходил с волками,
 Распугав сорок, я вторгался в ельник,
 Рвал горстями чернику, под облаками

Видел море, скалы и можжевельник.
Одолжив у одной из сестер бумаги,
Обменяв у паромщика соль на спички,
Как моллюск на дно, я сползал в овраги
И лишь там придавался дурной привычке.
Миновав города, для которых милым
Никогда б не стал, стеарин сжигая,
Я прорвался на север, минуя мили,
Я надеялся: там меня ждет другая...
На дозорные бденья собачьей вахты
Я истратил все силы, иначе — волю.
Ничего не достиг, не добился правды,
Но уж лучше быть честным с самим собою.
И теперь, расточая остатки пыла,
На любовь, которую не измерить,
Я себя убеждаю: все это — было!
Но никак не могу до конца поверить.

Наши авторы

Евгений Анташкевич

Родился в 1952 году в г. Урюпинске. Имеет высшее образование по специальности юрист-правовед со знанием китайского языка. Полковник запаса. Автор сборника рассказов, исторических документальных романов. Член Союза писателей России.

Владимир Байков

Родился в 1944 г. Окончил в 1967 г. ЛЭТИ им. Ульянова (Ленина). Доктор технических наук, профессор. Автор двух десятков книг по компьютерной и интернет-тематике. Является также автором ряда англо-русских и немецко-русских словарей. Печатался в журналах «Нева», «Урал», в «Литературной газете». Лауреат международного литературного конкурса «Золотое перо Руси» 2008 года.

Евгений Вертлиб

Родился в 1943 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный университет, докторантуру университета Северной Каролины (США) и политологическую постдокторантуру РАГС. Доктор философии (Ph.D.) и политических наук, академик РАЕН, президент Международного института стратегических оценок и управления конфликтами (МИСОУК, Франция). Специалист по национальной безопасности, системам принятия политических решений, геополитике, управлению конфликтами и социумом, информационной войне, СНГ, элитам и русской культуре. Член Союза писателей России. Автор свыше 300 статей.

Игорь Гeko

Художник, поэт. Родился в 1958 г. в Ленинграде. Несколько лет воспитывался в детском интернате в г. Зеленогорске. После окончания школы служил на Северном флоте. Работал маляром-штукатуром, дворником, охранником в Военно-морском музее. Имеет более 700 живописных работ. Участник множества выставок в России и за рубежом. Издал несколько поэтических сборников.

Глеб Горышин (1931–1998)

Прозаик. В 1949–1954 учился на отделении журналистики филфака ЛГУ, был сотрудником газеты «Молодежь Алтая» в Барнауле, в 1957 г. вернулся в Ленинград, в этом же году опубликован первый рассказ. В конце 50-х—начале 60-х подолгу бывал в Сибири, не только как журналист, но и как сотрудник геологических экспедиций. Член Союза писателей СССР с 1960 г. С 1977 по апрель 1982 гг. был главным редактором журнала «Аврора».

Елена Грачёва

Родилась и живет в Санкт-Петербурге. Закончила Литературный институт им. Горького. Публиковалась в Санкт-Петербурге, Красноярске, Нью-Йорке.

Дмитрий Григорьев

Родился в 1960 году. Автор нескольких книг стихов и прозы, многочисленных публикаций в тонких и толстых журналах. Стихи переведены на несколько европейских языков. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, лауреат премии им. Н. Заболоцкого.

Артём Кобзев

Родился в 1992 году в городе Мурманске. Попытки совмещать учебу в школе с игрой в дворовой рок-группе и посещениями секции по кикбоксингу закончились неудачно, поэтому пришлось сделать выбор в пользу учебы. В старших классах увлекся поэзией. Лауреат московского конкурса «талантливая молодежь». Ранее не публиковался.

Татьяна Лестева

Журналист. Окончила Ленинградский государственный университет. Член Союза журналистов Санкт-Петербурга. Публикуется в петербургской и центральной прессе: в журналах: «Аврора», «Невский альманах», «Литературная учеба», «Российская Федерация сегодня» и др., в газетах: «Литературная Россия», «Литературная газета», «День литературы», «Санкт-Петербургские ведомости» и др. Автор десяти книг стихов, прозы и литературной критики.

С 2008 года главный редактор историко-литературного журнала «На русских просторах», член редколлегии журнала «Аврора». Лауреат премии А. М. Жемчужникова за 2006 год.

Игорь Никольский

Родился в 1989 году в Ленинградской области, в городе Гатчина.

Окончил гимназию им. К. Д. Ушинского и поступил в Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. В настоящее время — студент шестого курса магистратуры кафедры «Физика полупроводников и нанозлектроника». Работает инженером. Увлекается литературой, историей, психологией.

Татьяна Октябрьская

Живет в Москве, экономист по образованию. Мир увлечений очень разнообразен: фотография, сбор информации об усадьбах, храмах, монастырях Подмосковья, походы, путешествия, рыбалка. Одно из главных увлечений — проза.

Юрий Пахомов (Носов Юрий Николаевич) — в прошлом военно-морской врач, член Союза писателей СССР, России, автор более двадцати книг и многих журнальных публикаций. Отдельные произведения автора переведены на языки ближнего и дальнего зарубежья, в том числе на китайский язык, экранизированы. Юрий Пахомов — лауреат международных и всероссийских литературных премий.

Геннадий Сорокин (Генрих Ирвинг)

Родился в 1964 году в городе Кемерово. После службы в армии окончил следственный факультет Хабаровской высшей школы МВД СССР. За годы службы в МВД прошел путь от следователя до начальника следственной части УВД г. Кемерово. В 2006 году вышел в отставку и занялся частной юридической практикой.

Под псевдонимом «Генрих Ирвинг» начал писать примерно в семнадцать лет. В марте 2012 года в издательстве «Реноме» вышел роман «Звезды над Калифорнией».

Александр Тетерин

Муниципальный служащий, библиограф, краевед, библиофил, член Национального союза библиофилов. Составитель и издатель нескольких десятков малотиражных библиофильских изданий; составитель и участник сборника воспоминаний о петербургском искусствоведе, библиофиле Игоре Гавриловиче Мямлине. Регулярно печатается в периодических изданиях. В районной газете «Тосно time» ведет разделы «Полка библиофила», «Люди и встречи».

Александр Торопцев

Родился в 1949 г. в Душанбе. Член Союза писателей России, Председатель творческого объединения детских и юношеских писателей Московской городской организации СП России, руководитель семинара по детской и юношеской литературе в Литературном институте им. А. М. Горького, доцент. Главный редактор журнала «Проза», сайта «Капитошкин дом» (Детская литература).

Мадина Хурилова

Поэтесса. Родилась в 1973 г. в Махачкале. Выпускница филологического факультета Дагестанского государственного университета. Стихи пишет с детства. Автор рассказов в стиле фэнтези. Пятикратный лауреат Международного Пушкинского фестиваля искусств «С веком наравне» в номинации «Поэзия» (организатор — РГУ нефти и газа им. Губкина). Вышло около десяти персональных и коллективных сборников в Махачкале и Москве. Работает редактором в издательстве ДГУ.

Олег Чупров

Поэт. Родился в 1939 г. в с. Усть-Цильма, Коми АССР. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. С 1962 года живет в Санкт-Петербурге. Работал на радио, корреспондентом газеты «Вечерний Ленинград», возглавлял отдел культуры газеты «Народная Правда».

Лауреат Всесоюзного и Международного конкурсов песни. Член Союза писателей России. Печатался в различных журналах страны, автор двенадцати сборников поэзии.

Галина Шевцова

Родилась в Киеве. Закончила Национальную академию строительства и архитектуры. В 2003–2005 и 2007–2008 гг. — исследователь университета Кинки, Осака (в рамках государственных грантов Японии).

В настоящее время — доцент Киевского национального университета строительства и архитектуры, преподаватель каллиграфии и ведущий клуба поэзии Украинско-Японского центра.

Владимир Шемшученко

Родился в 1956 году в Караганде, получил образование в Киевском политехническом, Норильском индустриальном и Московском литературном институтах. Лауреат международных и всероссийских премий поэзии. Член Союза писателей России, живет в г. Всеволожске Ленинградской области.

Ольга Щербинина

Культуролог, публицист, эссеист. Окончила факультет журналистики Уральского госуниверситета, работала в художественных программах на радио и телевидении Екатеринбурга в качестве автора и ведущей. В 90-е годы была собкором по Уралу и Сибири Всероссийского исторического журнала «Родина».

С 2001 года постоянно живет в Санкт-Петербурге. Статьи и очерки о творчестве Цветаевой, Хармса, Иосифа Бродского печатались в различных газетах и журналах. Выпустила несколько культурологических и художественных книг.

Михаил Ястребов

Родился в 1948 г. По профессии математик. Живет в Санкт-Петербурге.



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор: Валерий НОВИЧКОВ

**Илья БОЯШОВ (отв. секретарь), Глеб ГОРБОВСКИЙ,
Кира ГРОЗНАЯ (рубрика "Дебют"), Валерий ДЕСЯТОВ (редактор сайта),
Герман ИОНИН, Валентин КУРБАТОВ, Вадим ЛАПУНОВ,
Татьяна ЛЕСТЕВА, Анатолий ПАНТЕЛЕЕВ, Виталий ПОЗНИН (отдел прозы),
Дмитрий ПОЛЯКОВ (КАТИН), Игорь ПОЛЯКОВ (зам. главного редактора),
Юрий СОЛОВЬЕВ, Лидия СЫЧЕВА, Владислав ЧЕРНУШЕНКО,
Владимир ШЕМШУЧЕНКО (отдел поэзии)**

**Компьютерная верстка: Сергей ПРОТАС
Дизайн обложки: Андрей КОРОЛЬЧУК
Корректор: Елена ДРУЖИНИНА**

Адрес для писем и рукописей:
197110, Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д. 17-А,
редакция Альманаха «Журнал "АВРОРА"»

тел.: (812) 757-25-66
E-mail: aurora_1969@mail.ru
www.holsto-mer.ru

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
При перепечатке материалов ссылка на журнал «Аврора» обязательна.
Авторы несут ответственность за достоверность своих материалов.

Учредитель: Санкт-Петербургская общественная организация культуры «Аврора».
Альманах «Журнал "АВРОРА"»

Зарегистрирован 03.07.98 Северо-Западным региональным управлением
государственного комитета Российской Федерации по печати.

Регистрационный № ПЗ 165

Адрес редакции, издателя и учредителя: 197110, Санкт-Петербург,
Большая Разночинная ул., д. 17-А, домофон 17.

Подписано в печать 03.04.2014. Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная.
Тираж 3000 экз. Печать офсетная. Усл. печ. л. 20. Заказ № 20143.

Отпечатано в типографии ГАОУ СПО «Санкт-Петербургский морской технический колледж»
198260, г. Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, д. 189

Цена свободная